О МАЯКОВСКОМ

Г. БЕБУТОВ

# ГИМНАЗИЯ

# ЛИЦОМ К ЛИЦУ




О МАЯКОВСКОМ

Г. БЕБУТОВ

# ГИМНАЗИЯ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕРАНИ» ТБИЛИСИ 1977

8Г
891.71(092 Маяковский)
Б379

Автор этой книги Г. В. Бебутов на протяжении сорока лет своей журналистской и литературоведческой работы не раз обращался к отдельным темам, вопросам и периодам биографии В. В. Маяковского, в результате чего в печати появлялись его статьи и очерки, публикации архивных материалов, впервые им обнаруженных и разработанных. Он же составил сборник воспоминаний и материалов о Маяковском «Перед вами, багдадские небеса», изданный к восьмидесятилетию со дня рождения поэта. Маяковскому посвящены и некоторые статьи и воспоминания, помещенные в книге Г. Бебутова «Отражения» (1973). Две предлагаемые читателям работы Г. Бебутова были изданы — первая в 1962, вторая в 1965 году. Для данного издания они заново просмотрены, частично переработаны и дополнены автором.

Б $\frac{70302-27}{М604(08)-77}$ 102-77

# Гимназия

Посвящаю сыну моему
Владимиру

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### ПЕРЕЕЗД В ГОРОД. ПОСТУПЛЕНИЕ В ГИМНАЗИЮ

«Родина — село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия», — писал В. В. Маяковский в автобиографии.

Прадед поэта Константин Кириллович был сыном полкового есаула, служившего в заштатном городке Херсонской губернии — Бериславе. Получив в 1822 году подорожную на беспрепятственный выезд «в разные Российской империи города и селения», Константин Кириллович с женой и сыном простился с Бериславом и избрал местом жительства Грузию, незнакомый край, незадолго до этого присоединившийся к России. Его сын Константин Константинович (дед поэта) вырос в Грузии и долгие годы служил секретарем в уездном правлении Ахалциха. Он женился на Ефросинии Осиповне Данилевской, приходившейся двоюродной сестрой писателю Г. П. Данилевскому. Родоначальником Данилевских был казак Данила — выходец из Подолии, осевший вместе с многими переселенцами из Слободской Украины на Донце. Два поколения рода Маяковских начали свою жизнь на грузинской земле.

Когда Александра Алексеевна Маяковская рассказывала сыну о старине, о его предках, он заявил:

— Я ничего не видел и не знаю.

В автобиографии Маяковский пишет, что, кроме отца, матери и сестер, была еще тетя Анюта. «Других Маяковских, по-видимому, не имеется». И все же не без знания своей родословной он считал, что в нем три разных речевых истока.

Я —
дедом казак,
другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.

Эти и другие строки:

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин

из стихотворения «Владикавказ — Тифлис» подчас вызывали недоуменные вопросы, а один из слушателей на литературном вечере послал поэту записку: «Вы русский, или украинец, или грузин, не пойму». В 1927 году в беседе с сотрудником газеты «Прагер пресс» В. Маяковский сказал о себе: «Отец был казак, мать — украинка. Первый язык — грузинский. Так сказать, между тремя культурами». А в беседе с редактором «Польска вольность» на вопрос «Знаете ли вы польский язык?» ответил: «Нет. Только русский и грузинский»[1].

Владимир Константинович (отец поэта) родился в Ахалцихе, учился в Кутаисе и Тифлисе, служить начал в 1882 году в Александропольском лесничестве. Получив должность помощника лесничего, он обосновался в Никитинке (ныне село Фиолетово Кироваканского района Армянской ССР). Однажды Владимир Константинович со своим старшим братом Михаилом, служившим в смежном Лорийском лесничестве, побывал в местечке Джалалоглы, где находился учебный лагерь войск. Там он познакомился с семьей штабс-капитана Алексея Ивановича Павленко, погибшего во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов, и вскоре женился на его дочери Александре Алексеевне. Она переехала к мужу. В Никитинке у них родились дочь Людмила и сыновья Саша и Константин. Саша умер в младенчестве.

В апреле 1889 года Владимир Константинович получил назначение на должность лесничего в Багдады (ныне районный центр Грузинской ССР Маяковски).

В то же время переехал на новое место службы александропольский лесничий Кузьмин. Его сменил

[1] В. Маяковский. Полн. собр. соч., т. 13, стр. 232, 239.

Крживец — человек карьеристских наклонностей, ополчившийся против своего предшественника и даже против лесной стражи и объездчиков.

Со старого места службы Владимир Константинович взял с собой объездчика Имриза Раим-оглы. Это объяснялось создавшейся в лесничестве обстановкой.

В найденном ныне в архиве докладе Я. Луценко о ревизии лесничества Эриванской губернии сказано, что лесничим поручалось «стараться заменять местных объездчиков и стражу лицами более развитыми и знающими русский язык — солдатами из отставных или находящихся в бессрочном отпуску». В этих строках ясно отразилась русификаторская политика царизма, недоверие царской администрации на окраинах империи к местным жителям или, как тогда писалось, к «туземцам». Не подлежит сомнению, что новый лесничий Крживец не преминул бы провести замену объездчиков и лесной стражи, которых несправедливо, как это выяснилось, обвинял в своих рапортах.

Имриз, естественно, потянулся за Владимиром Константиновичем, резко отличавшимся от чиновной бюрократии, человеком совершенно иного склада мыслей и умонастроения. В. К. Маяковский как в Александропольском, так и в Багдадском лесничестве тесно общался с местным населением, с уважением относился к людям труда, независимо от их национальной принадлежности. Строго оберегая и улучшая леса, Владимир Константинович всегда считался с интересами крестьян-бедняков. Известен случай, когда он воспротивился притязаниям помещицы княгини Эристави на земельные участки в Багдадском лесничестве на том основании, что эти участки являлись единственными пастбищами для скота крестьян.

Переехав в Багдады, Владимир Константинович поселился с семьей в доме Константина Кучухидзе на правом берегу Ханис-цхали, у моста. Он занял комнаты, в которых до этого жил его предшественник по лесничеству Александрович.

Повышение в должности и то, что Багдадское лесничество было переведено в 1891 году из третьего во второй разряд, давало семье Маяковских возможность жить в достатке, однако необыкновенное гостеприимство Владимира Константиновича, хлебосольство, о котором тогда же складывались легенды, постоянное пре-

бывание в доме гостей или кого-либо из родственников сильно отражалось на материальном положении семьи.

В девяностом году у Маяковских родилась дочь Ольга, в девяносто первом умер Костя, а в девяносто третьем родился сын Владимир.

Через несколько лет Маяковские перешли на новую квартиру — к Караману Шарашидзе, а еще позже — в дом за крепостными валами.

«Первый дом, воспоминаемый отчетливо, — пишет поэт. — Два этажа. Верхний — наш. Нижний — винный заводик... Все это территория стариннейшей грузинской крепости...»

Багдадская крепость отмечена в истории. Каждый ее камень помнит о ратном прошлом, о грузинских воинах, боровшихся вместе с русскими войсками за изгнание турецких захватчиков.

Екатерина вторая писала Вольтеру: «Вчера[1] получила известие, что генерал-майор граф Тотлебен взял две крепости по ту сторону Кавказа—Шерипан[2] и Багдад... Этот Багдад и не так прекрасен и не так велик, как Багдад «Тысячи и одной ночи».

От багдадской крепости остались валы с накатами для пушек и бойницами, за валами — рвы.

Володя Маяковский любил скатываться с победным кличем по этим кручам. Он не признавал тропинок и через кусты пробирался на берег Ханис-цхали, где его обычно поджидали сверстники — сельские ребятишки.

К шести годам Володя научился читать и считать. В автобиографии он вспоминает об этом: «Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне ж всегда давали, и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием».

Когда Володя подрос, отец стал брать его в верховые объезды лесничества. Один такой объезд запечатлелся на всю жизнь, как нечто необычайное: ночью на перевале «в расступившемся тумане под ногами — ярче неба. Это электричество. Клепочный завод князя Накашидзе. После электричества совершенно бросил интересоваться природой. Неусовершенствованная вещь».

---

[1] Письмо от 18 августа 1770 года.
[2] Шорапани.

Миросозерцание его проникнуто пафосом будущего.

Как свет в расступившемся тумане — книги. Вначале постигла неудача. Первой самостоятельно прочитанной книгой была повесть Клавдии Лукашевич «Птичница Агафья», написанная до того слащаво, что, попадись еще несколько таких книг, — «бросил бы читать совсем». Зато вторая книга — «Дон Кихот» — увлекла, захватила. Володя смастерил деревянный меч и латы, — «разил окружающее». Может быть, воспоминанием об этом подсказаны строки стихотворения «Ко всему»:

Смотрите —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Еще до знакомства с азбукой Володя пристрастился к заучиванию стихов. Он старался произносить слова выразительно и громко. Бывало, играя во дворе, заберется в опрокинутое для просушки на бок порожнее чури — большой, ведер на двести, глиняный кувшин для хранения вина — и начнет читать в нем какое-нибудь стихотворение. В таких случаях сестра Оля становилась перед горловиной чудо-кувшина, а потом рассказывала брату, как набатом звучали слова. Так проверялась сила голоса.

Однажды четырехлетнего Володю повезли в старинный монастырь Гелати. Во время богослужения, когда священник произносил по-грузински слова молитвы: «Мамиса да дзиса чвениса, сулиса...», Володя, уловив ритм, стал громко произносить свое: «Крути, крути колесо, чтобы дело наше пошло хорошо!». Хотя ему сделали замечание, он повторял присказку все громче и громче, пока его не подхватили на руки и не вынесли из церкви.

Делаются попытки истолковать этот случай, как первый проблеск будущего поэтического дарования Маяковского, хотя это, вне всякого сомнения, всего лишь детское подражание ритму, ощущение резонирования звука и желание услышать свой голос в усиленном звучании. Как позже — в опрокинутом чури. Та же проба голоса.

Мальчику исполнилось семь лет. Решено определить его в Кутаисскую классическую гимназию. Когда-то в этой гимназии учились Владимир Константинович и его брат Михаил.

В один из осенних дней 1900 года, утром, двенадцатиместный дилижанс, запряженный четверкой лошадей, увозил Володю из Багдад. С ним поехала мать — Александра Алексеевна.

Кутаис раскинулся возле железнодорожной магистрали. Короткая ветка связала его в 1877 году со станцией Рион. Через город протекает река Рион, имеющая еще древнее название Фазис. Многоводная, она берет начало в ледниках Главного Кавказского хребта и оттуда катит свои волны к Черному морю.

Ветры, дующие с моря, приносят в рионскую долину тепло и влагу. Значительную часть года Кутаис утопает в зелени, всю зиму не увядают цветы.

Кварталы невысоких каменных домов составляли центр. А на окраинных улицах, прислонившись к скалам, стояли почерневшие от дождей и солнца дощатые домики, выставившие вперед свои балкончики с резными украшениями. До второго этажа такого домика нетрудно дотянуться рукой.

На улицах, вымощенных речным булыжником, можно было встретить и шикарные экипажи с колесами на резине, и громыхающие бочки водовозов, доставлявших населению мутную воду из Риона.

С наступлением сумерек человек с лестницей на плече обходил главные улицы — зажигал фонари на столбах. При их тусклом свете, едва пробивавшемся через закоптелые стекла, даже вывесок на лавках нельзя было прочесть. Окна домов на ночь плотно прикрывались ставнями, и город погружался во тьму. Порой маячили огоньки фонариков редких прохожих.

Газета «Новое обозрение» сетовала, что на Балахванской, одной из главных улиц Кутаиса, на протяжении 150—160 шагов, считая от Губернаторского переулка, «существует шесть духанов, горит всего один фонарь и нет ни одного городового».

В центре города было оживленно только по воскресеньям и четвергам, когда в саду играл военный духовой оркестр и устраивались танцы.

По аллеям сада и примыкающему к нему бульвару, слушая музыку, степенно прогуливались со своими семьями чиновники в форменных фуражках, — город был губернский.

На слегка опрокинутых скамейках находили удобную пристань престарелые горожане, любители посудачить,

обменяться новостями. Здесь же присаживались ростовщики и лавочники, чьи торговые ряды находились неподалеку, — город был торговый.

Учащимся разрешалось посещать городской сад только до семи часов вечера.

Мужская и женская гимназии, реальное уличище находились в нескольких минутах ходьбы от городского сада, и дети забегали сюда на большой перемене.

Мужская гимназия в Кутаисе была открыта в пятидесятые годы XIX столетия. Здание для нее выстроили частные лица и в 1857 году сдали учебному ведомству в аренду на тридцать семь лет. Когда этот срок истек, они предложили его выкупить, но попечитель Кавказского учебного округа задумал построить новое здание для гимназии. Однако вскоре выяснилось, что царская казна вовсе не собирается отпускать средства на такие нужды. Попечитель с горечью писал об этом директору гимназии: «Нет никакой надежды на отпуск из государственного казначейства столь значительной суммы, какая исчислена. Не признавая даже возможности возбуждать ходатайство ни о постройке нового здания, ни о выкупе теперешнего помещения гимназии, я прошу обратиться к местным домовладельцам, не согласится ли кто из них построить на собственные средства помещение для гимназии с пансионом и затем отдать его в наем».

Построить новое помещение так и не удалось. В 1902 году к старому зданию гимназии, перешедшему за долги от частных владельцев к Земельному банку, пристроили новый корпус. Это дало возможность открыть параллельные классы.

Володя Маяковский будет учиться в «параллельных».

Переехав в Кутаис, Александра Алексеевна сняла две небольшие комнаты в доме ветеринарного врача П. В. Глушковского, с женой которого, Юлией Феликсовной, была до этого знакома.

Маленький двор и сад, обнесенные высокой оградой, показались Володе после багдадского простора тесными. Привыкший видеть птиц на воле, в лесу, он удивился, когда перед ним закачалась в окне клетка с канарейкой.

Володю тянуло за порог. Сын Глушковских Вася, хоть и был старше Володи, быстро подружился с ним,

и оба убегали на берег Риона, осматривали город, поднимались на гору, где стоит древний храм Баграта.

Глушковский рассказывал Володе о гимназии, познакомил со своими сверстниками. Еще до переезда в город Володя много слышал о гимназии от двоюродного брата Миши Киселева, часто наезжавшего в Багдады, и от своего отца.

К поступлению в гимназию готовила Маяковского Юлия Феликсовна. Всегда приветливая и отзывчивая, она не считалась со временем, — урок, по обыкновению, затягивался. Да еще иногда после урока Юлия Феликсовна брала интересную книгу, читала или пересказывала ее своему ученику.

Володя быстро подвинулся в занятиях, но многое еще оставалось пройти по программе вступительных экзаменов.

Лето 1901 года Маяковские провели в селе Багдады.

Володя был увлечен поездками с отцом по лесничеству, ночевками в лесу, восхождениями на горы. В это лето он особенно почувствовал и оценил природу. Отец тоже всей душой был слит с природой. Однажды, после пребывания в городе, он сказал в кругу домочадцев:

— Только здесь я чувствую себя хорошо. Какой воздух, какая ночь! Была одна — гоголевская, вторая — пушкинская, третья вот эта — багдадская ночь.

На короткое время всей семьей поехали к знакомым в Батум и Сухум. Володе врезался в память батумский маяк, на который ему разрешили подняться. Поразили высота и простор.

В поэме Маяковского «Война и мир» есть строки:

Выпучив глаза,
маяк
из-за гор
через океаны плакал.

Поднявшись на маяк, Володя задумался над своей фамилией. Потом нравилось, когда товарищи звали его «Володя Маяк». Бывало, на вопрос «кто там?», откликался: «Маяк».

И даже подписывался так.

Быстро промелькнули летние месяцы, — надо было возвращаться в Кутаис. С Володей поехали мать, се-

стра Оля и бабушка Евдокия Никаноровна. Сняли новую квартиру из трех комнат возле женской гимназии, рядом с заводом искусственных минеральных вод.

Володя часто прибегал на этот завод, знакомился и разговаривал с подростками, которых приводила сюда нужда. Дети работали наравне со взрослыми. На заводе свирепствовал приказчик Исако. Однажды он исхлестал плетью одиннадцатилетнего мальчика только за то, что тот, падая от усталости и изнурения, не мог больше работать. Об этом случае рассказала своим читателям-рабочим нелегальная большевистская газета «Листок «Борьбы пролетариата».

Володя узнал об избиении подростка от своих сверстников и стал искать объяснений впервые открывавшимся ему уродливым сторонам жизни — задавал вопросы дома и на уроках.

К экзаменам его подготавливала новая учительница — Нина Прокофьевна Смольнякова. Вместе с Маяковским у нее занимался Володя Данчевский — сын офицера.

В конце декабря Маяковский заболел дифтеритом и к занятиям смог вернуться после длительного перерыва.

Когда приблизился день экзаменов, Владимир Константинович попросил знакомого учителя — Платона Георгиевича Цулукидзе проверить знания Володи.

Для поступления в старший приготовительный класс гимназии требовалось: по русскому языку — бегло прочесть незнакомый рассказ и пересказать его содержание, сделать краткий грамматический разбор прочитанного, написать диктант, знать наизусть несколько басен и стихотворений; по арифметике — решить задачу на все четыре действия. Еще надо было знать «ветхий и новый завет» и выучить несколько молитв.

Во время проверки знаний, проведенной Платоном Георгиевичем в непринужденной домашней обстановке, Володя хорошо прочел и пересказал маленький рассказ. Стихи и басни он произнес выразительно, с интонациями. При разборе предложений не раз ошибался, но, подумав, сам исправлял свои ошибки. Диктант писал торопливо, но грубых ошибок не допустил. В устном счете был тверд. Молитвы прочел скороговоркой.

— Мальчик вполне готов к экзаменам, — с удовлетворением заявил отцу Платон Георгиевич, — он знает больше, чем требуется.

Нина Прокофьевна продолжала заниматься с Володей.

«Я здоров и учусь хорошо», — сообщает он сестре Людмиле, учившейся в Тифлисе, и упоминает о прогулке, предпринятой вместе с учительницей Смольняковой и сестрой Олей на Архиерейскую гору. «Собрали немного фиалок. У нас сильный ветер, а деревья цветут...»

Наступил май. В еженедельной газете «Кутаисские губернские ведомости», заполнявшейся официальными материалами, появилось объявление: приемные экзамены в мужской классической гимназии назначены на 29 и 30 мая.

Александра Алексеевна сшила сыну к экзаменам синие брюки навыпуск, матросскую блузу с якорем на рукаве и купила бескозырку с надписью «Матрос».

В канцелярии гимназии заводится «Список посторонних лиц, пожелавших держать вступительный экзамен в приготовительный класс». В него вносится строка:

Владимир Маяковский.

Экзаменовалось восемнадцать человек.

В тот день Володя был нездоров, но на экзамен пошел.

В учительскую вызывали по списку. Володя значился седьмым.

За столом, покрытым зеленым сукном, сидели: директор Чебиш, исполняющий обязанности инспектора Сагарадзе, преподаватели русского языка — Юркевский и Дзюбинский, арифметики — Семенов, Джомарджидзе, Евстигнеев и «закона божьего» — Тугаринов.

Внимательно всматривался в лица экзаменующихся, вслушивался в их ответы Николай Николаевич Джомарджидзе — учитель старшего приготовительного класса. Ему предстояло быть и классным наставником новичков.

На экзамене по русскому языку Маяковский получил: за письменную работу — четыре, за устные ответы — пять. Между прочим спросили про якорь на его рукаве. Как вспоминает Маяковский в автобиографии, «знал хорошо». Еще бы... Ему было три года, когда он уже носил матроску и в ней запечатлен на фотографии. А поездка в Батум и Сухум, где он насмотрелся на настоящие якоря!

По арифметике Володя на экзамене получил четыре с плюсом. Под конец надо было ответить на вопро-

сы Тугаринова по «закону божьему». Священник спросил:

— Что такое «око»?

— Три фунта, — ответил Маяковский, зная, что есть в Грузии такая мера веса.

Экзаменатор возмутился, но, убедившись, что мальчик не понял вопроса, смягчился, стал объяснять: «око» — это «глаз» по-древнему, церковнославянскому. В то время значительную часть букваря занимал церковнославянский текст. Азбука Бунакова, например, даже заканчивалась изречением из «священного писания»: «Око не виде и ухо не слыша...» Это самое «о к о» и подвело на экзамене. «Из-за этого чуть не провалился». Володя с детства возненавидел «все церковное».

Пройдут годы, и он напишет.

...мы знаем —
нету бога
и нету
смысла
в верах.

Придя домой с последнего экзамена, Володя слег. Оказалось, он заболел брюшным тифом. За ним ухаживали мать и тетя Анюта, работавшая в военном госпитале. Когда кризис миновал и к больному стали возвращаться силы, его повезли в Багдады. За лето он поправился и окреп.

Володя — гимназист.

Александра Алексеевна внесла плату за обучение сына в первом полугодии — двадцать пять рублей.

Матроску заменила серая блуза, — ношение ученической формы считалось обязательным.

Имя и фамилия новичка — Владимира Маяковского заносится в «Алфавитный список учеников Кутаисской гимназии за 1902—1903 учебный год».

В старшем приготовительном классе шестьдесят пять учеников.

В дошедшей до нас рукописи Н. Н. Джомарджидзе «Педагогические этюды» сказано по этому поводу: «Ненормально и противоречит данным психологии и гигиены, когда мы навязываем одному учителю класс в пятьдесят или семьдесят человек». Но молодой учитель был поставлен перед фактом.

Год рождения Владимира Маяковского сначала определили по выписке из «формулярного списка» отца, где

значилось: 1894. Еще до этого в семье Маяковских мнения о годе рождения Володи расходились: мать называла 1893-й, отец — 1894-й. В точности дня и месяца никто не сомневался. Как тут ошибиться, если Володя родился в день рождения отца и поэтому принял его имя. Но для гимназии основанием могло служить только метрическое свидетельство.

В книге записей «гражданского состояния» Сакопадзевской церкви (Верхние Багдады) сказано, что Владимир Маяковский родился 7 июля 1893 года и имя ему дали восемнадцатого числа того же месяца.

Под этой записью подписались: священник Иустин Барбакадзе, родители — Владимир Константинович и Александра Алексеевна Маяковские, восприемники — Николай Ильич Савельев (кутаисский лесничий) и Анна Константиновна Маяковская (тетя Анюта).

На том же листе церковной книги — отметка о выдаче В. К. Маяковскому в 1902 году копии свидетельства о рождении сына. Сверившись с этим документом, в гимназии переправили 94 на 93.

Много лет спустя «справку» о своем рождении дал уже сам Владимир Маяковский в поэме «Человек», «справку» очень важную для биографов поэта:

В небе моего Вифлеема
никаких не горело знаков,
никто не мешал
могилами
спать кудроголовым волхвам.
Был абсолютно как все
— до тошноты одинаков —
день
моего сошествия к вам.

В 1902 году Маяковские обосновались в Кутаисе уже всей семьей. Только Владимир Константинович не мог оставить Багдады и приезжал в город по субботам. Квартиру сняли в доме Читава за Белым мостом, возле госпиталя и казарм Куринского полка. Людмила, окончившая тифлисскую гимназию, приехала в Кутаис с намерением преподавать в школе. Оля, учившаяся в Кутаисе, перешла во второй класс. Володе предстояло впервые переступить порог гимназии.

В предреволюционные годы в России нарастало недовольство школой, усилилась критика ее недостатков.

Правительство было вынуждено создать комиссию по выработке проекта нового «устройства общеобразовательной средней школы».

В течение тридцати лет почти половина учебных часов отводилась в гимназиях преподаванию «древних языков» — латинского и греческого. Например, в 1890 году по плану распределения уроков, если на физику отводилось семь, на географию — восемь, на историю — тринадцать уроков, то на латинский и греческий языки — семьдесят пять уроков. Таким путем правительство вытесняло из школьных программ те предметы, которые могли способствовать развитию «самосознания и свободомыслия». Царский министр Д. Толстой так определил свое отношение к изучению древних языков: «...оно является важнейшим средством против так сильно охватившего наше учащееся юношество материализма, нигилизма и самого пагубного самомнения».

Реакционные чиновники свирепо ополчились против нового проекта, предполагавшего расширение изучения русского языка и географии, введение элементарного курса русской истории и естествознания. Генералу Ванновскому, занимавшему пост министра народного просвещения, пришлось уйти в отставку, хотя он отнюдь не был демократом.

В. И. Ленин писал по поводу политики генерала-«просветителя»:

«Мы, революционеры, ни на минуту не поверили в серьезность обещанных Ванновским реформ. Мы не переставали твердить либералам, что циркуляры «сердечного» генерала и рескрипты Николая Обманова — представляют лишь новое проявление всей той же либеральной политики, в которой самодержавие успело искуситься за 40-летний период борьбы с «внутренним врагом», т. е. со всеми прогрессивными элементами России».

В принятом в связи с уходом Ванновского особом рескрипте царь ссылался на «взбаламученное море учащейся молодежи» и патетически заключал: «Где ж тут думать о постройке нового здания на движущемся песке?»

После отставки «сердечного» министра снова подняли голову «классики» — сторонники преобладания в учебных программах латыни и греческого языка. Но

даже Зенгер — новый и наиболее реакционный министр, убежденный приверженец «классической» школы, не мог не посчитаться с мнением передовой части общества и пошел на уступки, хотя и менее явные: в классических гимназиях было отменено преподавание латинского языка в первом и втором классах и греческого в третьем и четвертом. В дальнейшем изучение греческого языка стало необязательным.

С этой реформой по времени совпало поступление Владимира Маяковского в Кутаисскую классическую мужскую гимназию.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### В СТАРШЕМ ПРИГОТОВИТЕЛЬНОМ. ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Новички настороженно переступали порог большой светлой комнаты, выходящей окнами на берег Риона.

С кем и за какой партой сидеть?

Виктор Демьянович — одноклассник Маяковского — вспоминает:

— Разместились бы мы, наверное, не скоро и не очень мирно, если б не проявил инициативу наш первый учитель и классный наставник Николай Николаевич Джомарджидзе, который всем нам сразу понравился. Возражать ему никто не решался, и размещение закончилось довольно быстро. Я попал на первую парту вместе с Георгием Зедгенидзе. Почему именно с ним? Может быть, потому, что он, как и я, был из Квирил, или потому, что он плохо слышал, а мой совсем не боевой вид (я долго болел малярией) подсказал доброму сердцу Джомарджидзе, что от такого, как я, соседа у Зедгенидзе будет минимум неприятностей (ведь известно, что во все времена мальчишки бывали не очень-то снисходительны к физическим недостаткам). Вот так и начался наш первый школьный день.

Володя Маяковский перекинулся несколькими словами с товарищем по парте, Аполлоном Месхи, и положил перед собой тетрадь в темно-синей обложке. Такие же тетради с витиеватой этикеткой кутаисской торговой фирмы Бежанейшвили лежали на других партах.

Володя старательно вывел на этикетке: «...ученика старшего приготовительного класса Владимира Маяковского».

В этом классе предстояло изучать русский язык, арифметику, рисование, чистописание и еще «закон божий».

На большой перемене, когда дети, обгоняя друг друга, выбежали на просторный двор, спускающийся уступами к реке, Володя слился с живым потоком. Он остановился перед огромной чинарой, возраст которой исчисляется сотнями лет. Ствол дерева, охватов в шесть-семь, огорожен у основания насыпью и каменными плитами, уложенными по кругу. Подобно этому дереву, свидетелем прошлого стоит нависшее сводами над Рионом мрачное здание, в котором при имеретинском царе Соломоне вершили суд и расправу. Оно также приковало внимание детей.

Звонок, зовущий в классы, прервал игры и осмотр достопримечательностей двора.

Уроки велись на русском языке. Только вне класса ученик мог заговорить с товарищем по-грузински.

Надолго запомнился такой случай. Учитель рисования В. А. Баланчивадзе, у которого установились самые дружеские отношения с учениками, заметив, что Маяковский и его товарищ Иосиф Залесский шалят, подошел к ним и сказал по-грузински:

— Не шалите, а то носы вам оторву.

Володя, услышав грузинскую речь в классе, обрадованно закричал:

— О, Василий Антонович по-грузински умеет говорить!

А в минувшем столетии в этой же гимназии с учениками поступали так: тому, кто произносил хоть одно грузинское слово, вручали штрафной жетон. «Провинившийся» должен был подслушать, подстеречь товарища, заговорившего по-грузински, и всучить ему этот жетон. Ученика, не успевшего до конца уроков «отделаться» от жетона, оставляли после занятий в классе без обеда. О таком диком, жестоком принуждении детей давно забыли, но некоторые реакционно настроенные учителя продолжали проводить в иных формах политику национального угнетения.

В ученической среде завязалась крепкая дружба. С первых дней занятий Владимир Маяковский сблизился с Аполлоном Месхи, Виктором Демьяновичем, Евгением Гванцеладзе, Георгием Гачечиладзе, Николаем Шостаком, Галактионом Бежанейшвили.

В отдельной графе алфавитного списка учащихся гимназии — пометки о родителях: крестьянин, мещанин, городского сословия, военный, дворянин, духовного звания, купец, чиновник.

Рабочие причислялись к «городскому сословию». Их насчитывалось не много — город еще не имел крупной промышленности. Но газета «Новое обозрение» уже подняла вопрос о «широком коммерческом кредите» ввиду «все увеличивающегося промышленного роста как вообще всей Кутаисской губернии, так и города Кутаиса». Вместе с тем усиливалась эксплуатация труда.

Дети видели, как тяжело живется рабочим, крестьянам, всему трудовому люду, и по-своему, наивно выражали протест. Однажды, когда из женского учебного заведения «святой Нины» в мужскую гимназию прислали пригласительные билеты на танцевальный вечер, некоторые гимназисты отказались принять приглашение, а тех, кто брал билеты, упрекали: «Стыдно заниматься танцами, когда народ бедствует...». Этот случай обсуждался на педагогическом совете. О нем знали в старших классах.

Неоправданным мне кажется утверждение В. Перцова, биографа Маяковского, будто бы «с первых дней своего пребывания в гимназии Маяковский почувствовал неприязнь к заносчивым, державшимся особняком сыновьям русских чиновников». Но их-то, сыновей рядовых русских чиновников, кроме самого Маяковского, было из 64 учащихся старшего приготовительного класса всего лишь пять человек и один из них — Демьянович, который, начиная с первого класса, был постоянным соседом Маяковского по парте.

Кутаисские чиновники, чьи дети учились в гимназии, занимали невысокие посты, — им нечего было заноситься, а детям и подавно. По этому вопросу Виктор Демьянович пишет: «Отец мой чина статского советника, по-моему, еще не имел. Во всяком случае тот или иной чин моего отца, так же, как чин титулярного советника отца Владимира Маяковского, никакого влияния не оказывал на наши отношения как взаимные, так и с другими товарищами по классу гимназии».

Незаметно протекла первая половина учебного года. Владимир Маяковский в первой четверти получил отметки:

по русскому языку (устно) — 5.
по арифметике (устно) и чистописанию — 4.
по поведению, вниманию и прилежанию — 5.

Во второй четверти отметки те же, только по арифметике уже не 4, а —5.

Среди четверти показатели резко колебались. В одну из недель Маяковский получил по русскому языку: в понедельник — 5, во вторник — 3, в среду — 5, в четверг (по чистописанию) — 3 с минусом.

В начале марта Володя заболел.

Зима выдалась необычайно суровая. С февраля стояла ненастная погода. Солнце почти не показывалось, было холодно, на улицах лежал снег. То и дело снегопад сменялся проливным дождем. Вечером 12 февраля, около восьми часов, наблюдалось редкое атмосферное явление: гроза при снежной метели. В конце февраля свирепствовал сильный восточный ветер, наносивший тучи сухой пыли. Газета «Новое обозрение» писала: «Изменчивость погоды вызвала здесь заболевания инфлюэнцей, положительно в редком доме не лежит больной этой болезнью».

Маяковский пропустил из-за болезни много уроков. Больного навестил классный наставник Николай Николаевич Джомарджидзе. Он умел расположить к себе детей. Чтобы лучше узнать своих воспитанников, посещал их родителей, устраивал для учеников загородные прогулки, сам участвовал в детских играх во дворе гимназии. Будучи требовательным, Джомарджидзе вместе с тем считал, что лучше предупреждать ошибки детей, чем их потом исправлять и наказывать за них.

Нелегко было в те годы передовому учителю получить похвалу от начальства, между тем директор гимназии писал попечителю учебного округа в отзыве о Джомарджидзе: «Преданный делу, относящийся к детям с любовью, он обладает и надлежащим умением применить на уроках соответствующие методические приемы. Все его уроки, на которых я присутствовал, велись им умело и свидетельствовали о тщательной к ним подготовке. Дисциплина в классе превосходная. Джомарджидзе, помимо обязательных своих занятий с учениками, уделяет на пользу детям и свой досуг. Он с удовольствием поиграет с детьми в отсутствие учителя гимнастики, почитает с ними после обеда книжку...»

На уроках русского языка Джомарджидзе читал и

пересказывал детям произведения по своему выбору, например: «Чем люди живы» Льва Толстого, «Аленький цветочек» Аксакова, «От Аппенин до Андов», «Дневник школьника» Амичиса.

В предисловии к «Дневнику школьника» есть строки: «Книга де Амичиса так проста, без громких слов и запутанных приключений, будто все, что описано в ней, случилось в самом деле (литературно — это большое достоинство), и от многих ее страниц сердце замирает именно потому, что им верится».

Может быть, еще тогда, при чтении и объяснении этой книги в классе, зародилась у Маяковского любовь к произведениям итальянского писателя-социалиста Эдмондо д'Амичиса. Другую его книгу — «Учительница рабочих» — Маяковский в 1918 году переделал для экрана и сам же исполнял в фильме роль молодого парня, влюбленного в учительницу для взрослых.

Николай Николаевич Джомарджидзе часто расспрашивал своих учеников, что они читают самостоятельно, и однажды был очень обрадован, узнав, что дети увлекаются сказками Пушкина и русскими народными сказками, собранными Афанасьевым.

Записывая в тетрадь названия книг, прочитанных дома, Маяковский иногда делился с учителем впечатлениями.

Чтобы научить своих воспитанников мастерству выразительного чтения, Николай Николаевич или сам брал книгу, или передавал ее лучшему в классе чтецу. Поручал читать и Володе. Иногда ученикам показывали «туманные картины» на литературные темы, например, «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» Пушкина, «Кавказский пленник» Толстого. Дети любили «волшебный фонарь».

Чуткий и отзывчивый Джомарджидзе умел видеть за гамом и шумом школьной жизни, за многими, подчас неуловимыми движениями души ребенка формирующийся характер.

Не многие из учителей подмечали способности и увлечения каждого своего ученика. Владимиру Маяковскому посчастливилось, — когда он стал проявлять любовь к рисованию, на это обратил внимание его учитель Василий Антонович Баланчивадзе.

В то время Баланчивадзе еще не имел звания учителя и был принят в гимназию как «классный худож-

ник». Он начал преподавать в младших классах 1 сентября 1902 года.

— До этого я выступал на сцене кутаисского театра, — рассказывал В. А. Баланчивадзе. — Когда Чебиш пригласил меня преподавать в гимназии, я сказал ему, что я художник, а не учитель, но все же согласился. Пробиваться в жизни художнику было трудно и тяжело.

Об артистических способностях бедствующего художника писали в газетах, отмечали удачное исполнение им ролей разбитного цирюльника в переводной французской драме «Преступление и наказание» и старого хитреца Арцивадзе в водевиле «Запутанное дело».

Василий Антонович приучал детей рисовать с натуры, а на классной доске наглядно показывал, как идти от простого к сложному. После урока он собирал и уносил с собой рисунки, чтобы внимательно рассмотреть их на досуге, познакомиться со способностями каждого ученика.

Однажды на проверочном уроке Владимир Маяковский, желая «выручить» товарища, выполнил за него заданную работу. Это не осталось незамеченным. Возвращая ученикам в начале следующего урока классные работы, Василий Антонович задержал Володю и объяснил, что так поступать нехорошо. Володя не отрицал своей вины.

— Как это случилось? — спросил учитель.

— Хотел помочь товарищу...

— Помощь надо оказывать не так. Своим поступком ты только помешал товарищу проявить способности, справиться с работой.

После этого случая Маяковский уже не рисовал за других, но всегда помогал товарищам, обращавшимся к нему за советом.

Рисование было для Володи не только школьным предметом, но и любимым занятием, — он делал рисунки к прочитанным дома книгам, а позже придумывал карикатуры на учителей, грубо и несправедливо относившихся к ученикам.

Расположить к себе детей умели только те педагоги и классные наставники, которые правильно понимали свое призвание. По-разному встречали гимназисты посещавших их на дому классных наставников; одних, например Пушкарева, Джомарджидзе, — с радостью, других — Богословского, Юркевского — со страхом и

неприязнью. Первые приходили, чтобы познакомиться с родителями своих учеников, помочь советами в воспитании детей, выяснить, кто и в чем нуждается. Вторые жаловались родителям на ученика, грозили исключить его из гимназии или осматривали комнаты, столы — нет ли где «недозволенных» книг.

Об одном таком посещении квартиры классный наставник Богословский докладывал директору: «Ученик Гзелидзе находился в гимназии на уроках, когда мною была осмотрена его комната, а также и все вещи его и книги».

Не уступал Богословскому в этом отношении учитель русского языка Дзюбинский. При посещении квартиры ученика он производил обыск, которому мог позавидовать жандарм. Как-то раз он обнаружил под кроватью ученика роман Гончарова «Обрыв», и это чуть было не кончилось исключением мальчика из гимназии.

К таким учителям дети и их родители относились как к полицейским шпикам, — с опаской и презрением. И в самой учительской среде находились люди, осуждавшие произвол и бездушие.

Н. Н. Джомарджидзе, например, писал в своих «Педагогических этюдах»: «Что из того, что многие наши гимназии имеют большие здания, прекрасные актовые залы, хорошо обставленные кабинеты и просторные коридоры. Это не избавило их от горьких и искренних проклятий со стороны замученных в них воспитанников, которые с отвращением вспоминают лучшие годы свои, отравленные общением с черствыми казенными преподавателями, с этими бездушными педантами и невеждами. С какой циничной небрежностью эти полицейские педагоги игнорировали духовные запросы юношества, с какой возмутительной грубостью подавляли они в нем все благородные порывы».

А если школа бедна, тесна и невзрачна, но имеет хорошего учителя, знающего и любящего свое дело,— она, по утверждению Джомарджидзе, счастлива и прекрасна. «Маленькие существа, выросшие в такой школе, — продолжает он, — будут до конца дней своих вспоминать с умилением свою маленькую дорогую школу с ее светлой фигурой дорогого учителя, друга — руководителя детей».

Именно таким учителем — другом своих учеников— был сам Джомарджидзе. Он старался найти объяснение

многим фактам и явлениям жизни. Глубокими раздумьями, поучительными примерами и выводами заполнялись страницы его учительской исповеди — «Педагогических этюдов».

Он утверждал, что учителя, общаясь с учениками, не могут ограничиваться классными занятиями, а должны изучать своих питомцев еще и на переменах, среди шумной игры, в тиши семейного очага. Такая близость учителя к ученикам, заключает Джомарджидзе свою мысль, не только помогает узнавать детей, но и привязывает воспитателя к воспитанникам, облагораживает его сердце.

Были у Джомарджидзе в классе два мальчика, которые, несмотря на все его старания помочь им, учились плохо. И тогда он, учитель, сказал себе: «Все, что от меня зависит, я делаю, однако успеваемость не повышается, и я с чистой совестью могу поставить им двойки». Но когда однажды, зимою, он побывал у этих мальчиков дома и увидел жалкую обстановку, в которой они жили, когда он увидел, как они, осиротевшие дети, прижались головками к груди приютившей их тетки, — ему вдруг стало, по его собственному признанию, както неловко и даже стыдно. Джомарджидзе казалось, что смущенные его внезапным посещением дети, вставшие при появлении учителя, но не отходившие от приласкавшей их женщины, как бы упрекают его: «Ты не друг наш, ты нас не знаешь, ты не знаешь условий нашей жизни, нашей нужды, ты только требуешь...».

После описанного случая Джомарджидзе стал иначе смотреть на этих мальчиков: он видел уже не только учеников, но и детей, которых суровая жизнь заставила познать горе, лишения, невзгоды.

Посетив двух других гимназистов, Джомарджидзе познакомился с бедной вдовой, которая жила в убогой хижине и, зарабатывая на хлеб починкой и стиркой чужого белья, содержала своих мальчиков. Малыши помогали матери в домашней работе, и эта с детства сознательная жизнь делала их, по убеждению педагога, гораздо умнее тех беспечных детей из богатых семейств, которые и в четырнадцать лет оказывались беспомощными и несамостоятельными.

«Мне очень понравился, — рассказывает Николай Николаевич, — один отец, ласково сказавший своему четырехлетнему сыну, когда тот своим беспрерывным

постукиванием мешал нашей беседе: «Как у меня болит голова, миленький, если бы ты знал, и как твое постукивание усиливает эту боль!». Это было сказано так нежно, что ребенок перестал стучать и стал внимательно рассматривать лицо отца.

Н. Н. Джомарджидзе и сам умел находить путь к сердцу ребенка. Он обратил особое внимание на одного малыша, когда тот однажды опоздал на первый урок. Запыхавшись, мальчуган вбежал в класс. Кто знает, что помешало ему в этот день явиться вовремя. Глаза его выражали такой испуг, словно он совершил тяжкое преступление.

Прервав урок, Николай Николаевич мягко сказал ему, впервые назвав его по имени:

— Садись, Алеша.

Мальчик сел и в продолжение всего урока с признательностью глядел на своего воспитателя.

Требовательно, но чутко относясь к ученикам, Джомарджидзе старался во всем служить примером, быть аккуратным, внешне опрятным. В гимназию он приходил всегда чисто выбритый, в учительской форме, с белоснежным воротничком и черным галстуком. В нем была и природная привлекательность. Волосы, слегка вьющиеся и зачесанные назад, подобно шапке, обрамляли его лоб. Глаза ясные и доверчиво внимательные, казалось, заглядывали в самую глубь души.

Изучение и понимание психологии детей Джомарджидзе считал обязательным для педагога не только при занятиях с одним-двумя учениками, но и с целым классом. Учитель, по его мнению, никогда не управится с классом, если не знает каждого своего воспитанника.

Учитель русского языка Николай Александрович Ильинский, вспоминая Кутаисскую гимназию, говорил о Джомарджидзе: «Меня всегда удивляло (наши классы были смежными), как спокойно и тихо он ведет занятия с большим числом учеников и какие дисциплинированные и радостные выходят дети из его класса».

Иногда ученики, набегавшись на перемене, шумно рассаживались по местам и никак не могли успокоиться. Джомарджидзе в таких случаях не укорял их, а начинал с ними весело разговаривать и быстро вводил их в нормальное русло.

Конечно, такой подход к детям он не собирался рекомендовать другим учителям, считая, что вообще

нельзя предопределить каждый шаг педагога и пользоваться заранее выработанными приемами. Именно поэтому воспитателями, по его мнению, должны быть люди соответственно образованные, чуткие и знающие свое дело, умеющие самостоятельно ориентироваться во всех случаях школьной жизни. Вместе с тем, хорошими учителями, полагал он, могут быть, особенно для маленьких детей, люди живые, подвижные, отзывчивые, всегда свежие и юные душой, способные поддерживать в себе постоянную бодрость и веселость духа, а иногда и шаловливую игривость.

Но гимназический режим часто ограничивал все живое, разумное. Был такой случай. В послеобеденное время Джомарджидзе собрал детей в классе, чтобы почитать им что-нибудь. Внимательно прослушав «Кавказского пленника» Л. Н. Толстого, ученики, обрадованные тем, что побег пленника увенчался успехом, с шумом, обмениваясь впечатлениями, выбежали из класса. Директор гимназии остановил ватагу детей и укоризненно сказал учителю:

— Посмотрите, как они ведут себя!

— Это моя вина, — ответил Джомарджидзе, — мы увлеклись чтением, и я после этого не переключил внимание детей на другие темы.

Конечно, только лучшие из педагогов могли глубоко вникать в переживания учеников.

Задумываясь над нерешенными вопросами семьи и школы, Джомарджидзе неизменно приходил к обличению существующих порядков. Он считал, что большую часть государственных средств следует затрачивать на народное образование, которое «должно быть бесплатным и всеобщим». Но тут же задавал себе вопрос: «А откуда взять эти средства?». Жестокая действительность сразу отрезвляла его, и он делал вывод: «При наших уродливых системах и формах общежития с их алчным стремлением к милитаризму и полицейщине, которые поглощают львиную часть трудовых сбережений, на долю народного образования перепадают, конечно, лишь крохи».

Правильное воспитание детей, по мнению Джомарджидзе, надо начинать с воспитания и подготовки самих воспитателей — родителей и учителей. Он с болью в душе сокрушался: «Как дико звучат слова: безграмотная мать! Какое преступление со стороны государства

и общества иметь безграмотных матерей!» При этом он добавляет: «К сожалению, наши «образованные» матери очень недалеко ушли от своих безграмотных подруг. Что дает нашим несчастным женщинам обучение в женских учебных заведениях, обучение столь же тенденциозное, как и в мужских школах? Дало ли оно хоть толчок ко всестороннему развитию и самосовершенствованию? Дало ли оно им нужные знания для воспитания детей и внушило ли им любовь к их первейшему призванию — разумному воспитанию детей?» Ответ следовал отрицательный.

Если здесь Джомарджидзе обвинял непосредственно царское правительство, которое держало народ в темноте, то в другом случае, когда речь шла о буржуазной семье, он ополчился против родителей и привел такой эпизод.

«Мне приходилось, — рассказывает он все в тех же «Педагогических этюдах», — наблюдать жизнь одной «интеллигентной» семьи, в которой отец и мать имели трех сыновей и одну дочь. Внешне все было «хорошо». Муж занимал «солидное» положение, жена была светской дамой, а дети учились в гимназиях, и учились неплохо. Но каким духовным убожеством, какой мещанской затхлостью была пропитана атмосфера в этой семье! Какие бессодержательные, бессмысленные беседы велись родителями при детях, какие хамские поступки допускались при них! Никогда никакой серьезной беседы, никогда никакого научного спора, никакого серьезного чтения, ни обсуждения прочитанного. В гостиной стоял рояль, и родители считали своим долгом объяснять всем, что их «дочурка» берет уроки музыки; но никто в семье не понимал музыки, никто не умел наслаждаться ею. Если кто-либо из гостей пробовал играть иногда на рояле, то отец семейства, не разбирая даже, что играют, начинал грубо подпевать, а иногда и хлопать в ладоши. У него игра на рояле и вообще музыка означали веселье, которое он и выражал автоматически и шаблонно, воспитывая в таком же духе своих детей. Он имел также обыкновение вечно все вышучивать. И маленькие существа перенимали эту привычку отца по законам подражательности, с малых лет настраивая свой умишко на бессмысленный, клоунски-веселый лад».

Как далек был от этого затхлого быта весь уклад жизни семейства Маяковских!

В селе Багдады и в Кутаисе Маяковские снимали уютные, но скромные квартиры. В рассрочку приобрели рояль (Оля училась музыке). Об этом вспоминал Маяковский: «Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот папы и мамы. О рояли. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось».

В этих «практических понятиях» содержался глубокий смысл.

Маяковские выписывали несколько газет и журналов, сочинения классиков. В их домашней библиотеке были книги Горького, Чехова, Короленко, Якубовича и других передовых русских писателей. Много книг одалживали Маяковским помощник кутаисского лесничего Серафим Михайлович Суворов и его жена Инна Павловна. Часто устраивали чтения. Собирались близкие знакомые. Читали, обсуждали прочитанное. По словам Александры Алексеевны, на этих чтениях почти всегда присутствовал Володя. Он внимательно слушал, иногда задавал вопросы.

Но есть в автобиографии Маяковского такие строки: «Лето. Потрясающие количества гостей. Накапливаются именины. Отец хвастается моей памятью. Ко всем именинам меня заставляют заучивать стихи». Далее приведен конкретный случай и всей главке дано заглавие (без кавычек): Дурные привычки.

Вспомним, как поэт Маяковский, читавший свои стихи и стихи других поэтов, подчеркивал принципиальное отличие *чтения от декламации*. Когда на вечере в Воронеже группа студентов попросила Маяковского «продекламировать» одно популярное стихотворение, поэт ответил, что он не декламирует, а читает. И каждый раз, сталкиваясь со словом «декламировать», он вносил ту же поправку, а однажды подчеркнул, что «старый чтец, старый слушатель, который был в салонах... раз навсегда умер». Известно, что однажды Маяковский отказался читать свои стихи в концертном отделении вечера и заявил, что будет читать в официальной части вечера, сейчас же после доклада.

Поэтому не удивительно, что Маяковский, осмысливая свои впечатления и переживания детских лет, не мог иначе отнестись к отведенной ему роли застольного декламатора. Удивляет то, что в семейной хронике,

написанной Л. В. Маяковской, говорится по этому поводу: «И этим «дурным привычкам» наша семья всегда оставалась верна». Семья, может быть, оставалась верна, но сам Маяковский, как видим,— нет.

Нравственную основу воспитания Владимира Маяковского в детстве составляли чтение литературы и труд. В этом вопросе взгляды родителей полностью совпадали со взглядами передовых учителей гимназии.

Н. Н. Джомарджидзе твердо следовал правилу, что нравственные принципы должны изучаться не отвлеченно, а в их непосредственной связи с жизнью, с ее различными моментами, и что это «удобнее всего делать на уроках литературы». При этом изучение литературы должно быть «не заучиванием чуть ли не наизусть хотя бы и красивых мест известного произведения, а, главным образом, изучением жизни, ее критикой — определением того, что прекрасно в жизни и что составляет ее темные стороны».

Особое значение придавал Джомарджидзе поэзии. «Высокохудожественная внешняя форма поэтических творений, — пишет педагог, — вполне гармонирующая с их внутренним содержанием, оказывает неотразимое, неизгладимое влияние на каждого, кого в свое время приучали понимать и чувствовать такие красоты».

Творчески относясь к литературе, Н. Н. Джомарджидзе пробуждал в своих воспитанниках, совершенствовал их лучшие качества и способности. Глубоко любя детей, педагог видел жизнь в ее развитии. Подытоживая прогрессивные педагогические воззрения, он писал: «Человек с развитым самосознанием не может остановиться в своем развитии на какой-либо точке. Напротив, реагируя на все явления жизни, он будет бесконечно совершенствоваться. Это реагирование неминуемо вырабатывает в нем, с одной стороны, наблюдательность, тонкое изучение разнообразных явлений и, с другой стороны, величайшее из качеств живого существа — творчество».

Разделяя общее мнение, что многие учителя не оправдывают своего высокого призвания воспитателя, Джомарджидзе вместе с тем полагал, что против них несправедливо направлены все громы и молнии. «Все ограничиваются лишь критикой учителя, — писал он, — забывая, что хорошему учителю неоткуда взяться. Все требуют, чтобы учитель был человеком необыкновен-

ным, исключительным, чтобы он имел прирожденное призвание к своему делу и горячую любовь к детям. И никто, однако, не пытается даже разобраться в тех невозможных условиях, при которых приходится работать несчастному учителю. Мы не даем учителям соответствующих знаний для воспитания и обучения детей и ставим их в такие условия, что надо удивляться, как среди учителей все-таки встречаются люди, которые выносят на своих плечах столь многотрудное дело».

Взгляды Николая Николаевича на роль семьи и учителя в воспитании детей во многих случаях основывались на прочитанной им обширной литературе по педагогике. «О, какая досада, — восклицал он, — что одной человеческой жизни недостаточно для изучения творений всех великанов мысли!» Однако суждения о воспитании подсказывались ему и собственными наблюдениями, опытом и переживаниями.

Детство молодого учителя было тяжелым и безрадостным, хотя он рос в обеспеченной семье юриста, весьма популярного в те времена адвоката, сделавшего себе блестящую карьеру. И чем тяжелее было мальчику дома, где все живое подавлялось деспотическим характером отца, тем сильнее привязывался он к матери и все больше тянулся к природе.

Из-за неурядиц в доме углублялись чувствительность и восприимчивость мальчика, и много позже, став учителем, он смотрел на детей, которых учил и воспитывал, особенно внимательными и добрыми глазами, смотрел как бы через свое детство. Образ любимой матери всегда стоял перед ним. «Моя дорогая, моя святая мать! — писал он. — Разве я могу когда-нибудь забыть тебя!.. Многие любят и ценят что-нибудь в нас. Одна мать любит самих нас, любит целиком, любит все наше существо. По силе искренности и нежности с материнской любовью не может сравниться ни одно человеческое чувство».

Но материнская любовь бывает слепа, если мать не видит, в каком направлении развивается характер, весь душевный мир ребенка. Понимая это, Джомарджидзе ратовал за то, чтобы будущие родители получали в гимназиях не только правильное общее образование, но и педагогическое.

Душою же воспитания, его основой, на которой строится все счастье маленьких существ, Николай Николае-

вич считал учителя. И сам, не колеблясь, избрал это трудное поприще.

Считая, что подлинно творческий труд учителя должен быть свободным от пут, Джомарджидзе предлагал не сковывать каждый шаг учителя ограничительными требованиями, не заключать его большую, многообразную деятельность в узкие рамки, не навязывать ему шаблонных советов и сомнительных авторитетов. «Смешнее всего, — заключает он, — когда к учителю являются различные лица в качестве начальников — с деланной серьезностью, кичливой важностью и легкомысленной самоуверенностью. Правда, все эти качества придают ослепительный блеск чопорному мундиру и красивым орденам «начальника», но я думаю, что, когда мы будем иметь подготовленных к своим обязанностям родителей и таких же учителей, тогда на местах «начальников» будут просто педагоги. Эти педагоги будут уважать самостоятельность и свободу действий учителя...»

Эти строки из «Педагогических этюдов» Джомарджидзе не относились непосредственно к директору Кутаисской мужской гимназии Осипу Осиповичу Чебишу, но все же он, хотя и был педагогом, принадлежал к числу «начальников», на которых опиралось царское правительство в проведении своей школьной политики.

По окончании Пражского университета Чебиш, в числе других славянских стипендиатов, выдержал испытание при Петербургском университете на звание учителя древних языков. То был период засилья в гимназиях духа «классицизма». Преподавателей латинского и греческого языков не хватало, и их приглашали из-за рубежа. Таким образом очутился в России и Чебиш — латинист. В 1880 году, приняв русское подданство, он едет в Пятигорск, в качестве учителя, а через четыре года — в Кутаис, где назначается сначала инспектором, а спустя три года директором мужской классической гимназии.

Осип Осипович Чебиш носил форменный сюртук с погонами действительного статского советника. Он был среднего роста, подтянутый, очень подвижный, но без суетливости. Лицо — продолговатое, с правильными чертами, глаза — живые, умные, с лукавинкой. Его усы, небольшую аккуратно подстриженную бородку и волнистые волосы серебрила седина.

Часто, когда обострялась борьба между передовыми и реакционными учителями, когда начинались спо-

ры, Чебишу приходилось решать вопрос: на чьей быть стороне? Обычно он занимал серединную позицию, старался сгладить расхождения.

Учащихся распустили на рождественские каникулы. Многие поехали в деревни, к родителям. Маяковские встречали новый, 1903 год в Кутаисе. Устроили дома елку, на которую пригласили товарищей и подруг Володи и Оли.

После каникул снова потянулись школьные будни.

Педагогический совет гимназии в конце каждой четверти обсуждал доклады классных наставников об успехах учеников и их поведении. Н. Н. Джомарджидзе выставил Владимиру Маяковскому за третью и последнюю четверть по всем предметам пятерки.

Переводные экзамены в старшем приготовительном классе назначили на 21, 22 и 23 мая. Для проведения испытаний образовали комиссии: по русскому языку в составе директора Чебиша, исполняющего обязанности инспектора Сагарадзе, преподавателей Юркевского, Дзюбинского и Ильинского, по математике — преподавателей Сапожникова, Калишева и Пушкарева, а также директора и инспектора.

На экзаменах — устном и письменном по русскому языку и устном по математике — Маяковский получил пятерки. Пятерками были и его средние отметки за год по всем предметам, а также по поведению, вниманию и прилежанию.

В том году, когда Володя только начал учиться, сорок три ученика окончили Кутаисскую гимназию. Но немногие из них знали, что ждет их в будущем... В одной из газет писали, что им «решительно не на что поехать в высшие учебные заведения».

В городском саду было устроено платное гуляние, чтобы оказать материальную помощь наиболее нуждающимся выпускникам.

Накануне экзаменов, когда Володя Маяковский был еще в Кутаисе, в город приехала театральная труппа Валентинова. Она поставила 18 мая новую пьесу Максима Горького «На дне», которую газеты подали, как «гвоздь» сезона. Пьесу знали и обсуждали в Кутаисе еще до постановки. Не случайно, что «Кутаисские заметки», помещенные 6 мая в «Новом обозрении», начинались так: «Если слово «человек» звучит у горьков-

ского босяка гордо, то еще сильнее звучит в наших сердцах слово «молодежь». В этой последней скрыта вся судьба нашей будущей общественной жизни».

Летние каникулы Володя проводил в Нергиетах близ села Багдады.

Ему исполнилось десять лет, он ученик первого класса.

В Багдады приехали на каникулы и его товарищи по гимназии — Евгений Гванцеладзе, отец которого был старшим провизором в аптеке, и Нинуа.

Владимир Константинович часто брал сына в поездки по лесничеству. Володя любил забираться в лесную сторожку, где стоял столярный станок, взбираться на крышу сторожки, где была голубятня. К этому прибавилось увлечение картой звездного неба, полученной с журналом «Вокруг света». Днем Володя пытливо рассматривал карту, а с наступлением темноты ложился на траву, закидывал руки под голову и долго вглядывался в темно-синий купол неба.

Воспоминанием об этом подсказаны ему строки:

На земле
  огней — до неба...
В синем небе
      звезд —
      до черта.
Если б я
  поэтом не был,
я бы
    стал бы
      звездочетом.

Не случайно, что в стихах раннего периода творчества Маяковского очень часто встречаются образные вариации со звездами, например:

«Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?»
«Звезды в платочках из синего ситца».
«Звезд глаза повылезли из орбит».
«На костер разожженных созвездий».
«Из звезд накуем серебрящихся брошек».
«С клещами звезд огромное ухо».

Небо над Багдадами неповторимо красивое.

Маяковский считал себя в долгу перед «багдадски-

ми небесами», как «перед всем, про что не успел написать». В этом обращении выражено чувство поэта по отношению ко всему окружающему его миру.

Еще продолжали обсуждать постановку «На дне», показанную заезжим театром, когда газеты сообщили о приезде в Тифлис «известного русского писателя». А. М. Горький путешествовал со своей женой Екатериной Павловной. С ними в этой поездке были К. П. Пятницкий — директор издательства «Знание» и А. А. Тихомиров — артист Московского художественного театра.

Из Тифлиса путешественники выехали в Боржом, а оттуда направились через Абастуман, Зекарский перевал и Багдады в Кутаис.

Л. В. Маяковской запомнились слова отца о том, что по Абастуманскому шоссе проезжал Горький. «Зашел в лесную сторожку и расспрашивал...»

О встрече Владимира Константиновича Маяковского с Алексеем Максимовичем рассказывала и Екатерина Павловна: «Когда мы, уставшие, остановились отдыхать в Багдадах, Горький и Пятницкий пошли бродить по окрестностям и зашли в лесную сторожку. По возвращении Алексей Максимович сказал: «Какого занятного лесника я встретил!»

В Кутаисе А. М. Горький встречается с революционными социал-демократами, политическими ссыльными. Они рассказывали писателю о местной жизни, о крестьянских волнениях в губернии, о судьбах революционеров, преследуемых правительством. Узнав, что одному из поднадзорных — М. З. Гурешидзе, проживающему в Кутаисе, угрожает высылка в Сибирь, Горький помог ему выехать за границу.

В дни пребывания в Кутаисе Алексей Максимович знакомится с Прокофием (Алешей) Джапаридзе, которому власти, «как лицу вредному для общественного порядка и безопасности», запретили проживать в промышленных городах Закавказья. Обосновавшись в Кутаисе, Джапаридзе принимает деятельное участие в жизни местной социал-демократической организации, завязывает связи с учебными заведениями, с молодежью. Он продолжает дружить с Н. Н. Джомарджидзе, вместе с которым окончил учительский институт в Тифлисе. Не без помощи Джомарджидзе Прокофий Джапаридзе поддерживает связь с Кутаисской мужской гимназией, влияет на развитие политического самосознания учени-

ков старших классов, привлекает их к практической революционной работе.

Кратковременное пребывание Горького в Кутаисе стало значительным событием в жизни города. Оно нашло отклик и в среде учащейся молодежи. Гимназисты переписывали, читали и перечитывали боевую песню революции — «Песню о Буревестнике», повторяли ее зовущие слова: «Пусть сильнее грянет буря!..».

# ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## В ПЕРВОМ КЛАССЕ.
## СХОДКА У ЯЗОНОВОЙ ПЕЩЕРЫ.
## ОТЦЫ И ДЕТИ

Накануне нового учебного года в педагогическом составе Кутаисской мужской гимназии произошли изменения.

Николая Александровича Ильинского, пробывшего в Кутаисе три года, перевели в Тифлисскую первую мужскую гимназию.

В. В. Шарутин, окончивший Петербургский университет, был назначен учителем истории и географии. Ему же поручили заведовать фундаментальной библиотекой гимназии. Высокий, лысый, гладко выбритый, с резко выраженными чертами лица и холодным, стальным взглядом — таким предстал он перед своими учениками.

Место инспектора занял Михаил Александрович Харламов. До переезда в Кутаис он долгое время преподавал русский язык и историю в Майкопском реальном училище. Внешностью и поведением Харламов немного напоминал чеховского Беликова — «человека в футляре». Был он среднего роста, худощавый, болезненный, с бородкой и усами, посеребренными сединой. Носил очки, уши закладывал ватой. Голову, когда говорил, склонял набок, смотрел с деланной пытливостью.

В августе приехал новый учитель русского языка и истории Всеволод Александрович Васильев, только что окончивший с дипломом первой степени историко-филологический факультет Московского университета по русско-славянскому отделению. Молодому педагогу да-

ли начальные классы. Он быстро расположил к себе детей. Лицо его — спокойное, доброе, взгляд сосредоточенный, вдумчивый.

На первом заседании педагогического совета, на котором встретились старые и новые учителя гимназии, обсуждался вопрос о переводе учеников из класса в класс и приеме новых. В числе переведенных из старшего приготовительного в первый в журнале заседания по порядку шестым значится Маяковский Владимир.

Снова одноклассниками Маяковского оказались его друзья Виктор Демьянович, Аполлон Месхи, Евгений Гванцеладзе, Георгий Гачечиладзе, Галактион Бежанейшвили, Яков Филиппов. Их зачислили в параллельное отделение, куда классным наставником был назначен В. А. Васильев.

Перешло в первый класс пятьдесят пять учеников, осталось на второй год десять.

Маяковские сняли квартиру в левобережной части города, в доме № 35 по Гегутской улице. От дома до гимназии немалое расстояние. Володю неизменно провожал пес Угрюм с большой номерной бляхой на ошейнике. Доведя своего друга до самого подъезда гимназии, Угрюм возвращался домой.

Жизнь в классе, как обычно, началась с вопросов, кто чьим будет соседом по парте, кто они и откуда только что появившиеся в гимназии новички?

Маяковский сидел вместе с Демьяновичем за одной из первых парт, у окна.

— Как я попал на одну парту с Маяковским, трудно вспомнить, — говорит Виктор Николаевич Демьянович.— Прошло с тех пор семьдесят лет и даже сама память о проведенных вместе часах и оживленном обмене «самыми интересными новостями» того чрезвычайно насыщенного событиями времени почти исчезла. Возможно, здесь не обошлось без участия Всеволода Александровича Васильева, а возможно, что меня привлекли способности Владимира к рисованию, а его — мои способности к языкам. Ну, и общий наш интерес к чтению мог привести нас на одну парту.

В. А. Васильев — ему тогда было двадцать три года — с интересом приглядывался к характеру каждого своего ученика.

«Володя Маяковский, — рассказывал он, — резко выделялся из среды товарищей крупной фигурой, своей не

по годам серьезностью. Большие его глаза смотрели вдумчиво и пытливо.

В классе я преподавал историю и русский язык и одновременно состоял классным наставником.

Во время занятий Володя внимательно, с интересом слушал сообщаемый материал, часто обращался с вопросами. Уроки готовил тщательно и основательно. Ответы его отличались обстоятельностью и логичностью. Отвечал он неторопливо, спокойно, писал аккуратно, крупным, четким почерком.

Особой резвости и живости Маяковский не проявлял. Наоборот это был выдержанный, спокойный, скромный и уравновешенный ученик. Лишь во время перемен я наблюдал, с какой нетерпеливостью он бежал к берегу Риона, к товарищам.

Поддерживая ровные и хорошие отношения с одноклассниками, Маяковский, однако, особенно близко не сходился с ними; по крайней мере, я не наблюдал этого. Общее впечатление складывалось о нем, как о мальчике несколько скрытном, живущем своей внутренней жизнью. Единственно, с кем у Маяковского были тесные отношения, это с его соседом по парте Демьяновичем. На переменах их можно было часто видеть ведущими между собой оживленную беседу».

Виктор Демьянович, подобно Маяковскому, был самоуглублен и сдержан. Его слегка прищуренные глаза внимательно всматривались в окружающее. В классе он обычно сидел тихо и внимательно слушал урок. Благодаря своему трудолюбию, настойчивости Демьянович скоро стал первым учеником в классе.

А вот — маленький, неразговорчивый, занимающийся с напряжением Амашукели, веселые, жизнерадостные Бежанейшвили и Гванцеладзе, вспыльчивый, самолюбивый до чрезвычайности Гигиадзе, самоуглубленный, спокойный Гаврилов, способный, живой, как ртуть, Жгенти, такой же подвижной, волевой и горячий Месхи...

Бывшие одноклассники характеризуют Маяковского как отзывчивого, с открытой душой товарища. Он всегда был готов прийти на выручку попавшему в беду сверстнику. Если же кто-либо пытался его обидеть, — умел за себя постоять.

Ко многим, порой кажущимся противоречивыми, суждениям о чертах характера юного Маяковского Виктор Демьянович добавляет: «Обычно мальчика Маяковско-



10—2

го рисуют прямым, резким, насмешливым, с изрядной долей нетерпимости. Но, мне кажется, было бы непростительно отказывать мальчику в наличии мягкого дружелюбия, некоторой внутренней нежности, готовности сильно любить, крепко чувствовать и остро переживать».

В характере Володи смелость, решительность, твердость сочетались со скромностью и даже застенчивостью. Так, например, идя в гимназию, он избегал шагать рядом с сестренкой Олей, чтобы посторонние не подумали, что он завел знакомство с девочкой. В одном из писем к сестре Людмиле Володя рассказывал: «Я пошел в город, и мне случайно нужно было проходить через бульвар, и встретил двух барышень, одна из них была гимназистка, может быть, поддельная. Они заметили вслух, что куда это я могу торопиться и что думается, что у меня много дела. Я ответил, что и мне тоже думается, что у гимназиста должно быть больше дела, чем у уличных певиц, так сказал, а потому, что они что-то напевали». За ребяческим задором передаваемого Володей диалога чувствуется детское смущение.

После уроков Маяковский любил поиграть в бабки или в чехарду, лазил на деревья, спускался с товарищами к Риону, купался, бегал босиком по раскаленным камням, загорал на солнце. Случалось, что ему доставалось за это от родителей.

Я в меру любовью был одаренный.
Но с детства
людьё
трудами муштровано.
А я —
убёг на берег Риона
и шлялся,
ни чёрта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатьем под забором в «три листика».
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока под ложечкой не заноет.
Дивилось солнце:
«Чуть виден весь-то!
А тоже —

с сердечком.
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине
место —
и мне,
и реке,
и стоверстым скалам?!».

Безмятежно протекали дни учения и забав.

Но носившиеся по городу тревожные слухи проникали и в среду гимназистов. Так, всю гимназию взволновало недоброе известие о том, что во время «беспорядков» на станции Квирилы вместе с группой рабочих-железнодорожников был арестован полицией ученик 7-го класса Павел Сакварелидзе.

Жандармское управление уведомило директора гимназии, что П. Сакварелидзе привлекается к ответственности по обвинению в «государственном преступлении» и заключен в тюрьму.

Педагогический совет не замедлил исключить Сакварелидзе из гимназии без права поступления в какое-либо другое учебное заведение. Высказывались опасения, что случай с Сакварелидзе окажет «пагубное влияние на учеников, и без того зараженных новыми веяниями».

В майском номере ленинской «Искры» было приведено письмо из Кутаиса, в котором сообщалось: «Мальчишки уже на улице играют в «бунт». Вообще мы быстро двигаемся вперед».

Неспроста попечитель учебного округа рассылал всем гимназиям специально размноженный протокол заседания комиссии преподавателей русского языка средних учебных заведений Тифлиса от 18-го сентября 1903 года, в котором была выражена тревога в связи с настроениями, царившими среди воспитанников средних учебных заведений. Комиссия преподавателей предупреждала: «Жизнь не только не благоприятствует школе в деле правильного воспитания учащихся, но указывает даже на необходимость оберегать воспитанников от вредного влияния нравственно-незрелой части общества и особенно от пагубного действия превратных идей, проповедуемых в произведениях, так сказать, злободневной литературы».

Что же предлагала «комиссия»? Она считала необхо-

димым оградить юношество от «пагубных» влияний путем изучения... произведений гениальных художников слова, при условии «разумного руководства в изучении их». А это руководство означало истолкование классических произведений в духе, угодном царскому правительству.

Почти каждая из литературных хрестоматий отличалась именно таким истолкованием. Вот, к примеру, хрестоматия «Из родной поэзии», предназначенная для «смысловой разработки произведений» на уроках объяснительного и выразительного чтения. Что же представляла собой эта так называемая «смысловая разработка»?

Приводя стихотворение А. В. Кольцова «Урожай», составитель хрестоматии Миловидов умозаключает: «Какая главная мысль стихотворения? — «Без труда нет плода», — говорит народная пословица, но успешный исход труда земледельческого находится в тесной зависимости также от благодетельных сил природы и, как всякое дело человеческое, от помощи божьей». Идея произведения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» объяснялась так: «Бессильна личная воля перед промыслом божьим». Сущность стихотворения «Утопленник» передана как «понятие о ближнем в духе евангельского учения».

Достаточно было составителю учебника встретить в стихотворении Лермонтова слово «ангел», чтобы за этим последовал вывод «о живой связи с богом, промыслителем мира». То же в толковании А. С. Грибоедова. Основываясь на том, что в монологе Чацкого старина названа «святою», комментатор спешит вразумить учащихся: «В памятниках и преданиях родной старины, во многих сторонах древнерусского семейного и общественного быта господствует коренная, действительно святая черта народного характера... это — тяготение души к богу и вечности, жажда спасения». И дальше в том же духе.

Всю фальшь этого немудреного разъяснительного метода не мог не ощущать Владимир Маяковский. Пристрастившись к чтению в домашнем кругу, получая советы от передовых учителей, он жадно поглощал литературу и, естественно, чувствовал узость тогдашних хрестоматий.

В семье Маяковских была «Русская хрестоматия»

А. Галахова. В 1901 году вышло двадцать шестое издание этой хрестоматии в двух томах.

В первый раздел первого тома — «Описания, рассказы, характеристики» — вошли произведения русских классиков. Второй раздел составился из «рассуждений» Полевого, Каткова и других. Третий раздел — «Ораторская речь» — распадался на речи духовные и светские. Второй том хрестоматии был составлен по признакам: эпос, лирика, драма.

Еще до Октябрьской революции Маяковский писал: «Разменяют писателей по хрестоматиям и этимологиям и не настоящих, живших, а этих, выдуманных, лишенных крови и тела, украсят лаврами...»

Позже, борясь против тех «толкователей» классиков, которые выхолащивали все живое, искрометное, Маяковский выразил свое непосредственное отношение к Пушкину:

Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец...

Выступая 26 мая 1924 года на диспуте о задачах литературы и драматургии, Маяковский говорил о неиссякаемой обаятельности романа «Евгений Онегин», о том, что, «конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям».

Подобное восприятие, столь глубокое ощущение поэтического произведения, несомненно, берет начало с юных лет, несмотря на то, что в те годы гимназия часто убивала самое ценное в писателе, мешала правильному пониманию его. Так, например, из министерства — в учебный округ, а из округа — к директору Кутаисской гимназии пришло указание «не выдавать для чтения ученикам» книгу Н. П. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» и «Письма Н. В. Гоголя», в которых помещено «крайне тенденциозное» письмо Белинского к Гоголю с примечаниями редактора.

Знаменитое письмо Белинского к Гоголю, которое В. И. Ленин назвал «одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору», вошло в списки запрещенной царским правительством литературы.

И даже урезанное и притупленное редакцией Барсукова, оно, это письмо Белинского, продолжало устрашать царских чиновников, и потому учащимся закрывался доступ к нему.

Созданная в Кутаисской гимназии под председательством инспектора Харламова комиссия по внеклассному чтению, отвечая на циркулярный запрос попечителя учебного округа о мерах, принимаемых для «развития в учениках любви к литературным занятиям», сообщала, что «в старших классах устраиваются литературные беседы, а для младших — чтения с туманными картинами». Две литературные беседы были проведены в 1904 году: в VIII классе на тему «Характеристика Рудина» и в VII классе на тему «Характеристика Обломова». Предполагалось еще проведение литературных вечеров, на которых «младшие ученики читали бы стихотворения или характерные прозаические отрывки, а старшие — свои сочинения». Однако эти беседы, чтения и вечера мало способствовали развитию творческой мысли у детей. Чаще всего беседам и чтениям придавался один и тот же «нравственно-религиозный характер».

Иную позицию в понимании и использовании литературы занимали передовые педагоги Васильев, Джомарджидзе, Пушкарев. Они помогали ученикам самостоятельно выбирать темы, разрабатывать планы классных и домашних работ. Затем рассматривали и определяли место изучаемого произведения в литературе.

С учениками, проявлявшими творческие способности, они работали особо, отдельно с каждым, потому что организовать даже литературный кружок в то время было не так просто.

О своем методе преподавания в этих условиях В. А. Васильев рассказывает:

— Как учитель русского языка и классный наставник, я старался прививать ученикам интерес к чтению, шире знакомить их с русской художественной классической литературой, с фольклором, с биографиями выдающихся деятелей, с описаниями путешествий, с доступными их возрасту историческими романами и другими произведениями. И надо сказать, ученики полюбили книгу. К числу таких учеников относился и Володя Маяковский, по своему общему развитию стоявший значительно выше многих своих товарищей.

В. А. Васильев отводил литературе большое место

в воспитании детей. На уроках языка и литературы он умел завладеть вниманием всего класса. С увлечением слушали дети, как он читает. Но бывало, что Всеволод Александрович передавал книгу кому-нибудь из учеников. Часто выбор останавливался на Маяковском, чьи способности, как незаурядного чтеца, обратили на себя внимание.

Кругозор гимназистов постепенно расширялся. В. А. Васильев отметил в классном журнале: «Пробуждается страсть к чтению описаний дальних, малоизвестных стран, путешествий, фантастических приключений; интерес к ним сосредоточивается на внешней фабуле; нравственными заключениями, которые можно вынести из прочитанных книг, пока интересуются мало и редкие ученики».

Много лет спустя Маяковский вспоминал, как в детстве он любил романы Жюля Верна и все фантастическое, как «лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-Риду». В стихотворении «Мексика» поэт писал:

О, как эта жизнь читалась взасос!
Идешь.
        Наступаешь на́ ноги.
В руках
        превращается
            ранец в лассо,
а клячи пролеток —
                        мустанги.
Взаправду
        игрушечный
            рос магазин,
ревел пароходный гудок.
Сейчас же
        сбегу
            в страну мокассин —
лишь сбондю
        рубль и бульдог.
А сегодня —
        это не умора.
Сколько миль воды
        винтом нарыто, —
и встает
        живьем
            страна Фениамора
Купера
        и Майн-Рида.
Рев сирен,
        кончается вода.
Мы прикручены

к земле
о локоть локоть.
И берет
набитый «Лефом»
чемодан
Монтигомо
Ястребиный Коготь.
Глаз торопится слезой налиться.
Как? чему я рад? —
— Ястребиный Коготь!
Я ж
твой «Бледнолицый
Брат».
Где товарищи?
Чего таишься?
Помнишь,
из-за клумбы
стрелами
отравленными
в Кутаисе
били
мы
по кораблям Колумба? —
Цедит
злобно
Коготь Ястребиный,
медленно,
как треснувшая крынка:
— Нету краснокожих — истребили
Гачупи́ны гри́нго.

Так скрестились романтические видения детства, возникавшие из страниц прочитанных книг, с трагической реальностью современной Мексики.

С душевной теплотой писал Маяковский об индейце, как товарище того далекого детства, когда мечтал сбежать «в страну мокассин».

А такой случай действительно произошел в Кутаисской гимназии, но только не с Маяковским.

14 октября 1903 года ученики второго класса Вешапидзе, Кардава и Белов, сообща выработав план «бегства», ушли из дому. В оставленной записке, написанной по всем правилам приключенческих романов, беглецы признавались, что решили предпринять путешествие за океан.

Но как только бегство обнаружилось, директор гимназии отправил телеграммы в Поти, Батум и Тифлис, и вскоре пришло известие, что все трое задержаны в Поти дядей одного из бежавших.

Неудачливые путешественники были доставлены в

Кутаис. Выяснилось, что под впечатлением прочитанных книг дети еще в прошлом году задумали предпринять путешествие, но все ждали, когда им удастся запастись брезентом для палатки, свечами и необходимым провиантом. До станции Рион они прошли пешком. Оттуда поездом добрались до Поти. Дальше предполагали ехать на пароходе в Одессу...

Педагогический совет, обсудив происшествие, объявил путешественникам порицание и снизил им отметки по поведению.

Но В. А. Васильев сделал из этого другие выводы. Он учел, как впечатлительны дети и что многого можно добиться чтением книг, если только умело направлять его. Поэтому в записке, поданной педагогическому совету, Васильев просил разрешить ему с 1904 года самому, как наставнику, ведать выдачей книг из библиотеки своего класса.

Целью его было еще ближе стать к ученикам. Юные читатели охотно делились с ним впечатлениями о прочитанном, обращались к нему за советом, писали отзывы о книгах, глубже воспринимали их содержание.

И другие передовые педагоги интересовались, что читают их подопечные. К Н. А. Ильинскому, например, часто приходили гимназисты старших классов. Как-то раз он дал восьмикласснику томик Максима Горького, не допущенный в гимназии для внеклассного чтения. На улице юноша натолкнулся на учителя Соколова. Тот увидел запрещенную книгу и отобрал ее. Это могло плохо кончиться, но, к счастью гимназиста, учитель заметил на заглавной странице подпись «Е. Ильинская» и сейчас же вернул ему книгу. Об этом Н. А. Ильинский узнал от самого ученика, а Соколов ни единым словом не обмолвился.

И Маяковский стал расширять вне класса свой «круг чтения». Однажды на уроке русского языка Демьянович услышал невнятное бормотание и спросил соседа по парте, что он читает по памяти? Володя ответил ему после урока, повторив полным голосом заключительные строки баллады Шиллера «Перчатка»:

Его приветствуют красавицыны взгляды...
Но, холодно приняв привет ее очей,
В лицо перчатку ей
Он бросил и сказал: «Не требую награды».

После этого Володя и Виктор не раз возвращались

к обсуждению баллад Шиллера, к образу и поступку рыцаря, презревшего смертельную опасность ради прихоти тщеславной красавицы, но не поступившегося своей честью и мужским достоинством.

Уважение Володи к природному уму, к простоте и четкости мышления и неприязнь ко лжи и нарочитому мудрствованию проявились в его отношении к содержанию любимой басни Хемницера «Метафизический ученик». Особо выделял он то место басни, где описывается, как отец прибегает с веревкой, чтобы вытащить сына из ямы, куда тот, оступившись, провалился, а сын отказывается от такой помощи, предпочитая более сложное, нежели веревка, орудие спасения. Сын отвечает отцу:

— «Нет, погоди тащить, скажи мне наперед:
Веревка вещь какая?»
Отец, вопрос его дурацкий оставляя,
«Веревка вещь, — сказал, — такая,
Чтоб ею вытащить, кто в яму попадет».
— «На это б выдумать орудие другое.
А это слишком уж простое».

Когда кто-нибудь из сверстников задавал Володе бессмысленный вопрос, он задорно отвечал, выделяя вопросительной интонацией каждое слово: «Веревка вещь какая?» И все, кто слышал ответ, покатывались со смеху.

Мораль басен Хемницера и Крылова — едкое, насмешливое осуждение в них людских пороков и слабостей сразу же врезались в память и потом, при подходящем случае, применялись с неотразимой меткостью.

В середине ноября были подведены итоги школьной работы за сентябрь и октябрь. Маяковский особенно успевал по рисованию. Он единственный в классе имел по этому предмету пять с плюсом. Василий Антонович Баланчивадзе с похвалой отзывался о своем ученике.

— Маленький Маяковский, — вспоминал В. А. Васильев, — уже в школьные годы проявлял большой интерес к рисованию, и Баланчивадзе, воспитывая дарование своего ученика, сразу оценил его способности.

1 декабря 1903 года В. А. Баланчивадзе, получив двадцатидневный отпуск, уехал в Петербург. Не имея образования по своей специальности, он решил поступить на педагогические курсы при Академии художеств. Задержался он в Петербурге надолго, однако

вплоть до 1 сентября 1904 года продолжал числиться в списке преподавателей Кутаисской гимназии.

Когда стало известно, что Баланчивадзе вернется не скоро, директор гимназии Чебиш поручил вести уроки рисования учителю Кутаисского второго городского училища Захарию Поликарповичу Морозу, окончившему Александровский учительский институт в Тифлисе.

Позже Чебиш сообщил попечителю округа, что новый учитель «ведет занятия по своему предмету весьма хорошо, в чем убедился окружной инспектор».

Тогда же тепло отозвался о нем в письме к сестре Людмиле Володя Маяковский.

Он любил иллюстрировать прочитанное, рисовал карикатуры на домашний быт. В обязанности Володи по дому входило расставлять стулья к столу, и как-то раз он очень живо и смешно изобразил себя в этой роли. Сестра Людмила, готовясь к поступлению в московское художественно-промышленное училище, брала уроки у Сергея Пантелеймоновича Краснухи — единственного в Кутаисе художника, окончившего Академию художеств. Однажды она познакомила своего учителя с рисунками брата. Тот весьма лестно отозвался о рисунках Володи и вызвался заниматься с ним бесплатно. Володя очень обрадовался этому, и на другой день он и сестра вместе пошли к художнику на урок.

О художнике С. П. Краснухе Маяковский вспоминает в автобиографии: «Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника».

Володя всюду находил себе «палитру и холст». Часто на большой перемене, когда в классе не оставалось никого, кроме дежурного, он подходил к доске и размашисто рисовал мелом различных животных и птиц.

В. А. Баланчивадзе провел в Петербурге почти три года. Жил он там вместе со своей семьей, состоявшей из четырех душ, и претерпевал большие лишения. Окончив курсы. возвратился в Кутаис и с сентября 1906 года вновь был зачислен преподавателем рисования в гимназии. Но только в 1913 году его, наконец, утвердили в правах учителя средних учебных заведений. Для этого ему пришлось представить попечителю учебного округа методическую записку и приложить к ней лучшие рисунки учащихся за все годы своей преподавательской деятельности. В большое количество ученических работ,

как он вспоминал, был включен и рисунок Маяковского.

К преподаваемым в первом классе предметам прибавились история, география, естествознание и немецкий язык.

За первую половину 1903—1904 учебного года в аттестационной книге Маяковскому проставлены отметки:

По русскому языку (устно) — 4 и (письменно) — 3.

По математике в первой четверти (устно и письменно) — 3, во второй четверти (устно) — 3 и (письменно) — 4.

По географии и естествознанию — 4, по рисованию — 5 (только за первую четверть). В ноябре — декабре 1903 года в виду отсутствия учителя отметки по рисованию никому не были выставлены.

По русскому языку полугодовые отметки совпадают с четвертными в «Ведомости об успехах учеников», которую в параллельных классах вел В. А. Васильев.

По поведению Маяковскому продолжали ставить пятерки, по вниманию и прилежанию — четверки. Только одна тройка была — по прилежанию во второй четверти, в которой Маяковский по болезни пропустил двадцать пять уроков.

В конце 1903 года, выступая на заседании педагогического совета, В. А. Васильев сообщил:

— Поведение учеников в течение второй четверти было хорошее; проступки носили характер детских шалостей. Я старался чаще бывать с учениками; на переменах по большей части находился возле своего класса. Старался путем предупреждения удерживать учеников от совершения предосудительных поступков. К наказаниям приходилось прибегать в очень редких случаях. Обычно наказание ограничивалось внушением и объяснением неблаговидности совершенного поступка.

Такое отношение В. А. Васильева к воспитанию учащихся расходилось со взглядами большинства членов совета, сторонников крутых мер, подавления даже живой инициативы молодежи.

В методах преподавания и в подходах к своим воспитанникам В. А. Васильева очень многое сближало с Н. Н. Джомарджидзе. И один и другой прекрасно знали жизнь учащихся, радовались их успехам в учении и огорчались неудачами. Ученики отвечали им искренней

любовью и привязанностью. Вспоминая годы гимназической жизни, Аполлон Месхи с любовью отзывался о В. А. Васильеве, рассказывал, как он благожелательно разговаривал с учениками, обращавшимися к нему с тем или иным вопросом, помогал дельным советом.

«Несомненно, что Н. Н. Джомарджидзе оказал сильное и благотворное влияние на Маяковского», — утверждает В. А. Васильев. Такое же влияние оказал на Маяковского и сам Васильев.

В своих отношениях с учителями Маяковский был учтив и сдержан, особенного стремления к сближению с ними он не проявлял. К тем из преподавателей, к которым ученики питали уважение, он обращался с разного рода вопросами, но обнаруживал при этом некоторую застенчивость. Вопросы его, как вспоминает В. А. Васильев, носили серьезный и деловой характер. Вступая же в беседу, он держался с чувством внутреннего достоинства, собранно, сосредоточенно.

Маяковский заметно повзрослел, но в то же время продолжал всей душой отдаваться ребяческим забавам и развлечениям, читать сказки, в особенности — Андерсена и братьев Гримм. Любил новогоднюю елку. О ней дома говорили еще задолго до каникул.

В январе 1904 года началась русско-японская война. До Кутаиса дошли с Дальнего Востока сначала слухи, а за ними и первые вести о ней. Телеграммы и сводки из Порт-Артура, помеченные 31 января и первыми числами февраля, появились в «Кутаисских губернских ведомостях» 14 февраля.

В том же номере газеты помещена телеграмма командира крейсера «Варяг» капитана 1-го ранга Руднева. В ней сообщалось, что крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» выдержали бой с японской эскадрой, состоявшей из шести больших крейсеров и восьми миноносцев. Телеграмма Руднева заканчивалась словами: «Доношу о беззаветной храбрости и отменном исполнении долга офицерами и командами».

С конца июля отдельным приложением к газете стали выходить «Официальные известия с Дальнего Востока».

В эти дни Маяковский жадно читал газеты.

«Увеличилось количество газет и журналов дома. «Русские ведомости», «Русское слово», «Русское богат-

ство» и прочее. Читаю все. Безотчетно взвинчен. Восхищают открытки крейсеров. Увеличиваю и перерисовываю», — вспоминает он в автобиографии.

Особенно был увлечен Володя героической эпопеей «Варяга», стойкостью духа и беспримерным мужеством русских моряков. Вместе со взрослыми он определял обстановку по карте и делал на ней пометки. Телеграммы с Дальнего Востока дополнялись в семейном кругу рассказами тети — Анны Константиновны, работавшей в военном госпитале и узнававшей много интересных фактов.

Война вызвала глубокое недовольство и возмущение в массах, народ не хотел этой войны, понимал ее вред для России.

Попытки местных властей проводить в городе манифестации «сочувствия» правительству терпели полную неудачу.

Однажды в кутаисский театр, когда там шла пьеса Сумбатова-Южина «Измена», заявились губернатор и жандармский полковник. По их требованию артисты вынуждены были исполнить «гимн». Но едва началось пение, как «галерка» пронзительным свистом и шиканьем заставила артистов смолкнуть.

На следующий день губернатор решил повторить «патриотическую» затею. Но тут случилось нечто более неприятное для него: «галерка» не только сорвала исполнение «гимна», но и забросала зал прокламациями социал-демократической организации, призывавшей рабочих к решительным выступлениям против царизма.

Одна из прокламаций, с надписью «губернатору», упала возле его ног.

Листовки летели и оттуда, где сидели ученики и ученицы.

Учащиеся имели право посещать театр только в предпраздничные и праздничные дни, причем всякий раз с особого разрешения гимназического начальства. Ученики допускались в театр в «сюртучной паре», под наблюдением помощника классного наставника, на специально отведенные места. Но в этот день не помогли ни специальные места, ни специальное наблюдение.

Гимназия напряженно следила за событиями. В конце января она открыто выступила на стороне рабочих. 28-го числа, когда перед зданием гимназии в присутствии всех учащихся читался царский «манифест» о войне,

вдруг поднялся невообразимый шум, раздался свист. Гимназисты прервали чтение манифеста.

То же самое произошло 30 января в реальном училище. И в этот же день во время молебствия снова была устроена обструкция в гимназии. Правда, директор предвидел это и принял «меры», чтобы предотвратить демонстрацию, но из этого ничего не вышло.

Перед началом молебна аналой поставили в нижнем коридоре против дверей пятого класса: таким образом, коридор оказался разделенным на две неравные части. По одну сторону аналоя, в меньшей половине коридора, разместились певчие и небольшая группа гимназистов; по другую сторону — все остальные учащиеся, приведенные преподавателями и классными наставниками. Инспектор расхаживал среди гимназистов, а директор и некоторые преподаватели стояли позади священников.

В праздники учащихся обязывали являться на богослужение в гимназическую церковь. Обычно мальчики старались под тем или иным предлогом увильнуть от этого. Но 30 января почти все они были в церкви. И вот, когда хор приступил к молебну во здравие царя, неожиданно поднялся гул, который затем сменился шиканьем. Однако обнаружить зачинщиков не удалось.

Расследование этого происшествия пришлось отложить до утра, поскольку директор и наиболее «надежные» преподаватели были в этот день приглашены губернатором на молебствие, происходившее в соборе.

На другой день подобную обструкцию устроили реалисты — во время чтения молитвы раздалось несколько свистков.

В связи с этим из реального училища исключили троих. В гимназии же была создана комиссия из преподавателей Лебедева, Дзюбинского, Богословского и Ушакова под председательством инспектора Харламова. Она должна была найти виновников, «производивших беспорядок шипением». Комиссия приступила к следствию, и тогда же явился в гимназию жандармский полковник за сведениями о «беспорядках».

Тем временем в городе распространялись нелегальные прокламации по поводу русско-японской войны и полицейских «патриотических» манифестаций. Листовка, предвещавшая падение самодержавия с его тайной полицией и жандармами, заканчивалась призывом:

«...Пожелаем этого и будем же действовать, товарищи!»

Директор гимназии, еще не закончив расследования недавних событий, сообщил попечителю, что учащиеся находятся под сильным влиянием исключенного из гимназии Сакварелидзе и еще нескольких учеников седьмого и четвертого классов.

Вскоре П. Сакварелидзе вновь был арестован. Его обвинили в революционной пропаганде и выслали в город Архангельск. Однако уже в августе «Кутаисские губернские ведомости» объявляли о розыске скрывшегося из ссылки Сакварелидзе. Оставив Архангельск, П. Сакварелидзе перебрался в Баку, вел там подпольную партийную работу.

В связи с историей с Сакварелидзе директор гимназии Чебиш вспомнил о запросе, поступившем к нему еще в 1899 году от попечителя одесского учебного округа. Попечитель писал: «В нынешних студенческих беспорядках в Новороссийском университете принимали деятельное участие одиннадцать студентов из окончивших курс во вверенной Вам гимназии».

Высчитав, что эти одиннадцать студентов составляют более пяти процентов общего числа наиболее активных участников студенческих волнений в университете, попечитель спрашивал: чем объяснить такой сравнительно большой процент «неблагонадежных», выпавший на долю воспитанников Кутаисской гимназии?

Тогда Чебиш не знал, что ответить на запрос из Одессы. Теперь, спустя пять лет, ему уже многое стало ясно.

Встревоженные ходом событий, местные власти приступили к обыскам и арестам среди учащихся: они подвергли заключению десять гимназистов и реалистов. Это вызвало бурю негодования в большинстве средних учебных заведений Кутаиса.

В ночь на 2 февраля жандармы произвели обыски, арестовали и взяли под стражу еще трех гимназистов, заподозренных «в производстве беспорядков» во время молебствия, и запросили у директора адрес четвертого неразысканного ученика.

Накануне начальство гимназии получило анонимное письмо, предупреждавшее, что на утро 1 февраля за городом, около Красной речки, назначена сходка учащихся Кутаиса. Директор сейчас же созвал педагоги-

ский совет и под большим секретом зачитал полученное письмо. Решено было направить к месту предполагаемой сходки преподавателя Юркевского и помощника воспитателя Гусова.

Выбор этот был не случайным. Юркевский уже успел зарекомендовать себя ярым реакционером. Большой, грузный, с заросшим лицом и длинными, плохо расчесанными волосами, неопрятно одетый, он даже видом своим отталкивал от себя учеников.

Сходка состоялась не первого, как это ожидалось, а второго февраля, в 9 часов утра, возле Красной речки, у так называемой Язоновой пещеры.

Пришли учащиеся гимназии и реального училища. Гимназист Христофор Ставраков, который почти на пять лет старше Владимира Маяковского, вспоминал: «В этой сходке я был со своими братьями, помнится мне, что там был и Володя. На обратном пути около сельскохозяйственной фермы мы встретили преподавателя Юркевского, который был послан на сходку, как надзиратель, для выявления участников».

Как только сходка началась, нагрянула полиция. Рассеяв собравшихся, она взяла под стражу агитатора, которого давно разыскивала.

В этот день сходки состоялись и в других местах. На них обсуждался вопрос о проведении демонстрации учащихся.

Чебиш обратился к губернатору с просьбой об охране гимназии. В свою очередь губернатор затребовал у директора гимназии сведения о настроениях учеников и их поведении. При этом он писал: «Это важно в особенности в настоящее время для того, чтобы я мог дать соответствующие указания чинам вверенной мне полиции».

Так определился негласный союз начальства гимназии с полицией.

Возмущенные арестами, учащиеся всех средних учебных заведений города решили явиться 3 февраля на занятия, но не заходить в классы и, объявив забастовку, добиться немедленного освобождения товарищей.

После звонка, прозвучавшего в гимназии ровно в 8 часов 27 минут утра, начали разворачиваться события. Многие ученики демонстративно ушли домой. Оставшиеся предъявили требования.

В реальном училище учащиеся кричали директору:

— Отпустите наших товарищей! Зачем вы отдали их жандармам? Их избивают в тюрьме!

Когда реалисты вышли из училища, городовой, стоявший на посту недалеко от губернаторского дома, дал протяжный свисток. Этого свистка, оказывается, ждали. Тотчас же из ворот губернаторского двора высыпали стражники и погнались за учениками. Часть преследуемых вернулась окольными путями в училище, остальным удалось выйти на Тифлисскую улицу.

Кавказская нелегальная большевистская газета «Листок «Борьбы пролетариата», сообщая о событиях, происходивших тогда в Кутаисе, писала: «К чести кутаисских учащихся нужно отметить проявленную ими в этой борьбе полную солидарность: забастовали гимназия, реальное училище, женская гимназия, духовная семинария и епархиальное училище».

Нараставшая волна революционного движения среди молодежи захватила Маяковского. Как это запомнилось В. А. Васильеву, в начале 1904 года Маяковский участвовал в сходке учащихся старших классов. За сходкой последовали демонстрации и забастовки...

Не успел Чебиш отправить попечителю учебного округа свой очередной рапорт о настроениях, царивших среди учащихся, как «беспорядки» в гимназии повторились с новой силой.

Разведав, что ученики готовятся к проведению уличной демонстрации, начальство гимназии решило удержать их от такого намерения. После звонка, возвестившего о начале уроков, все наружные двери были немедленно заперты на засовы. Но это не помогло. Ученики с криками возмущения бросились к окнам. Зазвенели и посыпались стекла.

Гимназисты вырвались на улицу.

«Полиция преследует бегущих, о подробностях донесу», — спешил вписать в свой так и не законченный рапорт Чебиш.

Когда забастовщики выбежали на улицу, там уже собралось человек семьдесят учащихся.

Демонстранты двинулись к женской гимназии. По пути к ним присоединились учащиеся епархиального училища.

Раздавались антиправительственные возгласы.

Гимназистам и реалистам так и не удалось снять с дверей засовы. Но зато и досталось же от них началь-

ству!.. Реалисты отказались разговаривать со своим директором, они обозвали его жандармом.

Толпа учащихся вышла на бульвар. Появились конные стражники. Их послали на расправу с демонстрантами — а перед ними чуть ли не дети! Но это не смутило полицейских.

Во время столкновения с непрошеными «охранителями порядка и спокойствия» один гимназист стащил с лошади наседавшего на него стражника. Тот не стерпел такого срама и огрел смельчака нагайкой. Гимназиста взяли под стражу, но вскоре отпустили. Власти опасались новых осложнений.

Директор гимназии отправил попечителю учебного округа срочную телеграмму: «Старшие классы в большинстве прекратили, вопреки увещеваниям, занятия, разбили стекла, с криками шли по улицам. Полиция силой разогнала толпу. Завтра ожидаются беспорядки в большей степени».

За этим следует просьба о разрешении прекратить занятия на несколько дней.

«Занятия продолжайте, — отвечает попечитель Завадский. — Уверен, что ученики восьмого класса, как старшие, поймут, что теперь не время для школьных беспорядков, и помогут вам умиротворить младших. Пригласите родителей. Доложите губернатору...»

Все было предусмотрено, вплоть до губернатора! Ничего не упустил попечитель в предложенных мерах...

Впервые с тревогой заговорили о «младших». Младшие и старшие выступали согласованно и дружно под руководством агитаторов и пропагандистов.

С начала года в Кутаисской гимназии были заведены специальные папки — «дела», обраставшие день ото дня донесениями и протоколами. Одна из папок имела надпись: «О совещании с родителями учеников гимназии в связи с нарастанием революционных настроений». На этом совещании директор гимназии объявил, что нормальные занятия начнутся в понедельник, 9 февраля, и попросил родителей убедить своих детей в том, «что их поведение, беспорядочное и грубое, может привести в конце концов к закрытию гимназии».

Эта новая угроза была рассчитана на устрашение бастующих, на подавление их активности.

Кто-то из присутствовавших на совещании родителей согласился с предложением начать занятия с понедель-

ника и посоветовал не показывать учащимся, что начальство их боится; другие требовали отсрочить начало занятий. В конце концов все же решили приступить к урокам девятого февраля.

Педагогический совет заслушал сообщение об учениках, находившихся в тюрьме. Один из них после допроса был выпущен, и ему разрешили держать экзамены в конце года. Ввиду отсутствия прямых улик были освобождены и остальные. Но их занесли в список «неблагонадежных».

По требованию попечителя в гимназии составили списки учеников, принимавших 3 февраля более или менее активное участие в волнениях. В первом списке значилось 27 фамилий, во втором — 26.

Против фамилии ученика Дмитрия Ставракова (поднадзорного), которому тогда было девятнадцать лет, — пометка: «Выбежал во главе бушующей толпы во двор».

Про Дзнеладзе сказано: «Произнес «Проклятие!» — и, не обращая внимания на увещевания преподавателей, ушел из гимназии».

Педагогический совет обсудил также поведение ученика, который, несмотря на предложение идти в класс, направился к выходу, ответив:

— Иду туда, куда идут все!

Так поступали многие.

Гимназисты выходили на улицу и присоединялись к демонстрантам.

Маяковский не мог остаться в стороне от всего того, что происходило в гимназии и вообще в городе. Заводя знакомство и дружбу с учениками старших классов, он становился их единомышленником и теперь особенно чутко прислушивался к их разговорам, к тому, что волновало всех.

«С 1904 года, — подтверждает В. А. Васильев, — я замечал, что Маяковский стал быстро развиваться и устанавливать связи со старшими товарищами».

Обстановка в гимназии становилась все более сложной Это заставило попечителя учебного округа Завадского приехать в Кутаис. Он пробыл в городе с 7 по 12 февраля. Спустя пять дней после отъезда из Кутаиса он запросил по телеграфу Чебиша, как обстоят дела. Тот ответил, что «кое-что повторилось вчера перед пятым уроком в шестом параллельном, но сегодня все благополучно».

Однако это «благополучие» прервалось...

Учащиеся переходили к новым формам борьбы с ненавистными порядками. Так, 13 и 14 февраля в помещении гимназии была разлита какая-то зловонная жидкость.

Описывая борьбу кутаисской учащейся молодежи, «Листок «Борьбы пролетариата» отмечал, что, как одно из средств этой борьбы, «вступила на сцену химическая обструкция», часто в классы нельзя было войти из-за проделок «химиков». В последующих номерах той же газеты говорилось, что «неблаговонная» жидкость вообще «наделала массу неприятностей» и много раз из-за нее прерывались занятия.

Так, 20 февраля, выражая свой протест против полицейского режима, установившегося в гимназии, ученики разлили в классах горчичный спирт. Занятия было невозможно продолжать. То же повторилось на другой день.

Недовольство и ропот среди молодежи еще более усилились, когда выяснилось, что освобожденных из-под стражи учеников не допускают к занятиям. За участие в январской стачке и демонстрации из разных учебных заведений города было исключено тринадцать человек.

На основании изданного еще в прошлом столетии распоряжения министерства внутренних дел за учащимися, достигшими шестнадцатилетнего возраста и исключенными из высших и средних учебных заведений за «неодобрительное поведение», устанавливался негласный полицейский надзор. Поэтому власти потребовали от директора гимназии представления сведений о взысканиях, наложенных на «провинившихся» воспитанников. Но администрация гимназии опасалась принять крутые меры.

Десять учеников были уволены якобы «по прошению родителей», причем четверым из них предоставили право держать экзамены на аттестат зрелости экстерном. Четверых исключили до мая. Троих лишили стипендии, восемь учеников заключили в карцер, некоторым снизили отметки по поведению.

Перечень взысканий, утвержденный попечителем, зачитали в классах. Из гимназии исключили только Ставракова и Дзнеладзе.

Расследование между тем продолжалось. 15 февра-

ля допрашивались гимназисты, присутствовавшие 28 января в театре.

Директор едва успевал пересылать материалы жандармскому управлению. 19 февраля от него потребовали представить для приобщения к протоколу дознания материалы расследования «беспорядков», происшедших 3 февраля.

Учащиеся городского училища обратились к своему инспектору с рукописной листовкой, на которой была сделана приписка: «Просим не допрашивать каждого в отдельности, так как мы не будем отвечать на таковых допросах».

Почта доставила в гимназию конверт с прокламацией. Перепуганный директор поспешил отправить ее жандармскому управлению.

Через несколько дней новая прокламация была подобрана учителем Шарутиным уже в коридоре, возле дверей канцелярии.

Прокламации продолжали проникать в гимназию различными путями. Директор сообщал об этом попечителю, а попечитель требовал от него «самого тщательного ограждения учебного заведения от преступной пропаганды».

Учителя не успевали перехватывать нелегальные листовки. «Крамольная» литература попадала в руки учащихся. Товарищ Маяковского по классу Аполлон Месхи вспоминал об этом: «Мы прятали прокламации в партах и украдкой читали их».

Одни учителя знали, другие догадывались, что происходит.

В нелегальной брошюре того времени о рабочем движении в Закавказье описан такой случай.

В городском училище учитель спрашивает детей:

— Не попадался ли кому-нибудь из вас печатный листок?

И, когда ученики смело вытащили из карманов прокламации, учитель, не зная, как ему отделаться от «греховных» бумажек, забормотал:

— Нет, нет, мне их не надо.

И тут же поспешил исправить свою ошибку:

— Смотрите, не смейте их читать, они писаны против царя и бога.

Такую же тревогу и растерянность вызвал у Чебиша и других педагогов, охранявших поколебленный «пра-

вопорядок», поток прокламаций, проникавших изо дня в день в гимназию.

Второй съезд Российской социал-демократической рабочей партии принял ленинскую резолюцию об отношении к учащейся молодежи.

Еще до съезда В. И. Ленин, по просьбе одного из членов Организационного Комитета, составил список вопросов, «по которым желателен ответ в докладах комитетов и групп нашей партии на II съезде ее». В числе вопросов были и следующие:

«Средние учебные заведения, гимназии, семинарии и пр., торговые и коммерческие училища? Характер связей с учениками? Отношение к новому фазису подъема движений в их среде? Попытки устройства кружков и занятий? Бывали ли (и часто ли) социал-демократы из только что кончивших (или некончивших) гимназистов? Кружки, чтения? распространение литературы?»

На все эти вопросы давала ответы местная жизнь.

В. И. Ленин в выступлении на Втором съезде по вопросу об отношении к учащейся молодежи говорил, что большевики ставят «главной целью выработку цельного революционного миросозерцания, а дальнейшая практическая задача состоит в том, чтобы молодежь, организуясь, обращалась к нашим комитетам».

В своем проекте резолюции Ленин рекомендовал всем организациям, группам и кружкам учащихся стараться при переходе к практической деятельности заранее заводить связи с социал-демократическими организациями, «чтобы воспользоваться их указаниями и избегать, по возможности, крупных ошибок в самом начале работы».

Приветствуя оживление в стране революционной самодеятельности учащихся, Второй съезд предложил «всем организациям партии оказать всяческое содействие этой молодежи в ее стремлениях организоваться».

Живую, тесную связь с учащейся молодежью Кутаиса установил и руководил ее движением в годы Первой русской революции Имеретино-Мингрельский комитет Кавказского союза РСДРП. При Комитете была оформлена пропагандистская группа из двенадцати человек, в которую вошли и некоторые учащиеся старших классов.

В начале 1904 года в душную атмосферу Кутаисской гимназии, как свежий ветер, ворвалась прокламация,

выпущенная местным комитетом партии. Она начиналась с упоминания первых организованных выступлений в учебных заведениях города:

«Учащиеся!

Не прошло и месяца с того времени, как мы впервые обратились к вам, и уже ваша молодая жизнь ознаменовалась рядом беспримерных фактов, имевших место как в стенах ваших учебных заведений, так и вне этих стен. Мы были свидетелями ваших демонстраций, которыми вы сопроводили чтение царского манифеста, которыми вы достойно оценили лживый, льстивый, дерзкий и гнусный призыв к народу «встать на защиту отечества», к народу, который в тисках царского деспотизма стонет в своем отечестве, к народу, кровью которого забрызганы все грады и веси обширной России, к народу, последними крохами которого царь-палач бесконечно множит тюрьмы и казематы, чтобы забить, заколотить в темных и сырых помещениях светлые мысли истинных друзей народа, чтобы надолго преградить путь животворящим лучам сознательности в народные массы.

Мы были свидетелями ваших демонстраций 3 февраля, когда, тесно сомкнув свои молодые силы, вопреки угрозам и увещаниям податливых родителей, вы грозно раскинулись по главным улицам города и криками «Долой самодержавие! Да здравствует демократическая республика!» приводили в неописуемый ужас ваших педагогов — наемников развратного правительства, когда нечистые руки полицейских негодяев опускались при виде энергично наступающей боевой молодой силы. Да! Вы сразили врага, и мы приветствуем вас, захваченных клокочущими волнами революционного движения. Вы смело примкнули к социал-демократии и двинулись в путь сжигать корабль самодержавия. Он без руля мечется из стороны в сторону, и грозно надвигающиеся волны предвещают ему близкую гибель.

Вперед, друзья!..»

Далее прокламация ставила назревший вопрос об «отцах и детях», призывая учащихся не бояться осуждения со стороны тех отцов, которые, не став на революционный путь, рабски примирились с унижениями и невзгодами.

Этот же вопрос поднял нелегальный «Листок «Борьбы пролетариата». «И «отцы» будут наказаны, — гово-

рилось в 7-м номере этой газеты, — «дети» совсем отобьются от них, ибо само время «неблагонадежно» и делает их таковыми на страх врагам — сиречь самодержавию и всем его приспешникам».

Заключительные строки прокламации «Учащиеся!», так же, как призывы газеты, отличались большой революционной страстностью:

«...Мы жаждем новой жизни и бесстрашно идем к ней, мы ненавидим насилие и ложь и боремся против них; мы ищем правду, справедливость и страдаем за нее, и каждая жертва самодержавия кует новый булат его погибели. Не бойтесь этих жертв. Уже настал желанный час; настал момент, когда всеобщая скрытая злоба и ненависть, вырываясь из истомленных грудей сынов народа, превращается в грозный клич:

Долой самодержавие!

Долой героев кнута и насилия!

Долой хищника-кровопийцу и его опричников!

Да здравствует демократическая республика!»

В конце листовки стояла подпись: «Имеретино-Мингрельский комитет».

В автобиографии Маяковского коротко отмечено: «Появилось слово «прокламация».

Это слово произносили открыто и смело.

О содержании прокламации быстро узнавали во всех классах, в особенности если листовка была обращена непосредственно к учащимся.

Все более росла растерянность среди школьной администрации. В конце февраля попечитель учебного округа потребовал от директора Кутаисской гимназии сообщать ему ежедневно: сколько учеников было на уроках, кто, где и в какие часы наблюдал за поведением учеников во внеклассное время; сколько квартир учащихся посетили классные наставники и что найдено; какие наблюдения были за день у самого директора и какие замечания сделаны учащимся; о созыве родителей, беседах с ними и прочем.

Такие же сведения продолжал требовать губернатор «для совместной борьбы со злом». В гимназии установился режим, основанный на связях ее начальства с жандармерией.

Уже не раз, но всегда безуспешно, старался педагогический совет опереться на родителей. Такая попытка была сделана и 22 февраля. В протоколе совещания пе-

дагогов гимназии с родителями учащихся пятых классов записано:

«Педагогический совет, озабоченный подавлением брожения среди учащихся, вызванного беспорядками, происшедшими в гимназии 3 февраля текущего года, пригласил родителей учащихся пятых классов на совещание, так как ученики этих классов своими неразумными поступками (перед этим зачеркнуто: преступными действиями) особенно нарушают правильное течение учебной жизни».

Перед родителями был поставлен вопрос: как оградить детей от «опасного» влияния, как следить за ними на большой перемене? Ученикам разрешалось завтракать дома, но многие не ходили домой, а забегали на перемене в кондитерские. Особой популярностью пользовалась кондитерская Мунджиева, где можно было наряду со сластями купить еще... шумовые петарды.

— В метании петард в классе, — вспоминает учившийся в гимназии поэт К. Надирадзе, — Маяковский принимал живейшее участие.

Это подтверждает Евгений Гванцеладзе:

— Помнится, один раз Маяковский метнул петарду. Метальщиков мы никогда не выдавали.

Вскоре гимназисты, и пёрвым среди них Капанадзе, научились сами изготовлять петарды. Это сразу обогатило «боевой» арсенал учащихся. Виктор Демьянович вспоминает, как изготовляли примитивные шумовые петарды из завернутой в свинцовую фольгу бертолетовой соли с серой, снятой со спичечных головок, или «пистолеты» из берданочных патронов, укрепленных на самодельном ложе... «Хлопали такие самоделки, — заключает он, — довольно громко, но опасность от них была, конечно, только для самих «стрелявших». Зато было много шума, которым ученики выражали свой протест против порядков, существовавших в гимназии».

Кто-то из родителей, пришедших на совещание, предложил поручить старшим ученикам наблюдать за младшими. Но начальство не могло решить, а кому же наблюдать за старшими?

Выискались «отцы», предлагавшие производить среди гимназистов внезапные обыски, прибегать к массовым увольнениям, исключать из числа провинившихся каждого десятого. Они считали, что «все зло в неблагонамеренных лицах», которые, мол, совращают их по-

томство. Директор просил родителей выяснить: при каких условиях и кто именно занимается агитацией, которая «одна только и могла привести к такому безрассудному поступку, как свист и шиканье во время молебна». Говорили, что пропаганду среди учащихся проводит социал-демократический комитет, жаловались, что при столь развитой жизни улицы невозможно «предохранить детей от влияния вредных людей».

Но для педагогического совета в этих заявлениях не было ничего нового. Ведь в самих прокламациях указывалось, что пропагандой руководит партийный комитет.

На следующее совещание, созванное в конце февраля, были приглашены родители учащихся четвертых классов. И снова те же вопросы: следят ли отцы и матери должным образом за поведением своих детей? С кем ведут знакомство и с кем дружат их дети? Просматриваются ли книги, приносимые детьми домой?

Несмотря на усиленный надзор, осуществлявшийся «учительской корпорацией», ученики группами гуляли по бульвару, часто с «посторонними лицами», совершали загородные прогулки, появлялись на улице позже семи часов вечера, посещали частные и общественные библиотеки.

После совещания директор Чебиш, просматривая протоколы, задержался над фразой: «Все высказанные родителями пожелания директор принял к сведению и обещал по возможности исполнить их на деле». Чебиш приписал на полях: «Это и есть горе: нулевая возможность». Он давно уже убедился в утрате своего влияния на воспитанников и все чаще стал обращаться за поддержкой к попечителю округа и к местным властям.

Зачинщиков ученических «беспорядков» начали вызывать на допрос непосредственно к жандармскому полковнику, который, для большего удобства, обосновался в самой гимназии.

На обороте одной повестки — вызова на допрос — перечислены фамилии одиннадцати учеников и отмечено: «...которые 28 января 1904 года были в кутаисском театре».

Нашумевшая история с прокламациями, брошенными с галерки во время спектакля, не давала покоя губернатору.

Кутаисский театр, руководимый в то время одним

из передовых деятелей грузинской сцены Ладо Месхишвили, ставил такие значительные пьесы, как «Разбойники» Шиллера, «Родина» Д. Эристави, «Кай Гракх» Монти, «Жан и Мадлена» Мирбо, «Ткачи» Гауптмана, «Рюи-Блаз» Гюго, «Измена» Сумбатова-Южина. Спектакли будили общественное сознание, революционизировали зрителей, понимавших многое с полуслова.

Маяковские были близко знакомы с семьей Месхишвили. Володя с Олей часто посещали театр. И случалось, что они попадали не на спектакль, а на митинг и демонстрацию рабочих.

В моменты, когда, медленно снижаясь, в воздухе парили прокламации, в зале раздавались возгласы:

— Долой самодержавие!

— Да здравствует революция!

Учащиеся проникали в театр, ухитряясь проскользнуть мимо «охранителей порядка», или, наоборот, штурмом брали его двери.

Выходя из театра, молодежь, случалось, вступала в стычки со стражниками и полицией. Эти столкновения становились потом предметом особого обсуждения в гимназии.

За поведением учащихся в самой гимназии постоянно следили инспектор, два дежурных классных наставника и четыре помощника (по числу коридоров здания). Тем не менее инспектор все же получал из округа замечания за «нерадение». Было введено дополнительное дежурство в новых пунктах. С 11 до 2 часов, а также на большой перемене преподаватели отправлялись дежурить на бульвар и на Гимназическую улицу. Но все эти меры не давали ощутимых результатов, попечитель же продолжал требовать «самого тщательного ограждения гимназии от преступной пропаганды».

Пытаясь выявить очаги этой пропаганды, в гимназии занялись в первую очередь вопросами внеклассного чтения. Специальная комиссия, выделенная для этого из состава педагогов, признала работу фундаментальной гимназической библиотеки неудовлетворительной и предложила создать небольшие библиотеки по классам. Но пока что детям приходилось добывать книги на стороне. Считая это недопустимым, директор обратился к губернатору с просьбой запретить учащимся пользоваться частными библиотеками и читальнями.

Гимназия еще более усилила свое вмешательство в

домашний распорядок жизни учащихся. Классные наставники, инспектор стали еще чаще посещать квартиры учеников, осматривать их вещи и книги, выспрашивать, кто что читает, предлагать родителям строже наказывать детей за те или иные «проступки». Но уже мало кто прислушивался к таким советам, хотя это не означало, что родители не интересовались тем, как учатся их дети.

Владимир Константинович Маяковский время от времени сам заходил в гимназию, чтобы узнать, как учится и ведет себя его сын. Приветливо встречали Маяковские у себя дома классного наставника Володи Всеволода Александровича Васильева, который вспоминает: «Я несколько раз встречался и беседовал с отцом Маяковского, человеком суровым на вид, но любившим своего сына и живо интересовавшимся его успехами и поведением».

Понятие о поведении детей было в семье Маяковских самое здоровое: родители не запрещали Володе и Оле участвовать в нараставших событиях гимназической жизни. Да и не только гимназической!

Просьба директора гимназии к родителям предостерегать детей от «заблуждений» не имела успеха. Тщетно пытался он убеждать, что родители обязаны «внимательно» относиться к тому, что волнует ребят, следить, где они бывают, что читают: может быть, книги «вредно влияют на детей, а может быть, кто-либо из посторонних...»

Ополчившись сначала против театра, затем против книг, гимназическое начальство выискивало теперь корень зла в «посторонних» лицах.

Инспектор, классные наставники и сам директор стали приходить в гимназию почти за час до начала занятий. А в воскресный день, 18 апреля (1 мая по новому стилю), ввиду ожидавшихся демонстраций наблюдение за учащимися было установлено не только на улицах, но и за чертой города — на ферме, на Красной речке, у Сапичхийской церкви, на Сагорийской даче и Архиерейской горе.

На другой день директор сообщил в округ о результатах «наблюдений» и о том, что полы в классах оказались опять обрызганными горчичным спиртом и потому заниматься невозможно.

Попечитель округа, в свою очередь, сообщил в ми-

нистерство: «В настоящее время, когда уличные демонстрации с красными флагами и криками «Долой самодержавие» обошли почти все сколько-нибудь значительные города Кавказа, а в иных местностях и многие селения, когда прокламации безостановочно рассылаются по почте, разбрасываются во множестве и по улицам, и в театрах, и на всех общественных собраниях, когда сама семья весьма нередко играет с опасным огнем, — разрушительное начало захватывает и некоторых учащихся, но проследить пути влияния этого учебные заведения не в состоянии. И в среде педагогов не без уклонений от тех взглядов, которых придерживается правительство».

Это было первым признанием того, что «учительская корпорация» разбилась на два лагеря. Попечитель Завадский проговорился, что за последние два года он принимал меры «к постепенной замене ослабевших в своей энергии педагогов сильными, более крепкими и деятельными». Понятно, какая «энергия» требовалась от учителя. Но, вопреки стараниям царских служак, крепла, росла и ширилась другая, революционная энергия.

Учебный год подходил к концу. В аттестационной книге выстроились колонки цифр.

Отметки, полученные Маяковским в третьей и последней четвертях, одинаковы.

По русскому языку (устно) — 4 и (письменно) — 3.

По математике (устно) — 3 и (письменно) — 4.

По истории — 5.

По географии — 4.

По естествознанию — 4.

По немецкому языку (устно и письменно) — 3.

По чистописанию — 4.

По рисованию — 5.

Учитель З. П. Мороз, так же, как до него В. А. Баланчивадзе, обратил внимание на художественное дарование Володи Маяковского. Во втором полугодии он выставил ему в классном журнале пять с плюсом.

Переводили в 1904 году из класса в класс без экзаменов, по общим годовым отметкам. Маяковский имел по русскому языку, географии, естествознанию и чистописанию 4, по истории и рисованию — 5, по математике и немецкому языку — 3.

Математика, еще с того времени, как Володя гото-

вился к поступлению в гимназию, являлась для него «трудным» предметом.

По поведению он получил пятерку, за внимание и прилежание — четверки. В третьей четверти пропустил пять уроков.

14 мая, обсуждая годовые отметки учеников, педагогический совет выносит решение о Маяковском: «Перевести».

Вместе с Маяковским переходят во второй класс без переэкзаменовок 27 учеников, с переэкзаменовками — 8, остаются на второй год — 5.

Классы опустели — все распущены на каникулы.

Лето Маяковские проводят опять в лесничестве, в Нергиетах.

События первой половины года оставили неизгладимый след в сознании Володи. Чтение газет и журналов порой вытесняло игры и развлечения, но детство все же брало свое.

В августе отец поехал с дочерью Людмилой в Москву, чтобы определить ее в Строгановское художественно-промышленное училище. По возвращении он много рассказывал о своей поездке, и впервые живой интерес Володи к Москве облекся в конкретные представления.

# ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

## ВО ВТОРОМ КЛАССЕ. ПОШЛИ ДЕМОНСТРАЦИИ И МИТИНГИ... ЭКЗАМЕНЫ

В 1904 году, идя на уступки общественному мнению, учебное ведомство издало проект устава гимназий. Греческий язык в большинстве гимназий стал необязательным, вместо него ввели естествознание. Число учеников в классе ограничивалось тридцатью пятью. Устав определял роль воспитателей и надзирателей и в какой-то мере ограждал учащихся от произвола полиции. Такими вот новыми веяниями ознаменовался наступающий новый учебный год.

25—27 августа в гимназии проводятся приемные испытания в приготовительном и первом классах. В. А. Васильева назначили во второй параллельный классным наставником. Владимир Маяковский опять с любимым учителем.

Фамилия Маяковского в общий алфавитный список учащихся заносится под порядковым номером 421.

Год начался неровно. Об этом говорят записи в журнале классного наставника В. А. Васильева. Внимание учащихся отвлекается событиями, происходящими за стенами гимназии. И хотя Маяковский писал в автобиографии: «Приготовительный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках», он тоже отвлекается от уроков, и это сказывается на успеваемости. В понедельник, 13 сентября, например, на уроке немецкого языка он получил двойку и еще до конца недели по тому же предмету 3 с минусом и 2 с плюсом. На следующей неделе он по-

лучил по арифметике 4, по русскому — 3, по французскому — тоже 3. По немецкому языку отметка за неделю с двойки повысилась до четверки. С такими же колебаниями в успеваемости шли и другие ученики.

У Маяковского — новые товарищи, но еще более крепкими стали его связи со старыми друзьями — Демьяновичем, Месхи, Гванцеладзе, Гачечиладзе, Капанадзе, Шостаком, Бежанейшвили и другими. Вместе переходили они из класса в класс, росли, мужали, хотя учителю Николаю Николаевичу Джомарджидзе, покидавшему гимназию, казалось, что они остаются все такими же маленькими его спутниками. Уезжал Николай Николаевич в первых числах сентября 1904 года за границу совершенствовать свои педагогические знания. Сердечным и трогательным было его прощание с учениками. О тогдашних своих настроениях и переживаниях, связанных с отъездом из Кутаиса и разлукой с юными друзьями, он рассказал позже в «Посвящении», которым открываются его рукописные «Педагогические этюды»: «Вам, маленькие друзья мои, вам, дорогие спутники наилучших моих дней, я посвящаю сладчайшие переживания души моей! Эти переживания рождены общением с вами, и хотя с тех пор прошло много времени и вы стали уже юношами и вполне зрелыми людьми, но в моем представлении вы всегда останетесь теми маленькими, прекрасными созданиями, какими вы были во дни моего пребывания с вами.

Не укоряйте меня за то, что в своих отношениях с вами я не всегда бывал таким, каким, — я и сам теперь нахожу, — должен был быть. Вы должны многое простить мне потому, что ведь и я — жертва дурного воспитания, дурной среды. Вы должны простить мне также потому, что, осознав тяжелую ответственность перед вами и свое крайнее несовершенство, я покинул вас с глубокой верой в сердце и бежал, чтобы стать лучше. Наконец, вы должны быть снисходительными ко мне потому, что я всегда горячо, искренне любил вас...»

Володя Маяковский был одним из тех «маленьких друзей», к которым обращался всегда прямой и честный, неудовлетворенный достигнутым и требовательный к себе Н. Н. Джомарджидзе.

В. А. Васильев называет его педагогом в лучшем смысле этого слова. Проявляя искреннюю любовь к детям, заботясь об их воспитании, Джомарджидзе в то же

время считал себя в какой-то степени морально ответственным перед детьми и за тех педагогов, которые плохо или безучастно относились к ним. Отсюда его слова о «дурной среде» и «бегстве» от нее, о стремлении к совершенствованию своих знаний.

Размежевка в «учительской корпорации» все более углублялась. Меньшинство составляли педагоги, считавшие свой труд высоким общественным призванием. Им противостояли люди сухие и бессердечные, проявлявшие формальное отношение к воспитанию детей, озлобленные и грубые. Особенно дурную славу приобрели своими неблаговидными поступками и шовинистическими выпадами законоучитель Тугаринов и учитель русского языка Юркевский. Столь же злобствующим был педагог Дзюбинский, который, в отличие от Юркевского, умел скрывать свои мысли и намерения. В эту же группу входили преподаватели Богословский, Лебедев, помощник классного наставника Гюбнер. Об обстановке, царившей в те годы в Кутаисской гимназии, В. А. Васильев пишет:

«На заседаниях педагогического совета преподаватели-«русификаторы» переходили в открытое наступление на молодых преподавателей, обвиняли их в потворстве «туземному» населению, в измене устоям «государственности» требовали суровых наказаний за «нарушение дисциплины», увольнения провинившихся учеников из гимназии.

В то же время, ощущая все больший рост и организованность выступлений учащихся, опасаясь резких эксцессов с их стороны, а также встречая отпор своим реакционным устремлениям со стороны передовой части учительства гимназии, учителя-реакционеры Дзюбинский, Калишев, Юркевский, Шарутин, Тугаринов, Богословский и другие, почувствовав, что почва под ногами у них заколебалась, стали сдавать свои позиции».

Николай Шостак вспоминает: «Лучшие наши учителя вынуждены были скрывать от нас свои убеждения, но мы интуитивно чувствовали, на чьей они стороне». Зато они не скрывали своих методов преподавания и благожелательного отношения к учащимся, а это говорило уже о многом.

Заседания педагогического совета назначались почти ежедневно. Они проходили в никчемных спорах и взаимных упреках, а серьезные вопросы, как, напри-

мер, о материальной необеспеченности учеников, отодвигались на задний план. Между тем вопрос о необеспеченности касался многих.

Маяковские жили хотя и не бедно, но весьма скромно — на жалованье лесничего. Оно складывалось из основного годового оклада, постоянной надбавки и некоторых других прибавок, как-то «столовых», «квартирных», «разъездных» и «земельных».

В начале учебного года, когда наступил срок взноса платы за право учения, Владимир Константинович подал директору гимназии прошение:

«На самом скромном моем содержании, без всяких других подспорных средств, мне приходится воспитывать на отлете от местопребывания троих детей, что при получаемых средствах страшно чувствительно. Прибегаю к благосклонному вниманию вашего превосходительства и прошу зависящего распоряжения об освобождении моего сына Владимира — воспитанника II класса от платы за право учения. При сем представляю свидетельство о моем материальном обеспечении за № 3860.

В. К. Маяковский.

8 сентября 1904 г., с. Багдады».

Педагогический совет не удовлетворил просьбу, сочтя ее недостаточно обоснованной.

С такой же просьбой обращался Владимир Константинович к педагогическому совету той же гимназии тридцать с лишним лет назад, в сентябре 1872 года. Он писал: «Отец мой, обремененный семейством, состоящим из семи душ, крайне беден и едва в состоянии доставить нам дневное пропитание и поэтому не имеет средств вносить причитающуюся в гимназию плату за правоучение». Тогда речь шла о нем самом, теперь — о сыне. В семидесятых годах безвыходность положения семьи Маяковских была настолько очевидной, что гимназия удовлетворила просьбу. Брата Владимира Константиновича — Михаила взял на свое попечение дядя — А. Данилевский, он переводил из Феодосии деньги на обучение племянника. И теперь денег в семье было в обрез, и В. К. Маяковский шутя предупреждал детей, что не оставит им в наследство ничего, кроме здоровья и образования.

Дома создалась строгая трудовая обстановка.

Когда С. Краснуха вызвался обучать Володю рисованию бесплатно, мальчик обрадовался. Позже это было выражено словами: «Учит даром».

Деньги, которые Володя получал от родителей на завтраки, он тратил на книги. Кроме того, брал книги в гимназии.

В журнале классной библиотеки есть отдельные записи В. А. Васильева о выданных в разное время ученику второго класса Маяковскому книгах: «Паровой дом» Жюля Верна, «Американский пакетбот», «Шпион», «Пленители моря» Фенимора Купера, «Путешествие мальчика вокруг света» Смайльса, «Саардамский плотник» Фурмана и «Гаврюшкин плен» Немировича-Данченко.

О чем повествуют эти книги? Герой Смайльса — шестнадцатилетний юноша, предпринявший путешествие из Англии в Австралию, описывает свое пребывание в городке Майорка (в золотоносном округе Виктория) и обратный путь в Англию по Тихому океану, через Гонолулу и Сан-Франциско, затем по железной дороге через Скалистые горы и Нью-Йорк. Книгу заключают строки: «Так окончил я свое путешествие вокруг света, которое дало мне здоровье, знания, опытность; я увидел многое и научился многому такому, что дает мне материал для размышления».

В повести «Гаврюшкин плен» описана жизнь в крепости, возведенной в Дагестане, и злоключения Гаврюшки, попавшего вместе со своим отцом — офицером царской армии — в плен к горцам. Из этой книги Маяковский мог узнать о быте горских народов, о героической борьбе которых за свою независимость тогда же занимательно рассказывал ему объездчик лесничества Имриз Раим-оглы, уроженец Дагестана.

Володя с увлечением читал и перечитывал имевшиеся в домашней библиотеке сочинения Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Лескова, Тургенева, Некрасова, Данилевского. Любимыми были Гоголь, Шиллер. С большим интересом встречали Маяковские каждое новое произведение молодого писателя Максима Горького.

Увлечение чтением могло пробудить тягу к творчеству, но о первых литературных опытах Володи Маяковского ничего не известно. Поэтому особое значение приобретают строки воспоминаний В. А. Васильева: «Припоминаю, что в 1904 году лишь один раз Маяковский обратился ко мне с маленьким стихотворением,

прося прочесть его. Стихотворение это, небольшое по объему, старательно переписанное крупными, тщательно вырисованными буквами, поразило, помнится мне, не содержанием, а особой оригинальностью ритма; оно было написано белым стихом. Я посоветовал Маяковскому работать над собой. Больше я не помню попыток его писать, по крайней мере, других подобных фактов в моей памяти не сохранилось».

Перебирая воспоминания о своем общении с Володей Маяковским в гимназии, Виктор Демьянович, очень осторожный в выводах, привел строки поэта-демократа П. Ф. Якубовича и заключил: «Может быть, они оказали какое-то влияние и на Маяковского». Вот это четверостишие, первоначально озаглавленное «Поэту-символисту»:

В искусстве рифм уловок тьма,
Но тайна тайн, поверь, не в этом!
От сердца пой — не от ума,
Безумцем будь, но будь поэтом!

Маяковский-гимназист любил стихи, задумывался над их формой. Много лет спустя он в статье «Как делать стихи?», касаясь стихотворных размеров, «длинных» и «коротких» — по количеству слогов, писал:

«Почему-то с детства (лет с девяти) вся первая группа ассоциируется у меня с

Вы жертвою пали в борьбе роковой... —

а вторая — с

Отречемся от старого мира...

Курьезно. Но, честное слово, это так».

В младших классах гимназии не давали знаний в этой области. Теорию литературы изучали в старших классах. «Официально курсу теории литературы особо важного значения не придавали, — пишет В. А. Васильев. — В большинстве случаев этот курс фактически так и проходили в некотором отрыве от курса истории русской литературы. Отдельные преподаватели, правда, немногие, отступая от программ, начинали сообщать учащимся теоретические сведения по литературе, уже начиная с третьего и особенно с четвертого класса на уроках «выразительного чтения».

Но Маяковский уже был знаком с учебником Житецкого. В. А. Васильев называет еще другой, более распространенный и маленький по объему учебник,

носивший формалистический характер. Как воспринимались Маяковским эти учебники? Ответа на этот вопрос нет. Но руководства по стихосложению, попадавшиеся ему и позже, не могли удовлетворить его живой, пытливый ум. Он считал, что это только отвлеченное изложение вошедших в обычай способов писания. «Я много раз, — вспоминал он, — брался за это изучение, понимал эту механику, а потом забывал опять. Эти вещи, занимающие в поэтических учебниках 90%, в практической работе моей не встречаются и в трех!».

В ученические годы Володя Маяковский быстро подхватывал и запоминал песни, которые сопутствовали своеобразно преломлявшимся в его детском сознании явлениям политической и общественной жизни.

В стихотворении «Владикавказ — Тифлис» Маяковский приводит строфу из грузинской песни «Мхолод шен эртс» («Только тебе одной»), которую часто слышал в Кутаисе и сам любил напевать.

Эта песня имеет любопытную историю. В начале века в кутаисском театре готовилась к постановке пьеса Ф. Кареева «Роковой шаг», в русском тексте которой была песня. Ее переложил в грузинские стихи артист и драматург Шалва Дадиани, а мотив подобрал артист К. Сарджвеладзе. После первой же постановки пьесы песня стала популярной, ее распевали повсюду. Позднее появились ноты на слова этой песни. Постепенно она оторвалась от пьесы, утратила свои бытовые оттенки, и образ любимой стал символом родины.

Артист В. Гуния рассказывал, что Маяковский, находясь однажды среди грузинских артистов и отвечая на их приветствия, спел по-грузински «Мхолод шен эртс».

В детстве он часто слышал на улицах Кутаиса «Марсельезу». Она звучала и в классах гимназии. Ее распевали по городу демонстранты.

Володя, любивший петь русские революционные песни, заучил также широко известное стихотворение грузинского поэта-революционера Иродиона Евдошвили «Вперед, друзья!» и громко читал его по-грузински в кругу своих сверстников. Одна из строф этого стихотворения в переводе звучит так:

Вперед на бой с неволей,
Что злобно нас гнетет!
С великим стягом правды
И братства все вперед!

Песни звали на улицу.

31 октября 1904 года, в воскресный день, перед зданием воинского присутствия собралось около ста рабочих. К ним присоединились пятьдесят новобранцев. Развернув красное знамя, они с песнями прошли до бульвара, разбрасывая прокламации. Слышались возгласы: «Долой солдатчину, долой милитаризм!», «Долой самодержавие!», «Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия!»

Демонстранты открыто и смело высказывались против самодержавия. Полицейские растерялись. Они не ожидали такого единодушного протеста в Кутаисе.

На другой день губернатор собрал казаков. Им дали в руки трехцветное знамя самодержавия и приказали пройти с ним по всему городу. Так незадачливые царские слуги хотели сгладить впечатление, которое произвела на население революционная демонстрация. Но увы! Безжизненный казарменный отпечаток на лицах демонстрирующих казаков ясно говорил о подноготной всей этой затеи. Население, за исключением небольшого числа приверженцев царизма, с иронической улыбкой наблюдало за этим «шествием». Отмечая провал этой затеи, газета «Листок «Борьбы пролетариата» писала: «Местные рабочие после этого с большим правом могут торжествовать свою победу».

Демонстрация рабочих и новобранцев была воспринята молодежью как решительное осуждение империалистической войны.

Создавшаяся в гимназии напряженная обстановка осложнялась. Занятия стали начинаться с 8 часов 30 минут утра, а время послеобеденных прогулок сократилось на час. Вообще же ученикам разрешалось бывать вне дома только до шести часов вечера.

Всего лишь год тому назад газета «Новое обозрение» писала о Кутаисе: «Характерной чертой городского неблагоустройства является полное отсутствие полицейских нарядов в наиболее оживленных частях города, как-то — бульваре, у мостов... и это несмотря на то, что местное городское управление крупную часть своих сумм ассигнует на содержание городской полиции». И вот властям стало невмоготу: по всему городу забурлила жизнь, пошли сходки, демонстрации...

«Кутаисская тишина нарушена!» — заявлял «Листок «Борьбы пролетариата». Это означало, что патриархаль-

ный уклад жизни небольшого губернского городка все более расшатывался под влиянием нараставшего подъема рабочего движения и антивоенных настроений в стране. Быстро сменявшиеся события приковали к себе внимание молодежи.

Отметки учащимся стали снижать. В гимназических кондуитах появлялась запись: «Стал хуже учиться и вести себя». Маяковский по русскому языку в первой и второй четверти получил тройки. По математике тоже. По французскому языку рядом с пятеркой и четверкой стоит тройка и по географии рядом с пятеркой — тройка. Неизменны — четверка по естествознанию и пятерки по истории и рисованию.

В конце декабря гимназистов распустили на каникулы.

Январь 1905 года был чреват крупными событиями.

Страшная весть о кровавом злодеянии царя облетела все уголки России. События 9 января послужили толчком к началу массового революционного движения в стране. В. И. Ленин отметил в газете «Вперед», что к пролетариату Петербурга готовы примкнуть другие центры и края страны, и в их числе назвал Кавказ. Рабочее движение в Грузии и на всем Кавказе с самого начала было неразрывно связано с борьбой русского пролетариата.

Забастовочное движение особенно стало разрастаться во второй половине января. Всеобщие забастовки начались в Баку, Батуме, Чиатурах, Кутаисе. В Самтредии к забастовавшим рабочим присоединились крестьяне из окрестных деревень, и в течение нескольких часов на улицах местечка кипела народная ненависть.

«Кровавое воскресенье» пробудило к протесту широкие слои населения Кутаиса. Улица снова ожила.

19 января на бульваре собралось около ста человек молодежи. С революционными песнями и возгласами направились учащиеся по Гимназической улице. Перед зданием мужской гимназии была устроена демонстрация. В окнах нижнего этажа гимназии зазвенели стекла. Еще группа гимназистов вырвалась на улицу. Остановленные полицией демонстранты повернули к базару, а потом в Заречный участок. Только там полицейским удалось рассеять их. При этом были арестованы семь человек.

На другой день демонстрация повторилась на бульваре. Здесь было много учащихся гимназии и реального училища, как старших классов, так и младших.

«Точно не помню, — пишет В. А. Васильев, — но полагаю, что среди них мог находиться и Маяковский».

Отряды пешей и конной полиции, двинутые против демонстрантов, стали давить людей, засвистели нагайки.

Находившиеся на бульваре преподаватели Васильев и Пушкарев заступились за схваченных гимназистов, добились их освобождения. Они с возмущением протестовали, когда в одном случае стражник разразился бранью, в другом — стегнул ученика нагайкой.

Среди сорока человек, взятых под стражу, оказалось десять гимназистов.

События 9 января, правда о которых передавалась из уст в уста, потрясли юного Маяковского. Много лет спустя он писал в стихотворении «9-е января»:

О боге болтая,
о смирении говоря,
помни день —
9-е января.

21 января 1905 года директор гимназии Чебиш и директор реального училища Бабинский отправили попечителю округа телеграмму: «В Кутаисе уличные беспорядки. Тревожное настроение охватило всех. Родители опасаются отпускать в школу детей. При данных условиях вести занятия затруднительно. Ждем ваших распоряжений».

Описывая обстановку последующих двух дней, Чебиш отметил, что настроение учащихся приподнятое. Беспокойно вели себя ученики 6-го, 5-го и 4-го классов.

Распространились слухи, что 27-го числа, в годовщину начала войны, в городе произойдут столкновения демонстрантов с полицией и войсками. И уже 24 января во время первых уроков в гимназию стали приходить родители с просьбой отпустить с ними детей домой. Они говорили, что ожидаются волнения, что около собора собирается толпа и все торговцы уже заперли свои лавки.

Чтобы узнать, что происходит в городе, директор направил помощника классного наставника... в полицию. Тот, вернувшись, сообщил, что полицейские настороже, а около собора он сам видел толпу.

Вскоре стало известно, что рабочие города объявили стачку. Возле бульвара собралось около двух тысяч человек. Стройными рядами, исполняя революционные песни, демонстранты двинулись по улице. Полиция не решилась преградить им путь.

Учащихся гимназии в этот день отпустили с четвертого урока.

Директор снова добивается разрешения прервать занятия и высказывает опасения о возможном перенесении «беспорядков» с улицы в гимназию.

Попечитель отвечает лаконично: «Занятий прекращать нельзя». Но Чебиш уже телеграфировал ему: «25 января в конце большой перемены ученики произвели шумную демонстрацию. Пришлось распустить их по домам».

Накануне, 24-го, театр снова стал трибуной. В зале разбрасывали прокламации. Их расхватывали и читали с жадностью. Полицейские были изгнаны из театра. Произносились речи на политические темы. Демонстранты, развернув красное знамя, прошли по городу с революционными песнями.

В городе забастовали приказчики, водовозы, извозчики и учащиеся. Об этом несколько позже сообщала ленинская газета «Вперед».

Волнение среди учащихся особенно усилилось, когда стало известно, что возле гостиницы «Франция» казаки столкнули одного ученика с тротуара и избили его.

На другой день в гимназии уже с первых уроков было шумно, в классах раздавались призывы прекратить занятия. В конце большой перемены, невзирая на присутствие инспектора, преподавателей и помощников классных наставников, ученики собирались в коридорах. Послышались возгласы на русском и грузинском языках: — Долой самодержавие!

В верхнем коридоре возгласы сменились пением «Марсельезы», и снова:

— Долой самодержавие!

— Да здравствует свобода!

Директор призывает учащихся к спокойствию, предлагает им разойтись по классам и выбрать делегатов, которые объяснят, чего они хотят.

Раздаются возгласы:

— Делегатов избирать не станем, потому что их накажут.

Переговоры все же начались. Ученики старших классов потребовали прекратить занятия до 31-го числа и никого не исключать за участие в демонстрациях. Педагогический совет собрался для обсуждения последних событий.

В этот же день от полицмейстера поступило требование сообщить «обо всех проявлениях противоправительственного волнения». Директор стал посылать губернатору и начальнику жандармского управления копии со своих рапортов попечителю.

Учащиеся, жаловался он, «окончательно не признают над собой власти и не поддаются в какой-либо мере влиянию членов педагогического совета».

До конца месяца занятия проводились с перебоями.

В довершение всего забастовали служащие гимназии. Классы остаются неубранными и не отапливаются. Все четыре отделения ученических раздевалок пусты.

31 января губернатор сообщил о распоряжении генерала Малама: учебные заведения не закрывать, а исключить учеников, участвующих в «беспорядках» и не посещающих гимназию. При этом была сделана оговорка: если только совещания с родителями не приведут «к положительным результатам».

Чтобы оповестить родителей о собрании, назначенном на 12 часов дня, учеников распустили по домам. Но не прошло и двадцати минут, как в гимназию вернулись около семидесяти учеников. Они заявили, что хотят поговорить с директором до того, как соберутся родители. Раздались голоса:

— Нас сегодня выгнали из гимназии.

— Вы приглашаете родителей, чтобы они подавали прошения об увольнении...

Пока велись переговоры, стали собираться родители. Некоторые ученики старших классов хотели пройти в актовый зал, но их не впустили. Только одному удалось проникнуть, когда собрание уже началось. В обсуждении поставленного генералом Малама вопроса участвовало четыреста человек. Но совещание не дало результатов, на которые рассчитывал царский генерал, а Чебиш вынужден был признать, что «общество скорее оправдывает учеников, чем порицает».

К тому времени в гимназии уже была заведена секретная папка с надписью: «Дело об ученических беспорядках, произведенных в январе 1905 года». Но янва-

рем события не завершились. В папку подшивали различные материалы вплоть до 1908 года.

Гимназистов волновали слухи об исключении двух товарищей. В городе происходили крупные демонстрации. Володю родители увезли в Багдады. 2 февраля он пишет сестре Людмиле о последних событиях: «Я, наконец, собрался с багдадским воздухом и пишу тебе. Я на несколько дней ездил в Багдад, потому что по выражению местных грузинов у нас в Кутаисе был «пунти». В Багдаде нет ничего нового...»

3 февраля гимназисты, прервав уроки, пели революционные песни. Раздавались возгласы:

— Долой самодержавие!

То же самое, еще в большей степени, повторилось четвертого. Упорно держались слухи об исключении некоторых учащихся. По почте была получена новая прокламация.

На своем очередном бурном заседании педагогический совет решил направить двух членов — В. А. Васильева и П. И. Дгебуадзе — в Тифлис для доклада попечителю. Этот шаг расценивался как уступка учащимся.

По поводу этой поездки Васильев пишет: «Я и Дгебуадзе обрисовали в беседе с попечителем Завадским положение гимназии и, помнится, указали, что репрессии делу не помогут».

Попечитель послал в Кутаис «для урегулирования» вопросов окружного инспектора Лопатинского, хотя не было такого вопроса, который мог бы быть рассмотрен изолированно от революционных событий.

8 февраля педагоги попытались помешать учащимся шестого класса спеть «Марсельезу», но песня зазвучала в пятом во время свободного урока.

Шумно было во втором классе. Директору, заменявшему преподавателя Лейберга, пришлось прервать урок и пойти в младшие классы, откуда доносился шум.

Обсудив требования учащихся, педагогический совет пришел к выводу, что они ждут не прощения, потому что не считают себя виновными, а уступок. Главное, чтобы никто не был исключен, иначе ответом будет новая демонстрация.

В Кутаис приехал Лопатинский. 11 февраля педагогический совет заседал под его председательством. На вопрос окружного инспектора, улучшилось ли поведе-

ние учащихся, педагоги стали приводить факты текущего дня.

Перед вторым уроком на подоконник в коридоре кем-то был положен красный платок.

Ученики третьего класса ушли с урока естествознания.

Учитель математики Бабич жаловался, что на его уроке в шестом классе ученики запели.

В седьмом — гудели и не дали Калишеву вести урок.

На уроке немецкого языка в первом параллельном ученик Глурджидзе бросил шумовую петарду. Такая же петарда была брошена во время перемены в третьем параллельном классе.

Во втором основном раздавались свистки. В параллельном (в котором учился Маяковский) весь день не смолкал шум.

Лопатинский, выслушав сообщения, призвал членов педагогического совета вооружиться терпением, не нервничать и обещал поговорить как с учениками, так и с их родителями.

На следующий день снова вся гимназия пришла в движение.

В первом классе было шумно; во втором на уроке Лейберга по арифметике один ученик зажег в бумажке порох, и класс наполнился дымом; в третьем и четвертом пели революционные песни; в пятом — отказывались отвечать по «закону божьему», в седьмом слишком часто отпрашивались с урока математики, в восьмом ученики Ставраков и Корганов сорвали урок по математике. В журнале заседания педагогического совета записано, что Григорий Корганов «в знак протеста против преподавателя Калишева, которого ученики считали провокатором, читал на уроке этого преподавателя газету» (над восемнадцатилетним юношей нависла угроза исключения из гимназии). В довершение всего в коридоре раздались взрывы, и помещение наполнилось дымом. В конце большой перемены кое-где зазвенели стекла.

Лопатинский поспешил собрать родителей. Отметив, что «беспорядки», продолжающиеся уже три недели, перекинулись в младшие классы, он предложил повлиять с помощью старших учеников на младших. На это отец ученика Руссовича ответил:

— Я не могу согласиться с этим предложением. Мне

приходилось слышать, как младшие на уговоры старших отвечали: «Да вы боитесь за свой аттестат!»

Один из родителей спросил:

— А почему школа обращается к семье только теперь, в связи с беспорядками, но не обращалась к ней за содействием в других случаях?

На этот вопрос не последовало ответа.

В конце дня поступило распоряжение о прекращении занятий в гимназии и реальном училище.

К учебным заведениям была приставлена военная «охрана».

Чебиша предупредили: «Берегите портреты!»

Директору реального училища передали, что реалисты собираются явиться на уроки с оружием, провести демонстрацию и изорвать портреты царя. Реалисты сняли со своих фуражек гербы.

Губернатор поспешно созвал директоров учебных заведений. Присутствовал и Лопатинский. Решили вывесить рано утром объявление о прекращении занятий и таким образом предупредить события. В разные пункты города направили воинские патрули.

На одной из улиц казаки задержали фаэтон с учениками. Прогремели выстрелы, взметнулись нагайки. Одного гимназиста ранили ударом приклада в лицо, другого сильно избили. Пострадавших отправили в городскую больницу. Весть об этом случае облетела все учебные заведения города.

На следующий день, 14 февраля, чуть свет Чебиш вывесил объявление и стал ждать, как отнесутся к этому учащиеся. Многие гимназисты пришли без книг. Директор предложил им разойтись по домам. Через некоторое время перед подъездом собралась толпа учащихся. Она хотела проникнуть в здание, но встретила противодействие. Тогда раздался звон выбиваемых стекол.

В это время, как зловещее предзнаменование, на углу Гимназической и Каравансарайской улиц появился патруль из десяти казаков. В гимназию прибыл губернатор.

После долгих переговоров с директором учащиеся решили разойтись и вышли на улицу. Одна группа гимназистов соединилась с реалистами, направлявшимися к заведению «св. Нины», где тоже начались волнения. Остальные влились в общий поток демонстрантов.

Впереди взвились красные флаги. Демонстранты стройно запели. Но их уже поджидали каратели.

Большевистская газета «Пролетарий» так описывала этот день в Кутаисе: «Группа бастующей молодежи столкнулась с нарядом казаков. Засвистели нагайки, началось немилосердное побоище. Учащиеся, запершись в городском саду, осыпали градом битого камня скакавших вокруг казаков и стражников, которые, недолго медля, пустили в ход огнестрельное оружие. Послышался глухой треск ружейного залпа, затем другой, третий... Казаки обстреливали сад. Пули свистели у самых ушей собравшейся в разных пунктах массы обывателей, сверля стены, попадая в людей. Крики мести и отчаяния, плач женщин и детей оглашали воздух... Из сада и из массы раздавались по временам револьверные выстрелы. Несколько стражников свалились с лошадей... На улице, из кровавой лужи товарищи подняли трех убитых, обезображенных от ран рабочих. Раненых доставили в городскую больницу. Улицы опустели, и с наступлением ночи кончилась эта дикая вакханалия, но в городе воцарился неудержный произвол казаков...»

Очевидно, об одном из таких столкновений спустя много лет Владимир Маяковский рассказывал в кругу грузинских поэтов:

— Казаки лупили нагайками меня со всеми. Здесь было первое мое крещение как революционера и агитатора.

Пережитое в те дни двенадцатилетним Маяковским придало спустя двадцать лет особый смысл строкам его стихотворения «Два мая»:

Сегодня
забыты
нагайки полиции.
От флагов
и небо
огнем распалится.

Аполлон Месхи в своих воспоминаниях подтверждает, что и младшие классы присоединились к демонстрантам; когда учащиеся подошли к городскому саду, там уже лежали груды булыжника из развороченной мостовой.

При столкновении с войсками и полицией группа демонстрантов была окружена и втиснута в пустой сарай при доме некоего Муралова. Среди задержанных

оказалось тринадцать гимназистов. Их продержали в сарае до прихода директора.

Во время побоища получили тяжелые ранения и вскоре умерли два демонстранта.

Напуганные размахом народного движения, власти на следующий день вывесили «обязательное постановление», которым воспрещались «сходбища и собрания народа на улицах, площадях, в скверах, садах, вокзалах и иных общественных местах для совещаний и действий, противных общественному порядку и спокойствию, а равно и скопление при этом любопытствующей публики».

Правительство стало бояться и «любопытствующих». Среди них бывало много учащихся.

Гимназическое начальство перестало надеяться на «помощь» родителей, которые сами становились активными демонстрантами и отказывались порицать своих детей. Чебиш писал попечителю: «Партия сторонников беспорядка, очевидно, очень сильна. Надежда на родителей плоха, что обнаружилось на совместном с ними собеседовании».

16 февраля происходили похороны двух убитых полицией рабочих. Одного хоронили около часа дня, другого — около 4 часов, поэтому вся вторая половина дня прошла в демонстрациях, несколько хоров рабочих и учащихся пели революционные песни.

Директору гимназии сообщили: впереди толпы замечен ученик пятого параллельного класса, подающий товарищам знаки рукой, среди поющих выделяются своими звонкими голосами учащиеся.

Правительство уже стало смотреть на гимназистов как на серьезную силу в революционном движении. Полиция затребовала списки учеников, родители которых жили не в городе, намереваясь выслать беспокойных «смутьянов» в их родные села. Таких учеников оказалось в гимназии более ста.

Власть в городе фактически сосредоточилась в руках военного командования. За этим последовал приказ об изъятии Кутаисской губернии и Озургетского уезда из ведения гражданских властей и подчинении их, «ввиду непрекращающегося брожения, впредь до восстановления в этих местностях полного спокойствия», генерал-майору Алиханову. Этому палачу были присвоены права губернатора

В воскресенье, 20 февраля, в театре были разбросаны прокламации, призывавшие учащихся не возвращаться «в рабскую школу», а участвовать вместе с рабочими в борьбе за свободу. После этого многие ученики стали заявлять, что ходить «в рабскую гимназию» они не будут.

В феврале 1905 года учащаяся молодежь Кутаиса впервые выступила со своей прокламацией, отпечатанной в нелегальной типографии местного большевистского комитета. Она заявила о том, что присоединяет свой голос к голосу борющейся Российской социал-демократической рабочей партии. Прокламация требовала:

неприкосновенности личности и жилища;

свободы совести, слова, печати, собраний и союзов;

полного равноправия учащихся без различия пола, религии, расы и национальности;

всеобщего бесплатного и обязательного образования для детей обоего пола;

снабжения бедных детей пищей, одеждой и пособием за счет государства;

отделения школы от церкви;

введение родного языка наравне с государственным во всех учебных заведениях.

Эти требования показали наличие твердого партийного руководства молодежью.

В Кутаисе распространялась также прокламация «К учащимся!», отпечатанная в типографии Бакинского комитета РСДРП. От имени «Организационного комитета учащихся» она призывала к объединению и согласованным действиям.

«Нам скажут, — говорилось в прокламации, — что это не наше дело, что это мешает прямой нашей задаче — учению. Да, ответим мы, мешает, но мы стремимся к протесту не потому, что нам нравится протест сам по себе, а потому, что этого протеста властно требует наша душа, наше оскорбленное и оскорбляемое чувство человека».

Во всех городах страны учащиеся под руководством рабочих принимали боевое революционное крещение. Прокламация «Рвутся оковы!», выпущенная в марте 1905 года Кавказским союзом РСДРП, подтверждала это: «И учащиеся не отстали от общего движения. Они также подали руку рабочему народу и свой юный голос присоединили к его революционному голосу».

Центральный орган партии — газета «Пролетарий» отмечала, что Имеретино-Мингрельский комитет, «стянув пропагандистов из других мест, а отчасти завербовав их из бастующей учащейся молодежи, собрал необходимые силы и стал во главе движения».

Указывая на руководящую роль большевистского комитета в Кутаисе, газета «Пролетарий» писала. «Всюду Комитет является руководителем и организатором, и за весь стачечный период не было почти ни одного примера стихийного проявления революционной энергии. Взоры всех были обращены на Комитет, на который привыкли смотреть, как на официальное учреждение. Туда стекались запросы и требования, и Комитет работал без устали, печатал и редактировал листки, организовывал демонстрации, приурочивал моменты стачек с целью придать движению характер всеобщности и, главным образом, характер революционно-политический».

Одной из важных задач Комитета было руководство забастовочным движением учащихся.

Попечитель учебного округа в своей переписке ссылался на заявления некоторых родителей о том, что «социал-демократический Имеретино-Мингрельский комитет проводит свою пропаганду в среде учащихся» через отдельных учеников Кутаисской мужской гимназии и реального училища. К числу таких учеников принадлежал Григорий Корганов. В его кондуите за 1904—1905 учебный год сделана отметка о поведении: «Несмотря на запрещение преподавателя, вышел из класса, сделав при этом резкое замечание. Приняты меры: явился отец ученика, которому сообщено о поступке сына». В марте, когда возобновились занятия, Корганов не явился в гимназию, видимо, желая избежать исключения с «волчьим билетом». 26 апреля его исключили из гимназии за то, что он не внес плату за обучение. Это был формальный повод. В конце 1905 года директор на запрос о бывшем ученике 8-го класса Корганове сообщал, что тот «весною принимал участие в беспорядках, происходивших в кутаисских учебных заведениях».

Директор не смог назвать еще чьи-либо фамилии, а попечитель учебного округа, характеризуя обстановку, слезно жаловался на большую трудность определить степень виновности каждого участника «беспорядков». Это он объяснял крепкой сплоченностью молодежи, поддержанной Имеретино-Мингрельским комитетом, не

замедлившим распространить печатную прокламацию, «в которой энергично восхваляет их мужество и геройство».

Сфера пропагандистской деятельности Комитета среди учащихся не ограничивалась кутаисскими учебными заведениями. «Люди, которые избрали учащуюся молодежь старших классов орудием для поддержания беспокойства в населении, — возмущался попечитель округа, — не перестают возбуждать ее не только в Кутаисе, но и в других местностях».

Инспектор народных училищ Кутаисской губернии сообщал в округ, что к требованиям, предъявленным «по-видимому, прочно организованным комитетом социал-демократической партии, при явном и нескрываемом сочувствии населения» в Сенакском уезде, относится и требование ввести преподавание грузинского языка во всех без исключения народных училищах.

26 января во время политической демонстрации в селе Диди Джихаиши несколько учеников, не замеченных стражниками и казаками, вбежали в сельское управление, в училище и аптеку и всюду поснимали портреты царя.

В начале февраля ученики Озургетского училища потребовали «убрать портреты царя из всех классных комнат». Сообщалось, что в Мариинском женском училище в Хони «неизвестно кем были сняты со стен портреты их императорских величеств и унесены бесследно».

То же самое происходило в селах Хидистави, Багдады, Басилеты. Министр народного просвещения Глазов в своем докладе министру внутренних дел о положении в средних школах отмечал, что на таких окраинах, как Кавказ, дело доходило до того, что учащиеся уничтожали портреты царя. Но не только в этом выражался протест учащихся. Молодежь присоединялась к политическим демонстрациям рабочих и крестьян и вместе с ними провозглашала лозунги: «Долой самодержавие!», «Да здравствует политическая свобода!»

Ученики Хонской ремесленной школы, отказавшись читать молитву за царя, заявили:

— Как мы можем молиться за царя, когда все мы и отцы наши считаем его своим врагом. Мы не можем желать победы над нашими родителями.

Через несколько дней в той же школе законоучитель, проводивший урок, вышел возмущенный из класса.

— С такими учениками, — сказал он, — заниматься не могу. Они заявляют, что царя не желают, что молиться за него нельзя, а наоборот, надо избавиться от него.

В Квирильском училище ученики, выставляя свои требования писали: «Мы, как чувствительная часть русского общества, дети народа, присоединяемся к движению, которое окончится сокрушением цепей».

Они требовали отменить всякие наказания в школе и произвол при посещении учителями квартир, отменить систему допросов, разрешить свободно собираться без учительского надзора, упразднить уроки «закона божьего» и увеличить число уроков родного языка.

Видя, что выступления учащихся приняли организованный характер, правительство начало прибегать к крайним мерам подавления революционной энергии молодежи. Директор народных училищ, сообщая попечителю учебного округа о прибытии новых войсковых частей, недвусмысленно заключил: «Можно надеяться, что с принятием более решительных мер школьная жизнь вступит в свою обычную колею». Так открыто ставился вопрос о применении вооруженной силы, однако учащиеся не хотели возвращаться в «обычную колею» и еще больше убеждались в том, что их главный враг — царское самодержавие.

Со жгучей ненавистью произносилось имя палача Алиханова. Часто распространялись слухи, что он убит.

Владимир Маяковский, по-видимому, вспоминая об этих слухах, пишет в автобиографии: «Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника — Исидор, от радости босой вскочил на плиту — убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии...»

В нараставшем движении гимназисты выступали организованно и сплоченно. Вынужденный признать полную солидарность между учебными заведениями, губернатор считал, что возбуждение с наибольшей силой проявляется в гимназии, реальном и первом городском училищах.

Кутаис и вся губерния 13 марта были объявлены на военном положении.

На входных дверях гимназии белым квадратиком выделялось объявление о том, что занятия возобновятся 15 марта. Начальство предупредило: не явившиеся в назначенный срок ученики будут считаться исключенными. Следовало внести плату за первое полугодие.

Не надеясь на вывешенное объявление, директор гимназии предложил родителям подать заявления о желании их детей продолжать учиться. Но 13-го числа поступило всего лишь 144 заявления. Плату за право учения внесли 112 учеников.

Директор высказывал опасения, что возобновление занятий будет вместе с тем «возобновлением беспорядков». И вот он раздумывает, «как освободиться от нежелательного элемента», а затем предлагает попечителю: если ученик пожелает внести плату за обучение, принимать ее только после решения педагогического совета, за которым остается право отказывать учащимся, «заведомо творящим бесчинства».

Переводные испытания предполагалось провести в гимназии в мае, с расчетом, что на экзамены придут лучшие ученики или, как выразился Чебиш, «дети порядка», а с остальными можно будет разделаться.

Кутаисский губернатор созвал в связи с этим совещание директоров учебных заведений. Но, кроме них, присутствовали: городской голова, уездный начальник и, что особенно знаменательно, командиры трех полков. Растерявшимся директорам было обещано выставить при учебных заведениях военную охрану. И все же, опасаясь усиления революционных настроений среди учащихся, власти объявили о прекращении занятий в учебных заведениях до особого распоряжения. Не разрешено было проводить в мае экзамены.

Попечитель не согласился с этим и предложил экзаменовать, но не по фактически пройденному курсу, а по программе. Вопрос дошел до министерства. Оно разрешило провести экзамены только в выпускном и приготовительном классах. Остальные ученики должны были заявить о своем желании держать экзамены в августе. Каждого, кто не обратится с таким заявлением или кто не будет допущен педагогическим советом, предлагалось исключить.

А пока что полиция с помощью директора гимназии принялась за осуществление своего плана выселения из Кутаиса учеников, родители которых жили в деревнях.

С теми, кто пожелал заниматься, возобновились уроки. Но в первый день в гимназию явилось только 167 учеников. Во втором классе половина парт пустовала. В третьем было пятнадцать человек, в старших классах — от двух до шести. Начальство тщетно пыталось

найти выход из тупика. Оно не закрывало гимназию, боясь, что ученики станут тогда хозяевами положения на улице. Но как только занятия возобновлялись, их снова прекращали, чтобы только не допускать сходок молодежи...

За второе полугодие отметки не были выставлены ни по одному предмету. Не было и средних годовых.

30 мая педагогический совет рассмотрел заявления учеников, пожелавших держать экзамены в августе. В числе их — Маяковский.

Перенесение срока экзаменов с мая на август хотя и считалось мерой воздействия на учащихся, но по существу показало бессилие и растерянность начальства гимназии.

Политическая атмосфера в губернии все более накалялась. Волнения охватили широкие слои рабочих, крестьян, служащих и учащейся молодежи.

Правительство пустилось на маневры. 9 июля кутаисский губернатор Смагин был отозван. На его место именным царским указом назначался старший агроном Главного управления землеустройства и земледелия на Кавказе коллежский советник Владимир Александрович Старосельский.

Что побудило наместника на Кавказе графа Воронцова-Дашкова сделать этот выбор?

«Чудесное превращение» агронома-новатора, пользовавшегося большой популярностью среди населения, в губернатора создавало по замыслу властей обманчивые иллюзии, отвечало политике заигрывания с либеральной буржуазией и со всеми теми, что мог грозить правительству... мирным сопротивлением.

Но царское правительство, как это выявилось позже, сильно просчиталось в выборе кандидата на пост губернатора.

В. А. Старосельский, уже после снятия его с этого поста, писал на страницах журнала «Былое»: «Я принял предложенный мне пост после больших колебаний и долгих переговоров, заручившись полным одобрением моей программы, изложенной не только в личных беседах с графом, но и в особой докладной записке... Мое назначение состоялось в начале июля, но, не имея об этом официального уведомления, я не вступал в должность до 1 августа».

На особую записку и политические требования

Старосельского до его назначения на должность губернатора не было обращено внимания, между тем выставленные им условия могли насторожить правительство. Он считал обязательным отмену военного положения в губернии, увольнение «агентов администрации, проявивших усердие в сфере произвола», прекращение арестов и высылки политических деятелей, восстановление в деревнях выборных судебных и административных организаций.

Под конец Старосельский требовал: «Власти будут проявлять полную терпимость к сходкам, митингам и демонстрациям, когда они не угрожают личной и имущественной безопасности обывателей (погромом). Действия жандармской полиции должны быть строго согласованы с действиями губернатора».

Уже с первых шагов на своем новом поприще В. А. Старосельский вступал в острые конфликты с жандармской полицией, в особенности по вопросу о допущении сходок, митингов и демонстраций.

Вспоминая в автобиографии о тех месяцах напряженной политической обстановки в Кутаисе, Маяковский писал: «...Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо...»

Летние каникулы Володя провел с родителями в Багдадах. Приехала и сестра, привезла и дала тайком прочесть Володе «длинные бумажки» — нелегально распространявшиеся в Москве листовки.

«Нравилось: очень рискованно, — вспоминал Маяковский. — Помню и сейчас. Первая:

Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
скорей брось винтовку на землю.

И еще какое-то, с окончанием:

...а не то путь иной —
к немцам с сыном, с женой и с мамашей...

(о царе).

Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединились в голове».

«Это было стихами». В этих словах ключ к пониманию того, как рано стихи стали для Маяковского не только формой выражения мыслей, но и существом его.

Первая «длинная бумажка» была популярной в то время агитационной песней «К солдату». Она отражала

стремление солдат к единению с рабочим классом в борьбе против самодержавия, их нежелание служить слепым орудием насилия над трудовым народом. Пять строф, заключающих эту песню-призыв, звучат так:

Постой же, товарищ! Опомнись-ка, брат!
Скорей брось винтовку и с нами
Восстань за свободу, и вместе пойдем
На бой, на кровавый, с врагами...
Так брось же винтовку и громко кричи:
«Нет, братья, солдат — не убийца!
Солдат уж проснулся и даст вам ключи
К покоям царя-кровопийцы!..»
Проснулась пехота, проснулся матрос.
Проснулась казацкая сила,
И грязный, отживший военный колосс
Уж жажда свободы сломила.
Постой-ка, товарищ! Опомнись-ка, брат!
Скорей брось винтовку на землю
И гласу рабочего внемли, солдат, —
Народному голосу внемли!
Честнее на улице в правом бою
Погибнуть за лучшую долю,
Чем там — на войне — в чужеземном краю
Нам пасть, защищая неволю!

Двенадцатилетнему Маяковскому не трудно было понять смысл и значение этого стихотворения-прокламации. Он не раз был свидетелем того, как власти натравливали солдат на участников революционных демонстраций, как грозили кровавой расправой. Маяковский знал и другое... Часто бегал он к солдатам Куринского полка, дружил с ними, слышал их разговоры и жалобы.

Другие приведенные Маяковским стихотворные строки прокламации — из сатирического стихотворения про царя Николая. Оно начиналось так:

Как у нас в городке
На Неве на реке
Ника.
Из себя вышел вон,
Ножкой топает он
Дико.
И кричит: «Ей-же-ей,
Им не дам, хоть убей,
Воли!
Будет все, как и встарь,
Аль я больше не царь,
Что ли?!»

Традиция русской сатирической поэзии, обличавшей

самодержавие, ярко выразилась еще в известном стихотворении Рылеева:

Ты скажи, говори,
Как в России цари
Правят.
Ты скажи поскорей,
Как в России царей
Давят...

Эту традицию развил А. К. Толстой. В свое время большой популярностью пользовалось его стихотворение, которое начиналось так:

У приказных ворот собирался народ
Густо;
Говорит в простоте, что в его животе
Пусто!..

Чувство юмора, с детства присущее Маяковскому, помогло ему разобраться в каждой мысли стихотворной листовки-пародии на царя Николая. К тому же ее наглядно поясняли смелые действия учащихся, снимавших и рвавших на куски портреты царя в школах.

Обе листовки, переписанные от руки, были восприняты Володей как недозволенная литература. Но еще до этого, в гимназии, он уже научился разбираться в «длинных бумажках».

Одна строка пригодилась ему в 1917 году. Маяковский написал к своему плакату стихотворение «Забывчивый Николай»:

«Уж сгною, скручу их уж я!» —
думал царь, раздавши ружья.
Да забыл он, между прочим,
что солдат рожден рабочим.

На лубке изображен красноармеец, занесший над головой царя приклад винтовки. На заднем плане — столб, на нем надпись: «Вон! Со свитой, с женой и мамашей!», повторяющая запавшие в память слова из листовки «...с сыном, с женой и с мамашей».

Кончились каникулы, о многом интересном и важном надо было рассказать друг другу на переменах, возвращаясь из гимназии домой. Тем, кто оставался летом в городе, особенно запечатлелся день 12 июня, когда от небольшого дома на Гегутской улице до городской заставы растянулась многотысячная толпа, провожавшая прах пламенного борца-революционера Александра Цу-

лукидзе. Похороны превратились в грандиозную политическую демонстрацию против самодержавия. Произносились речи, раздавались возгласы: «Долой самодержавие! Да здравствует социализм!»,

Царские сатрапы не осмелились стать на пути этой мощной волны народной скорби и гнева.

Впереди несли много венков. На красной ленте венка от кутаисских учениц были слова: «Дыханье пошлости тебе дышать мешало».

Не только кутаисские ученицы, все учащиеся, которые к тому дню еще не разъехались по деревням, почтили память Цулукидзе — участвовали в политической демонстрации.

Со многими неожиданностями столкнулись гимназисты после каникул.

В гимназии произошли новые перемещения учителей. Вслед за Джомарджидзе покинул гимназию Васильев. Все меньше оставалось в ней передовых педагогов, все меньше словесников, любящих свой предмет.

Директор, прося попечителя прислать хоть одного хорошего и опытного словесника, писал: «Юркевского ведь таким считать не могу».

За Юркевским укрепилась плохая слава. Он мог, явившись на урок в нетрезвом состоянии, наставить всем двоек и единиц, а потом так же быстро переправить отметки. Но однажды он выболтал экзаменационную тему по русской литературе — «Пушкин и его «Скупой рыцарь». Ученики, узнав учительский секрет, разошлись по домам и списали эту тему с широко распространенного тогда темника Рошаля. В результате на экзамене у всех получились одинаковые, как две капли воды, сочинения. Юркевский, когда пришлось давать оценку работам, оказался в безвыходном положении. Директор тоже не знал, как выйти из тупика. Пришлось обратиться за разъяснением в учебный округ. Оттуда пришло «мудрое» решение... «оценивать работы по орфографии и каллиграфии». Так и поступили.

И вот Юркевский остается, а Васильев уезжает! Его перевели в Тифлисскую 3-ю мужскую гимназию. В Кутаисе его место занял Яков Константинович Пустовойтов, окончивший Харьковский университет по отделению русской филологии.

Уже много лет спустя Всеволод Александрович Васильев, мысленно обращаясь к бывшим своим воспи-

танникам, писал: «Удачно или нет, судить не мне, но им я отдал свой первый опыт и любовь к делу. Вот почему я их помню, хотя прошло уже свыше сорока лет с тех пор, как я с ними расстался. Как мне хочется знать их личные судьбы. Маяковский и все его товарищи по классу стоят передо мною, как живые».

После отъезда Васильева из Кутаиса еще ощутимее стало в гимназии засилие учителей типа Юркевского, открыто называвшего себя «врагом революции и безбожия, жестоким противником попирателей нравственных начал».

Разглагольствования о нравственных началах не мешали Юркевскому появляться в гимназии в нетрезвом состоянии, избивать учеников, писать анонимки, доносить полиции...

Некий крупный полицейский чиновник на Кавказе, негодуя по поводу беспомощности «охранителей», отмечал, что на бульваре в Кутаисе «то и дело слышишь споры революционного характера», что обычным стало, когда многочисленная публика, собравшись где-либо, самым серьезным образом слушает оратора-студента, не обращая внимания на окружающее...

2 августа, на следующий день после вступления Старосельского на пост губернатора, военное положение в Кутаисской губернии было отменено. Воспользовавшись этим, гимназисты и реалисты перед началом учебного года потребовали разрешения на проведение сходки.

Новый губернатор, посовещавшись с директорами школ, дал свое согласие при условии, что на сходках не будет посторонних лиц. Однако в реальном, кроме учеников, выступали агитаторы. На другой день собрались гимназисты. Они выработали и предъявили директору требования:

Ученики, не внесшие в первом полугодии плату за обучение, экзаменуются, платя лишь десять рублей, и должны быть приняты в гимназию, если пожелают этого.

Второгодники, не выдержавшие экзаменов, не должны быть уволены.

Учительский персонал должен относиться к экзаменующимся справедливо и гуманно.

Промежутки между экзаменами установить не менее, чем в три дня, а перед письменным экзаменом по

русскому языку, устным по математике и географии должно быть дано для подготовки по четыре дня.

Экзаменовать учеников в присутствии их товарищей.

Вопросы задавать, в особенности по физике, главным образом из пройденного в течение года курса.

Освободить от экзамена по немецкому языку учеников из тех классов, в которых не изучали этот предмет из-за отсутствия преподавателя.

Предоставить учащимся возможность пользоваться актовым залом гимназии для обсуждения возникающих вопросов.

Не допускать присутствия в стенах гимназии военной или полицейской власти.

Последний пункт требования был продиктован жгучей ненавистью к полицейскому строю.

Ненависть эта приняла повсюду всеобщий характер, волной прокатилась по всей России. Заведующий полицией Трепов был вынужден 24 августа разослать из Петербурга директиву: «В случае возникновения беспорядков в стенах учебного заведения порядок подлежит водворению учебным начальством, и полиция отнюдь не должна входить в учебные заведения. При переходе же беспорядков на улицу таковые должны быть подавляемы самым решительным образом административными властями». Таким образом, для учинения кровавых расправ полиции полностью предоставлялась улица — главная арена революционной борьбы.

Педагогический совет Кутаисской гимназии выделил трех педагогов, с тем чтобы они вместе с представителями учащихся занялись подробным рассмотрением как предъявленных требований, так и других заявлений. Первое заседание комиссии было назначено на 22 августа. Результаты совместного обсуждения вопросов подлежали утверждению педагогическим советом.

Представителям учащихся обещали безнаказанность за высказываемые ими взгляды и предложили до принятия окончательных решений согласиться на проведение экзаменов по существующему расписанию.

По просьбе учеников экзамены с 21-го были перенесены на 22-е. Отложили экзамены в третьем классе.

В комиссию по обсуждению требований гимназистов вошли от педагогического совета — Сагарадзе, Пушкарев и Дгебуадзе. На совещание явились по три представителя от каждого класса, начиная с третьего,

хотя присутствие делегатов от третьего класса не предусматривалось педагогическим советом. Не было представителей только от седьмого класса. Председательствовал М. Сагарадзе.

Делегаты учащихся заявили, что в перечень требований забыли включить еще один пункт — об условном переводе. По их словам, это должно было означать следующее: ученик, имеющий по какому-либо предмету неудовлетворительные отметки и переводимый в следующий класс условно, обязывался пополнить знания, ликвидировать пробелы в течение полугодия. Если он не сдержит своего обещания, то согласен, чтобы вопрос о его дальнейшем учении был решен таким же собранием педагогов и учащихся или товарищеским судом.

За условный перевод высказались шестнадцать делегатов. Восемь подняли вопрос о повторных экзаменах, но потом заявили, что подчиняются мнению большинства. Ученики согласились снять второй и седьмой пункты своих требований — о второгодниках и об экзаменах по немецкому языку.

Педагогический совет, обсудив результаты переговоров, в основном принял условия учащихся и постановил продолжать экзамены с таким расчетом, чтобы закончить их не позднее 20 сентября.

Владимир Маяковский участвовал в сходке по выработке требований и, хотя вторые классы не выделили делегатов для переговоров, живо интересовался решением выдвинутых вопросов.

В. А. Васильев, который до отъезда своего из Кутаиса наблюдал за быстрым развитием Маяковского и пробуждением у него общественных интересов, вспоминает такой эпизод: «В верхнем этаже шла сходка учащихся старших классов. Младшие гимназисты, хотя и у них не было уроков, находились в классных помещениях. Я спускался по лестнице с верхнего этажа и, когда стал подходить ко 2-му классу, где состоял классным наставником, увидел, что все мои ученики сидят за партами, лишь двое-трое, выбежав из класса, стали у двери и порываются идти на сходку, хотя сами гимназисты старших классов рекомендовали младшим товарищам не присутствовать на сходке. Среди этих учеников был и Маяковский. Он не видел меня, а я наблюдал за н о в ы м Маяковским, которого еще не знал.

Всегда сдержанный, самоуглубленный, спокойный, Володя предстал передо мною иным. С горящими глазами, он то порывался идти на верхний этаж, то вновь возвращался к двери класса. Порывистость движений, взволнованный вид — таким я его еще не знал. Казалось, он никого и ничего не замечает вокруг себя. Я продолжал молча с интересом наблюдать за ним. Через минуту-две он вдруг отошел от двери и, все ускоряя шаги, побежал по лестнице на верхний этаж, на сходку старших учеников. Следом за ним побежали стоявшие у двери его товарищи, а минут через пять почти все второклассники были на сходке».

Летучие собрания проводились и вне стен гимназии — на берегу Риона или на Габаевской горе. На этих сходках присутствовали делегаты и от младших классов, но только по одному от класса. Им поручалось держать своих товарищей в курсе обсуждающихся вопросов.

В то время сходки уже стали обычным явлением.

Оля Маяковская писала сестре, учившейся в Москве: «Сегодня у нас сходка по тому поводу, чтобы сбавили нам прибавленные десять рублей. Я, конечно, первая согласилась подать требование. Сегодня я все утро с Коргановыми ходила по домам собирать на сходку. Я маме сказала, что иду на сходку, и мама разрешила, это очень приятно».

После сходок брат и сестра обменивались дома новостями, рассказывали обо всем матери. В семье часто велись разговоры о гимназической жизни, и Александра Алексеевна сочувственно относилась к появлению у Володи и Оли новых интересов.

«Многие из окружающих нас людей, — пишет А. А. Маяковская, — считали, что мы предоставляем слишком много свободы и самостоятельности Володе в его возрасте. Я же, видя, что он развивается в соответствии с запросами и требованиями времени, сочувствовала этому и поощряла его стремления».

Гимназисты пошли на экзамены после того, как их требования были удовлетворены.

Переводные испытания Маяковский держал по восьми предметам. По русскому языку, математике, естествознанию и немецкому языку он получил тройки. По истории, географии и французскому языку — четверки. Письменную работу по математике написал на два с плюсом.

Учитель русского языка выбрал для диктанта небольшой текст — «Два плуга» К. Д. Ушинского в пересказанном и сокращенном виде.

Володя положил перед собой чуть наискось экзаменационный лист, в верхнем левом углу которого четко выделялась круглая гимназическая печать, и написал, начиная от самой печати, первую строку:

*Владимир Маяковский, ученик $2^2$ класса.*

На полях против этой строки пометил: *22 августа.* И продолжал писать:

*Из одного и того же куска железа было сделано два плуга, из которых один попал в руки земледельца, а другой долго и бесполезно провалялся в лавке купца. Случилось так, что через несколько времени оба плуга опять встретились. Плуг, который был у земледельца, блестел, как серебро. А тот плуг, который пролежал без дела, потемнел и покрылся ржавчиною. Заржавевший плуг спросил у своего знакомца, почему он так блестит. «От труда, мой милый», отвечал тот.*

Перечитывая написанное, Маяковский повторил на полях «ит», для уточнения зачеркнутых в слове «блестит» букв.

Просмотрев эту работу и подчеркнув в ней ошибки, инспектор Харламов поставил 2, учитель русского языка Юркевский — 3 с минусом, секретарь педагогического совета Ушаков — 2. Экзаменатор Юркевский замещал Пустовойтова, не успевшего к тому времени прибыть в Кутаис.

Какие же ошибки были допущены Маяковским в экзаменационной работе? Четыре буквенные (в трех случаях «е» вместо «ять»), шесть — в расстановке знаков препинания. В довершение — «и того же» написано слитно.

Снижение своих отметок в 1905 году по русскому языку и по остальным предметам Маяковский объяснил кратко:

— Не до учения.

Явление это было общее.

В аттестационном журнале возле фамилии «Маяковский» отмечено: «Переведен». Он перешел в третий класс. Зачислили опять в параллельный. Классным наставником здесь будет директор.

# ГЛАВА ПЯТАЯ

## ДЕКАБРЬСКИЕ ДНИ.
## СМЕРТЬ ОТЦА.
## ПРОЩАНИЕ С КУТАИСОМ

Начало учебного года ознаменовалось в Кутаисе всеобщей забастовкой.

Не сданные гимназистами экзамены были отложены.

Директор гимназии обратился в учебный округ с просьбой о переводе его в другой город. Он слезно жаловался: «Пока я за свое добросовестное отношение к делу заслужил название «цербера царского правительства».

Учащиеся разошлись с директором в понимании добросовестности.

Занятия часто прерывались. 3 октября уже был дан звонок к первым урокам, и учителя направились в классы, но за партами никого не оказалось. Исключение составляли первые и вторые классы. Ученики остальных классов собрались в нижнем коридоре и что-то горячо обсуждали. Потом замолкли. Один из учеников 8-го класса подошел к директору и от имени товарищей попросил разрешить собраться в актовом зале, обсудить волнующие их вопросы.

— Вы уже и так много потеряли времени на разговоры, — раздраженно ответил директор, — лучше поскорее приступить к занятиям.

Ученики обступили его и настойчиво требовали разрешить собраться в актовом зале. Чебиш пошел на уступку.

После продолжительного совещания в половине пер-

вого ученики вручили директору резолюцию: «...Не видя никаких обстоятельств, могущих заставить нас отступиться от наших требований, остаемся на прежней позиции и, категорически настаивая на своем, прекращаем занятия впредь до удовлетворения предъявленных требований».

Наиболее спорным был вопрос о второгодниках, потому что педагогический совет отступился от решения, принятого 21—22 августа.

Вручив резолюцию, ученики покинули гимназию.

На следующий день, во время первого урока, было объявлено по классам о решении педагогического совета: желающие заниматься — остаются в классах, остальные могут уйти.

Занятия состоялись только в первом классе. В нижнем коридоре началось обсуждение злободневных вопросов. Потом ученики обратились к директору с просьбой предоставить им актовый зал. И в этот раз Чебишу пришлось открыть двери.

Гимназисты пошли совещаться. Прошло немного времени, и они заявили, что ждут выполнения своих требований, в противном случае будут бастовать.

— Но вы уже знаете об ответе педагогического совета, — отвечает им Чебиш.

Учащиеся настаивают на своем. С пением «Марсельезы» они организованно выходят на улицу.

6 октября пришло очень мало учеников. В седьмых и шестых классах было по два-три человека. В пятом основном стоял такой шум, что уроки срывались. В параллельном вовсе не приступали к занятию. В четвертом ученики заявили, что заниматься не будут. В третьем основном урок был прерван на половине. В параллельном классе все ученики, и вместе с ними Маяковский, отказались от занятий. Во вторых классах запели революционную песню. Кто-то из учеников крикнул:

«Долой бюрократию, она разваливается!»

Только в восьмом классе шли занятия.

В этот день инициатива перешла к «младшим».

После первого урока многие гимназисты собрались в верхнем коридоре, потом спустились вниз. Войдя к директору, они заявили, что требуют отслужить в гимназии панихиду по Трубецкому и по тифлисским рабочим, расстрелянным 29 августа полицией в помещении городской управы.

О «тифлисской бойне» В. И. Ленин упоминает в статье «Кровавые дни в Москве».

Об этом же событии говорится в обращении Московского комитета РСДРП к учащимся с призывом включиться в активную борьбу против самодержавия.

После короткого обмена мнениями члены педагогического совета, опасаясь новых демонстраций, признали «наилучшим исходом из данного крайне тяжелого положения удовлетворить требования учеников».

Вначале директор дал согласие на панихиду только по Трубецкому, ректору Московского университета, а потом и по убитым в Тифлисе рабочим.

Ученики обещали соблюдать порядок, но то, что действительно являлось революционным порядком, начальство гимназии и власти называли «беспорядком».

Такой «беспорядок» был устроен в гимназической церкви, как только окончилась панихида. Ученики громко запели «Вы жертвою пали», затем «Марсельезу». Когда расходились, пели то же на лестнице и в коридоре. В связи с этим педагогический совет решил временно прекратить занятия.

В тот день Оля сообщала сестре со слов Володи:

«Сегодня у гимназистов должен быть молебен перед учением, а они заставили служить панихиду по убитым в Тифлисе».

Сам Маяковский писал сестре в Москву:

«...У нас была пятидневная забастовка, а после была гимназия закрыта четыре дня, так как мы пели в церкви Марсельезу. В Кутаисе 15-го ожидаются беспорядки, потому что будет набор новобранцев.

11-го здесь была забастовка поваров...»

Видимо, из того же источника — в письме Оли:

«Говорят, что с 15-го начнутся здесь беспорядки, потому что будет набор солдат».

Рабочие вооружались. Власти были встревожены тем, что революционные массы, руководимые партийным комитетом, запасаются оружием, и боялись, что вооруженное выступление будет приурочено ими ко времени призыва новобранцев.

Наместник Кавказа в беседе с корреспондентом парижской газеты «Journal» назвал три очага волнений — Баку, Кутаис и Елизаветполь и заявил: «15-е октября будет критическим днем. 15-го начнется призыв новобранцев, и тогда-то в полноте должны выясниться результа-

ты преступной агитации». Опасаясь революционных выступлений, власти перебросили в Кутаис Куринский батальон, а еще до этого, в сентябре, — два батальона 78-го пехотного Навагинского полка, три батальона 155-го пехотного Кубанского полка и первую Терскую казачью батарею.

Бакинская газета напечатала сообщение из Кутаиса о том, что «скоро ожидается набор новобранцев и вслед за ним серьезные беспорядки, ибо крестьяне не хотят отдавать своих сыновей, по их выражению, «на убой». Со страхом ждут Алиханова».

Судя по письмам Оли и Володи и разным сообщениям, слухи, связанные с предстоящим призывом новобранцев, были широко распространены.

В эти дни Чебиш выехал в Тифлис докладывать попечителю учебного округа о недавних событиях. Но Завадский находился в Баку в связи с происходившими там в учебных заведениях волнениями. Чебиша принял Лопатинский. Вернувшись 9 октября в Кутаис, директор собрал всех членов педагогического совета и сообщил им о результатах своей поездки. На совете высказывались предположения, что учащиеся опасаются закрытия гимназии. Решено было выжидать.

10 октября гимназисты стали собираться небольшими группами, хотя объявление о временном прекращении занятий еще висело на дверях. Они хотели провести сходку, но ввиду малочисленности собравшихся сходка не состоялась. На другой день пришли все. Посовещавшись, дали согласие заниматься, не выставляя новых требований.

Директор поспешил сообщить в округ, что «в данную минуту, кажется, как будто наступило спокойствие». Вместе с тем из осторожности он писал, что не питает никаких иллюзий насчет обещаний учеников.

И в следующие дни занятия протекали нормально во всех классах. Но вот наступает пятнадцатое число, с такой тревогой ожидаемое властями.

Во время второго урока к зданию гимназии подошла большая группа учеников реального училища. Реалисты знаками вызывали своих товарищей. Директор поспешил выйти на улицу, но это не произвело никакого впечатления. После урока все гимназисты стали расходиться, заявив, что заниматься не будут, потому что в городе всеобщая забастовка.

Директор сейчас же сел писать очередное донесение. Он высказал уверенность, «что все учащиеся сговорились насчет прекращения занятий».

Учебные заведения города проявили в этот день большую сплоченность.

Революционные волны в стране нарастали. Своим примером русский пролетариат вдохновлял на борьбу с царизмом трудящиеся массы всех национальностей.

Всероссийская стачка железнодорожников охватила почти все дороги. К ней присоединились и железнодорожники Закавказья — движение поездов было прервано.

Чебиш так и не успел отправить свой рапорт. Послал телеграмму: «В субботу после второго урока ученики без шума ушли. Сегодня явились 79 младших. В городе общая забастовка. Сообщения не было. На почте приема нет».

Маяковский не входил в число «79». Он уже считался «старшим». 19 октября на занятия явились только пять учеников. 24 октября уроки возобновились во всех классах, но потом снова жизнь в гимназии замерла. Забастовка в городе продолжалась, происходили вооруженные столкновения рабочих с полицией.

Учащиеся были на стороне революции.

Письма Володи и Оли о событиях этих дней почти одинаковы по содержанию.

Володя писал:

«Пока в Кутаисе ничего страшного не было, хотя гимназия и реальное забастовали. Да и было зачем бастовать: на гимназию были направлены пушки, а в реальном сделали еще лучше. Пушки поставили во двор, сказав, что при первом возгласе камня не оставят на камне.

...Кутаис тоже вооружается, по улицам только и слышны звуки Марсельезы».

О том же писала Оля:

«Здесь гимназисты и реалисты бастуют до тех пор, пока не снимут военное положение. Представь, до чего озверела полиция. В старом здании реального училища «на всякий случай» стоят пушки. Поневоле им приходится бастовать, да я думаю, что и из родных никто не пустит своих детей. У нас была целую неделю забастовка».

Так, разными словами, но с одинаковым отношением

к фактам, описывают и объясняют события брат и сестра.

В их письмах говорится о народной ненависти к угнетателям, к царским приспешникам.

Володя: «Первая победа над царскими башибузуками была одержана в Гурии, этих собак там было убито около двухсот».

Оля: «У нас в Кутаисе полицейских и шпионов, как собак, душат. Позавчера ранили двух полицейских и одного пристава».

И Володя и Оля задают сестре один и тот же вопрос: «Есть ли у вас занятия?» (Володя), «Как идут ваши занятия?» (Оля). Они понимают, что кутаисские события не изолированное явление, что это часть борьбы, которая ведется по всей России, в особенности в Москве и Петербурге.

Маяковский зачитывался газетами и внимательно следил за политическими событиями. «По газетам видно,— пишет Володя, — что и у вас большие беспорядки».

События следовали за событиями.

27 октября с утра распространились слухи о новом кровавом побоище в Тифлисе, о разгроме Первой мужской гимназии. Это известие было воспринято тем более остро, что и Кутаис находился под угрозой военной расправы.

С введением в губернии военного положения Кутаис был разделен на три участка: Нагорный, Центральный и Заречный. Нагорный находился в подчинении командира 1-го Хоперского полка, Центральный — командира Куринского полка и Заречный — в подчинении командира Потийского полка.

Правительство жестоко подавляло выступления рабочих, а также учащихся. Это показали тифлисские события. Но воля молодежи к борьбе не была сломлена. Молодежь страстно вчитывалась в страницы нелегальной литературы, из большевистских листовок узнавала она, что во многих городах России «идут митинги рабочих вместе с учащимися».

Участь тифлисских товарищей продолжала волновать школьников Кутаиса. 27 октября, в начале большой перемены, к гимназии подошли реалисты. Стали приходить родители за своими детьми, и это еще более усилило тревожное настроение. В старших классах состоялась сходка, после чего все ученики покинули гимна-

зию. Спускаясь по лестнице, пели похоронный марш.

Многим уже были известны подробности тифлисского побоища. Описывали такую картину: черносотенцы-манифестанты, выйдя за ограду церкви с образами и портретами царя, двинулись к Головинскому проспекту; впереди ехали драгуны, по бокам — казаки, замыкали шествие пехотинцы. Приблизившись к мужской гимназии, «квасные» патриоты набросились на группу гимназистов, требуя снять фуражки и принять участие в манифестации, но получили отказ. Погромщики стали преследовать гимназистов, пытавшихся скрыться в помещении. Раздался выстрел по бегущим, а затем началось кровавое побоище. Оно продолжалось более двух часов. Стреляли как на улице, так и в здании гимназии. Было убито 6 гимназистов и 3 воспитателя. Невинной жертвой погромщиков стал даже восьмилетний мальчик. Побоище распространилось и на другие улицы и части города. Убитые насчитывались десятками. В знак траура по ним рабочие объявили забастовку.

В эти дни в Кутаисе стало известно о царском манифесте, но многим уже была ясна подлинная цена «дарованных» этим манифестом «свобод».

Много лет спустя Маяковский напишет:

Царя вспоминаю —
    и меркнут слова.
Дух займет,
    и если просто «главный».
А царь —
    не просто
        всему глава,
а даже —
    двуглавный.
Он сидел
    в коронном ореоле,
царь людей и птиц...
    — вот это чин! —
и как полагается
    в орлиной роли,
клюв и коготь
    на живье точил.
Точит
    да косит глаза грозны́!
Повелитель
    жизни и казны.
И свистели
    в каждом
    онемевшем месте
плетищи
    царевых манифестин.

В субботу, 29 октября, занятия в гимназии прекратились ввиду «слишком большого возбуждения, охватившего учащихся».

Реалисты боялись собираться в своем училище, потому что во дворе, как бы в осуществление царского манифеста, были поставлены пушки и размещены казаки. Тогда гимназисты и реалисты решили для обсуждения тифлисских событий собраться вместе в актовом зале гимназии. Директор не решился воспротивиться этому и только взял слово, что в зал никто из посторонних не будет допущен. Однако вместе с учащимися разных учебных заведений пришли и «посторонние».

В понедельник на первых уроках присутствовало 115 гимназистов. Ученики третьих классов, и с ними Маяковский, явились без книг.

Директор распустил всех, потому что в городе ожидались демонстрации. Общегородское совещание учителей, назначенное на этот день, не состоялось.

На дверях гимназии (уже в которой раз!) появилось объявление о том, что занятия прекращаются.

«Ввиду возбужденного настроения учащихся, вызванного событиями в 1-й Тифлисской гимназии», педагогический совет Кутаисской гимназии постановил приостановить занятия «впредь до особого извещения».

Велико было возмущение и негодование учащихся, безмерна была их скорбь в связи с тифлисскими событиями.

Желая расположить к себе гимназистов, педагогический совет решает отслужить панихиду по убитым в Тифлисе школьникам. Но, как бы в насмешку, служба в церкви поручается законоучителю Тугаринову, известному своими погромными речами.

Не удовлетворившись панихидой, гимназисты потребовали открыть для сходки актовый зал. Чебиш, заметив посторонних, отказался дать ключ. Воспользовавшись тем, что во время переговоров все вышли из церкви, он распорядился запереть незаметно ее двери. Но учащиеся и не собирались возвращаться в церковь. Они столпились на площадке перед закрытым «храмом божьим» и с вниманием слушали речи агитаторов.

Никто из учителей не решился вмешаться.

Выслушав речи, ученики стройно запели «Вы жертвою пали» и вышли на улицу.

Подводя итоги, директор пишет в рапорте: «За по-

следние дни я убедился, что большинство наших учеников совсем загипнотизировано агитаторами». Чтобы ослабить влияние агитации, он предложил гимназистам принять участие в составлении телеграммы, посылаемой Тифлисской гимназии педагогическим советом. Гимназисты дали свое согласие включить в телеграмму «и учащиеся» и выработали окончательный текст:

«Тифлис. Директору 1-й классической гимназии. Учащие и учащиеся Кутаисской гимназии, отслужив панихиду по воспитанникам тифлисских учебных заведений, павшим жертвой возмутительного насилия, выражают свое глубокое соболезнование столь ужасно пострадавшей 1-й гимназии и негодование против всех содействовавших этим насилиям».

Волна возмущения охватила учебные заведения Кутаиса. 8 ноября состоялось общее собрание педагогов города, которое постановило: «За индифферентное, а следовательно, преступное отношение попечителя Кавказского учебного округа г. Завадского к событиям 22 октября сего года в гор. Тифлисе и за деятельность предыдущих лет выразить ему свое презрение». Эта резолюция способствовала единению и сплочению учащихся не только Кутаиса, но и всего Закавказья в борьбе против реакции.

Володя Маяковский пишет сестре:

«Новая «блестящая победа» была совершена казаками в городе Тифлисе. Там шла процессия с портретом Николая и приказала гимназистам снять шапки. На несогласие гимназистов казаки ответили пулями. Два дня продолжалось это избиение».

Представив себе страшную картину побоища, Володя был потрясен ею и не пропускал ни одной демонстрации протеста.

Каждое новое преступление реакции вызывало среди рабочих и учащихся всей страны мощный взрыв гнева и возмущения.

Злодейское убийство Николая Эрнестовича Баумана подняло на ноги всех рабочих Москвы, взволновало учащуюся молодежь. 19-го октября попечительский совет Московского учебного округа обсудил вопросы, связанные с волнениями в учебных заведениях. Профессор В. Ф. Миллер, выступая на чрезвычайном заседании попечительского совета, указал «на настроение, в котором находились последнее время ученики, — они ходи-

ли за толпами с красными флагами, а завтра, 20 числа, будут участвовать на похоронах Баумана». Профессор не ошибся в своем предположении. На другой день вся рабочая Москва провожала в последний путь своего любимого сына. К рабочим колоннам присоединились многочисленные группы революционно настроенной интеллигенции, служащих, студентов и школьников.

Когда в Кутаисе стало известно об убийстве Баумана, рабочие и учащиеся устроили крупную демонстрацию на улицах города, закончившуюся столкновением с полицией.

Владимир Маяковский находился среди демонстрантов. Об этом он пишет в автобиографии: «...при панике (может, разгоне) в демонстрацию памяти Баумана мне (упавшему) попало большущим барабанищем по голове...»

В те дни демонстрации в Кутаисе проходили под общими лозунгами борьбы с самодержавием. Протесты в связи с убийством Баумана и побоищем в тифлисской гимназии сливались в один возглас негодования.

29 октября «Кутаисские губернские ведомости» опубликовали царский манифест. В том же номере газеты — обращение наместника к населению, предупреждавшее, что «свобода собраний и союзов не означает права каждого устраивать по своему произволу сходку и собрания, смущающие мирную жизнь других».

Население города все более убеждалось в подлинном смысле обещанных царем гражданских свобод.

Видя полный провал «манифеста», царские приспешники прибегли к уловкам, стали доказывать, что поскольку гражданские свободы уже даны свыше, то уличные демонстрации рабочих теряют смысл. Но трудящиеся массы не дали себя обмануть, они понимали роль и значение своих организованных выступлений.

«Кутаисские губернские ведомости» вынуждены были признать, что «обнародование манифеста 17-го октября, к сожалению, не привело покуда страну к состоянию успокоения и умиротворения». Затем газета с раздражением ополчилась против родителей, не желавших остановить детей в их «увлечении отвлеченными идеями».

Последующие события показали, в чем выражались эти якобы отвлеченные идеи.

10 ноября директор гимназии, уступая настойчивым

требованиям, разрешил учащимся, начиная уже с третьего класса, собраться на сходку.

Гимназисты обсудили вопрос о пересмотре старых программ. Они потребовали, чтобы им читали лекции на интересующие их темы или, как выразился директор Чебиш, на темы, «связанные с настоящим политическим положением дел».

Такую же резолюцию приняла общегородская сходка учащихся, проведенная на другой день во дворе реального училища.

Требование о лекциях ошеломило директора, и он, жалуясь попечителю, объясняет иронически: «...Но эти лекции им должны читать не преподаватели-бюрократы, которым они не доверяют, а лица, достойные их доверия, которых они сами изберут». В том же рапорте Чебиш показал такую свою осведомленность, которой могли бы позавидовать власти. «У них, — продолжает он, — уже теперь есть «кружки», в которых они занимаются этими науками под руководством таких лиц по частным квартирам. Теперь они пожелают перенести эти занятия в гимназию. Что тут делать?»

Никто, конечно, и не собирался проводить занятия кружков в самой гимназии. Это только помогло бы властям расправиться с пропагандистами и учащимися. Но требование свое о лекционной пропаганде гимназисты и реалисты все-таки отстаивали.

Еще в 1902 году В. И. Ленин поставил перед учащейся молодежью задачу: стараться «сделать главной целью своей организации самообразование, выработку из себя убежденных, стойких и выдержанных социал-демократов». При этом В. И. Ленин советовал в тогдашних условиях отделять «возможно более строго эту крайне важную и необходимую подготовительную работу от непосредственной практической деятельности» и стараться завязывать самые тесные и самые конспиративные сношения с партийными организациями.

В водовороте событий молодежь жадно тянулась к политическим и общественным знаниям. Вне стен гимназии работали тайные марксистские кружки.

В один из таких кружков, составившийся из учениц женской гимназии, вступила Оля Маяковская. Руководил кружком пропагандист местной социал-демократической организации, выбывший, а фактически исключенный, из гимназии Григорий Корганов.

«Он все объясняет хорошо и понятно, — делилась Оля с сестрой своими впечатлениями. — Сейчас мы проходим «Труд и капитал», а потом будем разбирать «Экономические беседы» Карышева». К великой радости Оли, мать ничего не имела против ее вступления в кружок.

Перечислив в письме приобретенные книги, Оля заключает: «Подобных книг купил себе и Володя десять штук».

Об атмосфере тех дней, о речах агитаторов на сходках, о газетах и книгах, прочитанных запоем, очень сжато рассказывает сам Маяковский:

«Речи, газеты. Из всего — незнакомые понятия и слова. Требую у себя объяснений. В окнах белые книжицы. «Буревестник». Про то же. Покупаю все. Вставал в шесть утра. Читал запоем. Первая: «Долой социал-демократов». Вторая: «Экономические беседы». На всю жизнь поразила способность социалистов распутывать факты, систематизировать мир. «Что читать?» — кажется, Рубакина. Перечел советуемое. Многое не понимаю. Спрашиваю...»

Первая прочитанная Маяковским политическая книга: «Долой социал-демократов!» Бракке разоблачала буржуазную клевету на рабочее движение и излагала социал-демократические идеи. Она отвечала на составленные по ней же поверочные вопросы для марксистских кружков:

Правда ли, что социал-демократы хотят поделить всю землю? Кто работает и кто не работает? Правильные ли теперь порядки? Каких порядков хотят социал-демократы? За кого борются? Что такое социализм? Откуда берется собственность? Кем она создается и кто ею пользуется? Почему рабочие борются против капитала? Как будет устроено производство при социализме? Что хотят социал-демократы сделать с частной собственностью? Каким путем капиталистический строй идет неизбежно к своей гибели? Станет ли лучше жизнь при социализме и почему? Как смотрят социал-демократы на брак? Правда ли, что социал-демократы борются за интересы всего народа? Каким образом борются социал-демократы? Чьи враги социал-демократы? Кто с ними борется и на них клевещет?

Вторая книжка — Карышева, тоже для кружков.

Среди приобретенных Маяковским в революционные

дни 1905 года брошюр была книжка, озаглавленная «Буржуазия, пролетариат и коммунизм». Это — «Коммунистический манифест» Маркса и Энгельса, выпущенный с предисловием Плеханова. В то время были и другие издания «Манифеста», тоже под измененными заголовками: «О коммунизме», «Капитализм и коммунизм», «Философия истории», «Общественные классы и коммунизм».

Политические брошюры выпускали разные издательства, в том числе упомянутое Маяковским издательство «Буревестник». Книжки делились по степени своей доступности на самые простые, средней трудности, трудные и очень трудные. Из брошюр составлялись библиотечки. Особо была выделена серия лекций и рефератов по вопросам программы и тактики социал-демократии. Брошюры буквально наводнили город. Брали их нарасхват.

Покупая и читая книжки, которые выставлялись на витрине книжного магазина и относились к политической жизни, Маяковский столкнулся с серьезными затруднениями. Многое, естественно, не могло быть понято двенадцатилетним, хотя и не по годам развитым мальчиком.

Его друг и одноклассник Виктор Демьянович со всей искренностью пишет о себе: «Мое развитие того времени не позволяло мне видеть в бурях революции их глубокого социального значения. Преобладал чисто внешний, ребяческий интерес к менявшимся, как в калейдоскопе, ситуациям. Привлекали шум, неопределенность, опасность, сумятица, новизна».

О том же иными словами в автобиографии Маяковского: «Воспринимаю живописно: в черном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты». Много еще было и ребяческого: «Фигурой нравился Лассаль. Должно быть, оттого, что без бороды. Моложавей. Лассаль у меня перепутался с Демосфеном. Хожу на Рион. Говорю речи, набрав камни в рот».

Но и при этом ребячестве на все требовались ответы, и Володя Маяковский добивался их настойчиво и упорно. Он обращался за разъяснением прочитанного и непонятного к взрослым и к старшим товарищам по гимназии. Они-то и обратили внимание на любознательного мальчика, увлеченного революционными событиями, и ввели его в один из марксистских кружков.

«Вспоминаю, — пишет Х. Н. Ставраков, — тайное собрание учащихся, на которое мы пробирались поздно вечером. В комнате сидели полукругом на полу, чтобы нас не видели с улицы. Агитатор большевик вел с нами беседу. На этом собрании был и Владимир Маяковский. Ему нравилась эта конспирация».

Сам Маяковский пишет о первом занятии так: «Меня ввели в марксистский кружок. Попал на «Эрфуртскую». Середина. О «лумпенпролетариате».

Даже самая сжатая программа кружка содержала введение — о сущности переживаемой революции, ее причинах, историческом ходе событий, борьбе классов в революционный период, роли пролетариата как гегемона революции. Затем следовали анализ капиталистического строя, разделы — социальная революция и социализм, политические требования социал-демократов, экономическая борьба, аграрная программа. Давалась оценка различным партиям, излагалась история революционного движения в России, история рабочего движения и социал-демократии. Последний раздел программы занятий посвящался организации партии, ее роли в данный момент, ближайшим задачам.

Во многих кружках занятия проводились по программам, выработанным самими пропагандистами. Бывало, после вступительной теоретической части завязывалась оживленная беседа, разбирали отдельные события, конкретную действительность.

В кружках того времени молодые люди приобретали вместе с политическими знаниями первые навыки революционной конспирации.

Маяковский был младше своих товарищей по кружку, но уже приобщился к различным проявлениям политической жизни — бывал на сходках, митингах, демонстрациях. Часто с согласия матери ходил с сестрой в театр — слушать речи. Однажды они попали на лекцию «Что такое политическая свобода».

Многое из того, что слышал Володя на сходках и митингах, на занятиях кружка, было для него еще неясным, но он понимал общие цели и задачи, и поэтому в его автобиографии сказано: «Стал считать себя социал-демократом: стащил отцовские берданки в эсдечий комитет».

В те дни местная газета несколько раз помещала приказ о запрещении ношения и хранения без особого

разрешения огнестрельного оружия и боеприпасов. Приказ этот менее всего относился к учащейся молодежи, — редко у кого-либо из гимназистов старших классов можно было увидеть выброшенный кем-то изношенный однозарядный пистолетик системы «монтекристо» или старенький «дамский» бульдог с барабаном и коротким дулом, но разговоров об оружии было много, в особенности во время игр на берегу Риона. «Не последнее место занимали, — вспоминает Демьянович, — рассказы об умении владеть оружием. Разрезать воду шашкой, не вызвав брызг, или срубить чистым срезом верхушку гибкой тростинки — было пределом мечтаний».

Решение снести берданки, которыми пользовались во время объездов лесничества, Володя Маяковский принял не из ребяческой удали и уж, конечно, не из опасений, вызванных приказом властей, — он безусловно слышал, что народ вооружается, и знал, как дорог каждый боевой ствол для дела революции. Одно то, что двенадцатилетний мальчик узнал, где находится большевистский комитет, и сумел снести туда берданки, а сделать это можно было только с соблюдением конспирации, говорит, что гимназисту, юному члену марксистского кружка, доверяли, могли положиться на его личное мужество.

События между тем разворачивались с такой быстротой, что директору гимназии приходилось принимать решения самому, не дожидаясь указаний из округа, и вопрос: «Что тут делать?», задаваемый им попечителю, повисал в воздухе.

И вовсе растерялся Чебиш, увидев объявление, вывешенное на дверях учениками. На листке бумаги крупным размашистым почерком было написано:

«ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мы, учащиеся кутаисских учебных заведений, просим общество собраться в понедельник, к 5 ч. вечера, в здании мужской гимназии для выбора комиссии по поводу предполагаемого обновления программ во всех учебных заведениях».

Директор приказал снять объявление (оно было затем подшито к «делу об ученических беспорядках») и вызвать представителей учащихся. Никто к нему не пришел, а на дверях появилось новое объявление. Учащие-

ся заявили педагогическому совету, что, если и оно будет снято, они предпримут другие шаги.

«Что делать с таким насилием? Какие тут могут быть надежды на занятия?» — патетически вопрошает директор в своем очередном рапорте попечителю учебного округа.

Постановление общего собрания учащихся по вопросу об изменении программ директор получил 16 ноября. Гимназисты требовали: расширения курса новейшей литературы и исключения из учебного плана церковнославянского и греческого языков, преподавания родного языка во всех классах, введения, как обязательного предмета, гимнастики. Они согласились до выработки новых программ заниматься по старым.

Наряду с обсуждением вопроса об изменении программ педагогический совет занялся выработкой системы оценки познаний учеников. В принципе он признал желательным заменить отметки характеристиками, но опасался, что эта мера может быть истолкована учениками «как новая уступка их требованиям, что еще более уронило бы авторитет педагогического совета».

17 ноября на очередном заседании педагогического совета было решено ограничиться при оценке знаний учеников отметками 2, 3 и 4. При этом совет признал, что авторитет его утрачен.

На другой день ученики третьих и шестых классов отказались заниматься изучением латинского языка. Ученики 7-го класса не пожелали идти на урок и выразили желание «заниматься философией».

Старый латинист Чебиш был задет за живое. Еще за несколько дней до этого он писал попечителю, что обновление программ «учащиеся понимают (конечно, это диктуют агитаторы) как изгнание древних языков и замену их философией и социальными науками».

Вопрос о выработке новых программ поднят был по всей стране под воздействием революционных событий. Кутаисское отделение Всероссийского союза учителей предложило педагогическому совету гимназии избрать комиссию по выработке новых программ и общей организации школ. На очередном заседании совета тайной баллотировкой в комиссию были избраны: Харламов, Сагарадзе, Пушкарев, Калишев и Розенбаум.

Вопрос обновления программ учащиеся связывали с требованием удалить учителей-реакционеров. Они от-

крыто выступали против тех, кто насаждал в гимназии полицейский режим.

В одном из писем к сестре Оля писала:

«...Володя сегодня первый раз пошел в гимназию, и с первого же раза гимназисты потребовали себе залу для совещания. Они решили требовать удалить плохих учителей, а также, кажется, и директора, а в противном случае будут бастовать».

Воспитание, которое получали Володя и его сестры в семье, резко противостояло шовинистическому духу, насаждавшемуся реакционными учителями в гимназиях.

Сама жизнь опрокидывала коварные расчеты реакции. Когда однажды на станции Шорапани была предпринята попытка вызвать трения между рабочими депо — русскими и грузинами, инициатор этой провокации, жандармский унтер-офицер потерпел полный провал. По постановлению общего собрания рабочих вагон, в котором жил жандарм, был прицеплен к локомотиву и угнан подальше от станции.

Интернациональная солидарность была сильнее яда шовинизма, которым правительство пыталось отравить население, в особенности молодежь.

Хотя кое-где еще попадались ученики и ученицы, носившие розовые бантики с буквой «Н» или с портретом царя Николая, но таких было мало. Их появление в классе вызывало возмущение.

«Вот каких людей, — восклицает в письме к сестре Оля Маяковская, — можно еще встретить в 20-м столетии, да еще среди учащейся молодежи!»

Законоучитель реального училища Цагарейшвили, так же как Тугаринов в гимназии, в поисках наименее устойчивых школьников превратил исповедь в допрос. На исповеди он всем без исключения задавал вопрос:

— Не принимал ли ты участия в бунте?

Реалисты, как будто сговорившись, отвечали молчанием. Не добившись «признания», законоучитель отпускал «грешного» с миром. Над попом смеялись, называли его жандармом в рясе.

Обеспокоенные сплоченностью кутаисской молодежи и ее участием в демонстрациях, «Кутаисские губернские ведомости» писали: «В последнее время, при происходивших уличных демонстрациях, замечалось участие в них учеников средних учебных заведений и вообще лиц, едва вошедших в юношеский возраст... Участие в

толпе некоторого количества молодежи младшего возраста не может, конечно, усилить значение демонстраций, но очевиден огромный для самой молодежи нравственный вред нахождения в уличной толпе, проникнутой своеволием...»

Но, вопреки всяким увещеваниям и запугиваниям, молодежь еще активнее включалась в движение, проходила высокую моральную школу, закалялась в борьбе.

На городском митинге учащиеся учебных заведений решили прекратить занятия, чтобы не отстать от общего движения.

16 ноября в Кутаисе началась забастовка почтово-телеграфных служащих, связанная с общероссийской стачкой. Через несколько дней к городским связистам присоединились железнодорожные телеграфисты.

Нижние чины полиции, городовые, боясь народного гнева, разбежались кто куда. Порядок в городе поддерживался самими горожанами-добровольцами. Позже появились дружинники-красносотенцы.

Большевистская газета «Новая жизнь» поместила в ноябрьских номерах несколько корреспонденций из Кутаиса. Она сообщала, что забастовали писцы и канцелярские служащие, в результате чего перестали функционировать окружной суд и мировые отделы.

«Подвергнутым бойкоту чиновникам, — говорится в другой корреспонденции, — предлагали в двухнедельный срок оставить службу... Так же поступали со стражниками, лесничими, объездчиками и другими правительственными агентами». Это не относилось к В. К. Маяковскому. Крестьяне любили и уважали его за справедливость и гуманность.

Между тем царские служаки, чувствуя, что почва уходит из-под ног, изощрялись во всяких кознях и провокациях. Начальник жандармского управления Николаев, тот, который опутал своей предательской сетью гимназию, пытался вызвать столкновения между войсками и населением. Губернатор Старосельский писал в 1907 году, что «будущее покажет, где скрывались тайные пружины, приведшие в движение погромный механизм». Он прямо указывал на жандармерию как на подстрекателя погромщиков.

Встревоженные провокационными слухами, а также произволом и бесчинством казаков 1-го Хоперского полка, жители Кутаиса с лихорадочной поспешностью стали

сооружать на улицах баррикады. Взрослые и дети, мужчины и женщины вытаскивали на мостовые бревна, доски и пустые бочки, сваливали телефонные столбы, над которыми кольцами вилась проволока. Толпа горожан заняла гостиницу «Франция», соседние с нею здания и воздвигла прочную баррикаду. Кто-то ударил в набат. Гулкий, надрывный звон колокола усилил тревогу в городе, донесся до ближних селений. На следующий день волнение улеглось и баррикады быстро исчезли. Но достаточно было малейшего повода, чтобы заграждения появились вновь.

Губернатор Старосельский, видя бесчинства первого Хоперского полка, настаивал на выводе его за пределы Кутаисской губернии. Он просил заменить казачий полк пехотными частями, так как, по его словам, «этот род войска несомненно пользуется доверием и симпатией населения, что особенно характерно выразилось 27 ноября в просьбе жителей гор. Кутаиса отрядить для охраны их от возможных нападений со стороны казаков команду пехоты». Старосельский, конечно, не мог в своем докладе наместнику дать иное объяснение замене казаков пехотинцами, но, несомненно, солдаты, в массе своей революционизированные, представлялись населению менее угрожающей, чем казаки, силой, а в отдельных случаях могли и отказаться служить слепым орудием в проведении карательной политики царизма.

Не случайно, что Маяковский, вспоминая свои детские годы, выразил в стихотворной форме отношение к солдатам, с которыми свободно общался: «играл с солдатьем под забором в «три листика», а в автобиографии — к казакам, как к царской опоре: «Я стал ненавидеть казаков». Он всецело был на стороне другой, противостоящей и тем и другим, силы, когда детским почерком выводил в своем письме: «...Кутаис тоже вооружается».

Революционные отряды рабочих и крестьян повсюду готовились к решительной схватке с царским самодержавием. Проводились митинги, выражавшие классовую, интернациональную сплоченность борющихся масс. 26 ноября на митинге в селе Хони, возле Кутаиса, обсуждался вопрос «о политическом положении России». Постановили: требовать отмены военного положения, послать приветствие лейтенанту Шмидту и его матро-

сам, революционным солдатам, не давать рекрутов и не платить податей.

Проведение митингов в помещении Кутаисского театра стало обычным явлением. Знакомый Маяковским артист Ладо Месхишвили читал со сцены революционные стихи. Володя узнавал обо всем, что происходило в театре.

Декабрьские дни Кутаисская гимназия встретила опустевшими классами. Уволенных за невзнос платы учеников было 439, а за неуспеваемость и «неодобрительное поведение» — 4. Боясь обострения отношений, начальство увольняло «смутьянов» под предлогом неуплаты ими денег.

Подводя итоги событиям, директор сетовал в письме к попечителю: «Сколько трудов и нравственных страданий пришлось за это время перенести начальству гимназии и прочим членам педагогической корпорации, не стану говорить, укажу лишь на крайне печальный, прямо ужасный результат, которого достигли бессовестные агитаторы, прятавшиеся за спиной детей и действовавшие через них в убеждении, что в случае чего к детям власти отнесутся снисходительно, а хлопот-то они все-таки причинят не мало».

В ночь на 10 декабря полностью прекратилась железнодорожная связь с Тифлисом. Заместитель начальника дорог в донесении помощнику наместника по военной части признал, что «распоряжение движением поездов и другими операциями на Закавказских дорогах перешло фактически в руки стачечного бюро». Всероссийская стачка распространилась и на Кутаис.

В конце декабря дошли первые известия о московских баррикадных боях на Пресне.

Нараставшие в стране события сплетались в сознании Володи Маяковского с занятиями кружка, с книжками, которые он читал, с демонстрациями, в которых участвовал.

Отсюда его фраза в написанной много лет спустя поэме «Про это»: «Пойди — эту правильность с Эрфуртской сверь!». Отсюда и строки из другой поэмы:

Книги Маркса
        не набора гранки,
не сухие
        цифр столбцы —
Маркс
    рабочего

поставил нá ноги
и повел
колоннами
стройнее цифр.
Вел
и говорил:
сражаясь, лягте,
дело —
корректура
выкладкам ума.
Он придет,
придет
великий практик,
поведет
полями битв,
а не бумаг!

Великому теоретику и практику пролетарской революции Владимиру Ильичу Ленину посвятил Маяковский поэму. В ней строки о пятом годе — не как книжные «выкладки ума», а как живое воспоминание о пережитом и воспринятом с самого начала первой русской революции:

Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.
Довольно!
Не верим
разговорам посторонним!
Сами
с оружием
встали пресненцы.
Казалось —
сейчас
покончим с троном,
за ним
и буржуево
кресло треснется.
Ильич уже здесь.
Он из дня нá день
проводит
с рабочими
пятый год.
Он рядом
на каждой стоит баррикаде,
ведет
всего восстания ход.

Но скоро
прошла
лукавая вестийка —
«свобода».
Бантики люди надели,
царь
на балкон
выходил с манифестиком.
А после
«свободной»
медовой недели
речи,
банты
и песни плавные
пушечный рев
покрывает басом:
по крови рабочей
пустился в плавание
царев адмирал,
каратель Дубасов.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
И этот год
в кровавой пене
и эти раны
в рабочем стане
покажутся
школой
первой ступени
в грозе и буре
грядущих восстаний.

Декабрьское вооруженное восстание в Москве, подготовленное массовыми выступлениями пролетариата в течение всего 1905 года, явилось высшей точкой развития первой русской революции. Но вооруженное восстание героических рабочих Москвы не превратилось в одновременное, единое всероссийское выступление пролетариата, и это дало возможность царскому правительству подавить как восстание в Москве, так и вооруженное выступление в различных местах страны.

В начале января 1906 года в Кутаисе стало известно, что на Западную Грузию надвигаются карательные войска генерала Алиханова.

Кутаисская губерния вновь была объявлена на военном положении, а губернатор Старосельский отозван.

По прибытии сначала в Тифлис, а затем в Петербург, В. А. Старосельский на вопрос корреспондента «Биржевых ведомостей»: «Что такое представляет из себя новый покоритель Кавказа генерал Алиханов?», ответил: «По-моему, это убежденный сторонник штыка, как успокаивающей меры. Людей с такими взглядами на

Кавказе не мало. Это ревностный полицейский, считающий, что сила — лучшее средство для восстановления порядка».

Во главе сторонников штыка стоял сам царь. В письме своему наместнику на Кавказе Воронцову-Дашкову он писал 8 января 1906 года: «Теперь уже нужно довести дело усмирения силою оружия до конца, не останавливаясь перед самыми крайними мерами».

В этом же письме Николай II высказался о Старосельском: «Но вот о ком я считаю нужным сказать крепкое слово — это о кутаис[ском] губер[наторе] Старосельском. По всем получаемым мною сведениям, он настоящий революционер, поддерживающий с тою партиею открытые сношения. Поистине, место его... на хорошей иве! Пример был бы благодетельный для многих».

Новому губернатору палачу Алиханову-Аварскому предоставлялась приказом полная свобода «в предстоящих распоряжениях и действиях» и предлагалось уничтожать отряды милиции, революционные организации, арестовывать стачечников.

Каратели выжигали дотла селения, прилегающие к железнодорожному пути, расстреливали железнодорожников.

На борьбу с карателями поднимались партизаны.

В Тифлисе в середине января 1906 года бомбой, брошенной рабочим железнодорожных мастерских Арсеном Джорджиашвили, был убит царский палач генерал Грязнов.

Декабрьские и январские события переплелись в памяти Маяковского, и много лет спустя он написал:

И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в пажах
князевы сынки,
а я,
ежедневно
и наново,

опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.

Занятия в гимназии после новогодних каникул должны были начаться 7 января, но по городу ходили слухи, что рабочие и молодежь собираются в годовщину «кровавого воскресенья» устроить демонстрацию против правительства. В связи с этим педагогический совет решил приступить к занятиям десятого.

Совет обсудил и принял во внимание просьбу учеников старших классов о внесении изменений в распределение уроков, об уменьшении числа уроков древних языков и «закона божьего» и увеличении уроков по таким предметам, как история, математика и физика, по которым ученики сильно отстали.

Попечителю учебного округа было представлено на утверждение новое распределение уроков между преподавателями. В III классе уроки предполагали распределить так:

Пустовойтов — русский язык (4 урока),
Ушаков — латинский язык (5 уроков),
Шарутин — история (2 урока),
Пушкарев — география (2 урока), естествознание (2 урока),
Церетели — математика (4 урока),
Богословский — французский язык (3 урока),
Розенбаум — немецкий язык (3 урока),
Чоговадзе — грузинский язык (2 урока),
Мороз — рисование (1 урок),
Канделаки — закон божий (1 урок).

Все это было только подготовкой к возобновлению занятий. Гимназия выжидала...

9 января в город вступили первые отряды карательных войск Алиханова. Они принудили перепугавшихся торговцев открыть лавки. Расположились постоем в квартирах горожан.

В ночь на 10-е вспыхнули пожары, над городом поднялось красное зарево. Какое-то здание горело возле самой гимназии. Погорельцы разместились в ее коридорах.

14 января в «Ведомостях» появилось «объявление», предупреждавшее жителей Кутаисской губернии, что против «нарушителей порядка» будут приняты «самые

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | " | Июля 7 | Июня 18 | Владиміръ<br>Д.Я. 57 / 1902 г. | Дворянинъ Владиміръ Константиновичъ Маяковскій и законная жена его, Александра Алексѣевна, обѣ Православной вѣры<br>С[illegible]<br>П[illegible] | Надворный Совѣтникъ Николай Ильичъ Савельевъ и Дѣвица Анна Константиновна Маяковская<br>[illegible] | Священникъ [illegible] | Родители В. Маяковскій [illegible]<br>Восприемникъ Николай Савельевъ<br>Восприемница Анна Константиновна Маяковская |
| 15 | | Іюня 17 | Іюня 14 | Марина | Крестьянинъ Вано Симоновъ Суладзе и законная жена его Варвара (она же Васасія) Давидовна, обѣ Православной вѣры<br>Священникъ [illegible]<br>П[illegible] | [illegible] Симонъ [illegible] Джапаридзе<br>[illegible] Барбакадзе | Священникъ [illegible] | [illegible] |

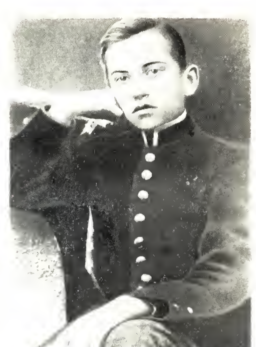
Страницы метрической книги с записью о рождении В. В. Маяковского.

Дом, в котором родился Владимир Маяковский.



Здание Кутаисской классической гимназии

ТРИ УЧЕБНЫХ ГОДА
ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ



Владимир Маяковский.



Виктор Демьянович.



Н. Н. Джомарджидзе — первый учитель и классный наставник В. Маяковского.




Отметка с инициалами учителя: НД

Педагогическіе
этюды

Посвящаю вамъ моимъ ученикамъ.

Вамъ, маленькіе друзья мои, вамъ, дорогіе спутники лучшихъ моихъ дней, я посвящаю сладчайшія переживанія души моей! Эти переживанія рождены общеніемъ съ вами, и, хотя съ тѣхъ поръ прошло много времени, и вы стали уже юношами и вполнѣ зрѣлыми людьми, но въ моихъ представленіяхъ вы всегда останетесь тѣми маленькими, неокрѣпшими созданіями, какими вы были въ дни моего общенія съ вами

Начало рукописи Н. Н. Джомарджидзе «Педагогические этюды»



В. А. Васильев — учитель русского языка и классный наставник.

Сообщение директора попечителю о
грубом обращении стражников с уча-
щимися во время демонстрации у
бульвара в конце января 1905 г. [illegible]
соответствует действительности. Верно так-
же и то, что в это время у бульвара
находился [illegible] Пушкарев и др. Когда страж-
ники, разгоняя демонстрантов, стали
теснить лошадьми и пускать в ход на-
гайки в отношении гимназистов, мы
вступились за них и, после некоторых
пререканий, добились освобождения уча-
щихся.

Из письма В. А. Васильева о январских событиях 1905 года.

Владимиръ Маяковскій ученикъ 2го класса 22 августа
Изъ одного и того же куска желѣза были
сдѣлано два плуга: изъ которыхъ одинъ попалъ въ руки
земледѣльца, а другой долго и безполезно проволялся
въ лавкѣ купца. Случилось такъ, что черезъ несколько време-
ни оба плуга опять встрѣтились. Плугъ который
былъ у земледѣльца, блестѣлъ какъ серебро. А тотъ плугъ
который пролежалъ безъ дѣла, потемнелъ и покры-
ся ржавчиною. Заржавевшій плугъ спросилъ у своего
знакомца, почему онъ такъ блеститъ. „Отъ труда, мой
милый", отвѣчалъ тотъ

2 Ма. 3- [illegible]

Экзаменационная работа В. Маяковского по русскому языку (диктант).

Маяковскій
Владимиръ

Родился 1893 г. 7 іюля

Вѣроисповѣданіе правосл.

Сословіе с чинов

Національность русскій

1-й годъ въ классѣ

Оставался по 2 годъ

| | Повед. | Вниман. | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| За I четверть | 5 | 5 | 5 | |
| „ II „ | 5 | 5 | 5 | |
| „ III „ | 5. | 5 | 5 | |
| „ IV „ | 5 | 5 | 5 | 20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Законъ Божій | 4 | | | 4 | |
| Русскій языкъ | 5. | | | 5 | |
| Латинскій языкъ | | | | | |
| Греческій языкъ | | | | | |
| Французскій языкъ | | | | | |
| Нѣмецкій языкъ | | | | | |
| Грузинскій языкъ | | | | | |
| Математика | 4 | | | 5 | |
| Физика | | | | | |
| Исторія | | | | | |
| Географія | | | | | |
| Естествовѣдѣніе | | | | | |
| Рисованіе | | 4 | | | 5 |
| Чистописаніе | | 4 | | | 4 |

Табель отметок В. Маяковского за первый год обучения (первая страница).



Учащиеся первого (параллельного) класса Кутаисской гимназии с преподавателем В. А. Васильевым. Владимир Маяковский в первом ряду сидящих (третий слева).

# ЖУРНАЛЪ

## Педагогическаго Совѣта Кутаисской гимназіи.

*1905 года ноября мѣсяца 2 дня.*

---

Присутствовали всѣ члены Совѣта.

Педагогическій Совѣтъ, обмѣнявшись мнѣніями, постановилъ отслужить сего числа въ гимназической церкви панихиду по воспитанникамъ учебныхъ заведеній г.Тифлиса, убитыхъ во время послѣднихъ тифлисскихъ событій,и отправить отъ имени учащихъ и учащихся |съ содержаніемъ телеграммы представители учениковъ были предварительно ознакомлены и дали отъ имени учащихся согласіе на включеніе слова "учащіеся"| слѣдующую телеграмму.

Тифлисъ. Директору I-й классической гимназіи. "Учащіе и учащіеся Кутаисской гимназіи, отслуживъ панихиду по воспитанникамъ тифлисскихъ учебныхъ заведеній, павшихъ жертвой возмутительнаго насилія, выражаютъ свое глубокое соболѣзнованіе столь ужасно пострадавшей I-й гимназіи и негодованіе противъ всѣхъ содѣйствовавшихъ этимъ насиліямъ".

Директоръ гимназіи

Инспекторъ

Законоучитель

Учителя

русскаго языка

древнихъ языковъ А. Лебедев

новыхъ языковъ

Журнал педагогического совета Кутаисской гимназии с постановлением отслужить панихиду по ученикам тифлисских учебных заведений, «павших жертвой возмутительного насилия».





В. И. Вегер и И. Б. Карахан (слева направо) — деятели большевистской партии, с которыми Владимир Маяковский был связан по революционной работе в 1908—1909 гг. в Москве.




Здание Московской пятой мужской классической гимназии.

140 МИНИСТЕРСТВО НАРОДНАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.
МОСКОВСКІЙ УЧЕБНЫЙ ОКРУГЪ.
ДИРЕКТОРА 5-й МОСКОВСКОЙ ГИМНАЗІИ.
Мая 5 дня 1908 г.
№ 270.
МОСКВА.

№ 79    5/Ѣ    839

Господину Судебному Слѣдователю Московскаго Окружнаго Суда по особо важнымъ дѣламъ.

На отношеніе отъ 2 сего мая за № 648, имѣю честь увѣдомить, что изображенное на приложенной къ означенному отношенію фотографической карточкѣ лицо есть, дѣйствительно, бывшій воспитанникъ 5-го класса ввѣренной мнѣ гимназіи Владиміръ МАЯКОВСКІЙ, обучавшійся въ оной съ августа 1906 года и уволенный изъ Московской 5-ой гимназіи, по постановленію Педагогическаго Совѣта, съ 1-го марта 1908 года за невзносъ платы за 1-ю половину 1908 года. Независимо отъ сего, матерью ученика подано было прошеніе о выдачѣ документовъ и свидѣтельства объ его успѣхахъ, такъ какъ онъ "по болѣзни не можетъ продолжать занятія въ гимназіи". Всѣ документы возвращены матери подъ ея росписку, а по выпискѣ изъ его метрики онъ родился 7-го іюля 1893 года.

ДИРЕКТОРЪ И. Кашкевичъ.

Ответ директора Московской пятой гимназии на запрос судебного следователя о Маяковском. 1908 год.

# ПОСТАНОВЛЕНІЕ № 39

1909 года Января 18 дня я, Московскій Градоначальникъ Генералъ-Маіоръ Адріановъ получивъ свѣдѣнія, дающія основаніе признать потомственнаго дворянина Владиміра Владиміровa МАЯКОВСКАГО

вреднымъ для общественнаго порядка и спокойствія, руководствуясь § 21 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 31 день Августа 1881 года, Положенія объ усиленной охранѣ, постановилъ: означеннаго МАЯКОВСКАГО впредь до выясненія обстоятельствъ дѣла, заключить подъ стражу при

, съ содержаніемъ, согласно ст. 1043 Уст. Угол. Судопр. Настоящее постановленіе на основаніи 431 ст. того-же Устава, объявить арестованному, а копію съ постановленія препроводить Прокурору Московской Судебной Палаты и въ мѣсто заключенія задержаннаго

Генералъ-Маіоръ Адріановъ

Настоящее постановленіе мнѣ объявлено: Января 22 дня 1909 г.
Владимир Владимирович Маяковский

Копія:

*Прокурору Московской Судебной Палаты* *190 г. №*

*190 г. №*

Постановление московского градоначальника об аресте В. В. Маяковского 18 января 1909 года с подписью Маяковского, подтверждающей «объявление» ему этого постановления 22 января.

Секретно

В Охранное отделение

Содержащийся под стражею при вверенном мне полицейском доме по постановлению Охранного отделения от 28 июля с. г. № 432 переведенный в оный из Басманного полицейского дома 14 того же июля Владимир Владимиров Маяковский, своим поведением возмущает политических арестованных к неповиновению чинам полицейского дома, настойчиво требует от часовых служителей свободного входа во все камеры, называя себя старостой арестованных,



Донесение смотрителя арестного дома Охранному отделению с резолюцией о переводе В. В. Маяковского в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. Камера № 103.



**Владимир Маяковский.** Фото 1910 года.

Получено 31/III 25 г.
Вход. № 264 Дело №

А Н К Е Т А

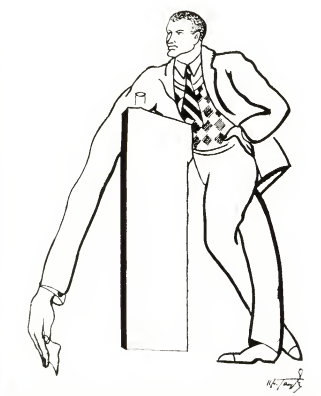
для лиц, подающих заявление о разрешении занятий над архивными материалами.

1/ Дата заполнения настоящ. анкеты. 27/III. 25
2/ Фамилия, имя и отчество Владимир Влад. Маяковский
3/ Партийная принадлежность беспартийный ........ б/п
4/ Место службы... нет
5/ Должность ..............
6/ Занимался ли раньше в архивах.. нет
7/ Где..............
8/ Когда..............
9/ В течении какого времени..............
10/ Есть ли научные труды..............
11/ Документ, на основании которого испрашивает разрешение в настоящее время.. [illegible]
12/ Тема работы [illegible]
13/ Место работы Моск. Ист.-Рев. Архив
14/ По каким материалам [illegible]
15/ С какой целью производится работа. с научной
16/ В каком издании предполагается издание работы на основании архивных материалов. [illegible]
17/ По заданию какого учреждения ведется работа..............
18/ Адрес занимающегося. Лубянский проезд 3 кв. 12 [illegible]

Подпись В. Маяковский
Проверил [illegible]

| Фонд | Год описи. | № дела по описи | Наименование дела. | Личное дело. | Ант... |
|---|---|---|---|---|---|
| Московское Охранное отделение | 1908, 9, 10 | | Наружное наблюдение и агентурные сведения о Вл. Вл. Маяковском (наружка, конспирац...) | | |
| Бутырский архив | 1909 г. выписки кат 7 | | Отобранная у В. Маяковского тетрадка (рукопись) стихов. | | |

Анкета, заполненная В. Маяковским в Архиве революции, и его запрос об архивном «деле» и отобранной у него в 1910 году в Бутырской тюрьме тетрадке стихов. 1925 г.



«Последняя записка». Дружеский шарж Ираклия Гамрекели.

Как Вы относитесь к газетной работе и считаете ли ее наиболее важным фактором литературной работы?

Кого из заслуживающих внимание лефовцев вы назовете кроме Асеева и себя?

Какого вы мнения о Демьяне Бедном?

~~Как~~ Ваш взгляд (искренний) на пролетарских наших поэтов?

Почему. Вы и Третьяков говорите о Леф'е по разному?

Записки, посланные Маяковскому слушателями на его вечерах.



**Владимир Маяковский.** Фото Вано Гониашвили.

решительные меры». Военным начальникам предлагалось предупреждать участников «сборищ» и «после троекратного сигнала действовать оружием».

«Обязательным постановлением», опубликованным Алихановым, запрещались: проведение манифестаций и демонстраций, распространение прокламаций и воззваний, вывешивание революционных знамен и даже «езда по городу на велосипедах».

Так, при угрозе расправы оружием, нависшей над Кутаисом, начались в учебных заведениях занятия.

Директор жалуется попечителю на то, что учащиеся все еще «пропитаны всякой пропагандой, не признают никаких авторитетов». Такое отношение, по его мнению, могло развиться в гимназии лишь потому, что в городе и в губернии за последнее время «не было никакой фактической власти, кроме комитетской, которая (за это ответит она богу) действовала за спиной учащейся молодежи».

Ввиду значительных пробелов в познаниях учеников педагогический совет постановил продлить занятия до начала июля, временно увеличить количество уроков.

Затем совет обсудил вопрос о параллельных классах и решил путем перераспределения уроков сохранить «параллели», чтобы не лишиться средств, ежегодно отпускаемых на их содержание. Учащимся было предложено внести плату за первое полугодие не позднее 1 марта. Срок этот продлили затем до 10-го.

Вместе с учениками, допущенными к занятиям с 16 января, «по взносе платы за обучение», был зачислен в третий параллельный класс и Владимир Маяковский.

26 января, около двух часов дня, в городе начались волнения. Занятия в гимназии были прерваны на пятом уроке. Каратели с винтовками наперевес заняли все улицы по правую сторону Риона. Прохожие подвергались обыску. Выходить на улицу после шести часов вечера запрещалось. Ночью небосвод снова озарился заревом пожаров.

На следующий день в гимназию пришло очень мало учеников. Один гимназист явился с забинтованной головой. На бинте — пятна крови. Некоторые ученики жаловались, что их на улице избивали стражники.

Занятия налаживались с трудом. После годового перерыва начали ставить отметки за поведение.

Власти продолжали с опаской следить за гимназией. В первых числах февраля директор получил из жандармского управления секретный пакет. Полковник Николаев затребовал списки педагогов, «кои во время забастовки не принимали мер к прекращению таковой или потворствовали ей».

На этот раз Чебишу пришлось призадуматься. События минувшего года его кое-чему научили. Придерживаясь своей тактики лавирования и не желая порочить никого из педагогов, он ответил:

«За все время бывших в истекшем полугодии в кутаисских учебных заведениях беспорядков как я, так и все мои сослуживцы прилагали все старания к тому, чтобы занятия в гимназии не прекращались; если же занятия эти шли с небольшими перерывами и при малочисленности учеников, в особенности в старших классах, то это независимо от нас. Члены педагогической корпорации, несмотря на оскорбительное поведение учеников, ежедневно, за исключением больных, являлись на уроки и занимались с классами, хотя бы при пяти учениках. Такие, конечно неправильные, занятия продолжались до 20 декабря, в который день посещавшие гимназию ученики были отпущены на праздники.

Принимать какие-либо другие меры, кроме увещеваний, для водворения в стенах учебного заведения порядка, мы не имели физической возможности; ведь не к кому было обратиться за содействием, и при тогдашних кутаисских условиях такое обращение (к властям могло быть весьма рискованным[1]) грозило мщением. Это было действительно время «педократии» (власти детей), причем дети действовали, конечно, как марионетки в руках бессовестных агитаторов, прятавшихся за их спинами в расчете, «что детей пощадят, а хлопот они наделают достаточно». И нам, таким образом, пришлось в силу необходимости терпеть...

Сообщая об изложенном, имею честь присовокупить, что на основании того, что происходило в стенах заведения, не имею данных упрекать кого-нибудь из своих сослуживцев в том, что он не желал принять меры к прекращению ученических забастовок или же им потворствовал».

---

[1] Заключенное в скобки зачеркнуто в рукописном черновике самим Чебишем.

За первым запросом последовал второй от начальника гарнизона. Он же уведомлял, что всякие собрания в городском саду и на бульваре запрещены, что за соблюдением этого запрета приказано следить войсковым дозорам, между тем учащиеся гимназии собираются группами на бульваре и возле зданий, прилегающих к саду, сидят на ограде сада...

К «Делу об ученических беспорядках» в гимназии добавились новые листы, в том числе доносы учителя Юркевского о настроениях учащихся, об их «проступках».

Особо обсуждалось поведение ученика, который на предложение выйти из экзаменационной комнаты ответил:

— Прошу мне не приказывать; прошли те времена, когда вы имели над нами силу.

В эти напряженные дни в жизни Володи многое изменилось.

Владимир Константинович давно мечтал находиться ближе к семье — жить в Кутаисе всем вместе, и вот пришло извещение о том, что он назначен кутаисским лесничим. Но радость, переживаемая семьей, вскоре сменилась глубокой скорбью. Готовя к сдаче дела Багдадского лесничества, Владимир Константинович наколол себе палец ржавой булавкой и, не обратив внимание на то, что на пальце образовался нарыв, уехал в лесничество. Вернулся совсем больным. Врачи уже не могли помочь ему — началось общее заражение крови, и 19 февраля он скончался.

Смерть Владимира Константиновича поразила всех своей неожиданностью, в Кутаисе об этом только и говорили.

Товарищ Володи по гимназии Николай Шостак вспоминает:

«Вскоре после похорон Владимира Константиновича к нам зашла повидаться с моей матерью Александра Алексеевна. От нее мы узнали о последних часах жизни ее мужа. Отец Володи знал, что умирает, и попросил жену позвать детей. В эти тяжелые минуты на глазах Владимира Константиновича появились слезы. «Я плачу, что оставляю вас маленькими и неустроенными», — сказал он Володе и Оле. «Папа, не бойся, я буду человеком», — ответил, глотая слезы, Володя».

Через десять лет после последнего прощания с отцом Владимир Маяковский напишет поэму «Человек». В ней — конкретный образ поэта в его удивительном духовном могуществе. Это он, Владимир Маяковский, назван в заглавии каждой части поэмы. И как тепло, с какой лирической силой прозвучали в ней строки:

...Рядом отец.
Такой же.
Только на ухо больше туг,
да поистерся
немного
на локте
форменный лесничего сюртук.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Какая старому мысль ясна?
Тихо говорит:
«На Кавказе,
вероятно, весна».

После смерти отца в характере Володи произошел крутой перелом, он стал еще более сосредоточенным, заметно повзрослел.

Семье, оставшейся без всяких средств к существованию, была назначена пенсия в размере десяти рублей в месяц (до полной пенсии В. К. Маяковский не дослужил одного года).

Созрело и укрепилось решение о переезде в Москву, но надо было дождаться окончания учебного года.

В начале марта педагогический совет гимназии рассмотрел вопрос о материально не обеспеченных учениках. В числе полностью освобожденных от платы за учение значился Владимир Маяковский. Это очень помогло, потому что семья вынуждена была распродавать вещи и жила на вырученные от этого крохи.

В гимназии наступила пора подведения итогов. Опасаясь за «мирное течение занятий в случае установления экзаменов», большинство педагогов высказалось за то, чтобы переводить учеников из класса в класс на основании годовых отметок.

9 марта на заседании педагогического совета были одобрены программы, выработанные на второе полугодие, с учетом уроков, пропущенных как в минувшем году, так и в начале текущего. При этом указывалось, что даже минимальный материал может быть пройден лишь при усиленных и регулярных занятиях.

Предметная комиссия по русскому языку в составе

инспектора Харламова, преподавателей Юркевского и Пустовойтова задержала представление новой программы по русскому языку. Чебиш объявил за это выговор Юркевскому. Тот обратился к попечителю округа с жалобой на директора за «дерзкий выговор». Этот инцидент характерен тем, что Юркевский, как только реакция усиливалась, поднимал голову. Но попечитель не поддержал его. 16 марта на заседании педагогического совета Чебиш огласил мнение попечителя, считавшего поступок Юркевского грубым и заслуживающим осуждения.

17 марта проводились устные проверочные испытания по французскому языку. Вместе с Маяковским отвечали Демьянович, Месхи, Махарадзе, Жгенти, Харабадзе и Амашукели. Из семи учеников только Демьянович ответил хорошо, остальные, и в их числе Маяковский, — удовлетворительно.

С 27 марта совет приступил к обсуждению представленных классными наставниками докладов об успехах, поведении, прилежании и внимании учащихся, а также о числе пропущенных уроков. В третьей четверти Маяковский по поведению получил пятерку, по вниманию и прилежанию — тройки. Пропустил 14 уроков.

Директор гимназии, будучи в то же время и классным наставником 3-го параллельного класса, в отчете за третью четверть учебного года насчитал всего четырнадцать учеников, успешно занимавшихся по всем предметам. В числе их Чебиш упоминает Маяковского.

В апреле в 3-й параллельный класс были приняты 5 учеников, ранее исключенных за невзнос платы. Таким образом, класс восстановился в своем первоначальном составе.

27 апреля уроки были отменены по случаю открытия Государственной думы. В гимназической церкви шло «благодарственное» молебствие. Еще накануне директор объявил учащимся, что они могут не приходить в церковь, но, опасаясь демонстрации, все же предложил преподавателям стать в церкви в разных местах, а помощникам классных наставников — следить за порядком на церковной площадке и в коридорах. Служба прошла благополучно. Когда же певчие стали петь «многолетие», то в группе учеников, стоявших справа, между простенками, послышалось шипение. Чебиш быстро направился к этой группе. Шипение прекратилось,

но на том месте, где стояли ученики, как потом обнаружилось, был разлит горчичный спирт.

«Не подлежит сомнению, — заключил собравшийся на экстренное заседание педагогический совет, — что заранее было условлено помешать пропеть многолетие государю (это видно еще и из того, что не все басы в хоре приняли участие в пении)».

При обсуждении этого инцидента мнения членов совета разошлись. Меньшинство (восемь голосов) требовало удаления провинившихся учеников из гимназии. Большинство (десять голосов) решило ограничиться выражением порицания с уменьшением отметок по поведению до троек. Это решение было продиктовано не столько «умеренным» взглядом на вещи, сколько, как в этом признались сами учителя, боязнью общей забастовки учащихся.

Попечитель округа, все тот же Завадский, считал решение педагогического совета «проявлением малодушия». Чебиш же, более того, — «проявлением трусости».

«Назвать постороннее лицо, затесавшееся в группу учеников, в которой произошел беспорядок, — писал директор в рапорте, — я не имею возможности, так как никто его не выдает... Мне самому следовало главных виновников инцидента убрать своей властью (ведь шипели-то 3—4 человека, а спирт разлил-то один; остальная группа была только для маскировки!). Но под влиянием сильных предостережений со стороны некоторых членов совета даже я несколько смутился».

На том же заседании совета обсуждалось заявление Юркевского, в которого с площадки верхнего этажа было брошено яйцо. Решили до выявления виновных прекратить уроки русского языка в пятом классе.

Гимназисты ненавидели Юркевского — того самого, который выслеживал ученическую сходку у «Язоновой пещеры», который с циничной откровенностью причислял себя к душителям революции. Вскоре после истории с яйцом они разбили в его классе кафедру.

Учительская «корпорация» все более расшатывалась изнутри. Чебиш писал попечителю, что обязанности инспектора гимназии Харламову, «в особенности за последние два года беспорядков, были не по силам». И еще до этого, когда сам попечитель поставил на вид Харламову «нерадение» в слежке за учениками, Чебиш заявил, что это скорее не от нерадения, а от не-

умения. Позднее, 1 августа 1906 года, Харламов был переведен в Майкопское реальное училище. Назначенный на его место М. Сагарадзе тогда же временно принял дела и от самого Чебиша, переведенного в Пятигорскую гимназию.

У некоторых педагогов, как говорится, «не выдерживали нервы». Мать учителя истории и географии В. Шарутина в прошении на имя попечителя просит предоставить отпуск сыну «вследствие его нервного состояния, которое происходит от постоянных волнений и беспорядков на Кавказе».

Приближался день Первого мая. Опасаясь новой демонстрации учащихся, в гимназию прибыл со своим помощником губернатор. Он пытался запугать учеников старших классов. После его отъезда гимназисты, собравшись на сходку, решают объявить забастовку. Однако она недостаточно была подготовлена и поэтому не состоялась.

Третий параллельный класс, в котором учился В. Маяковский, зарекомендовал себя как наиболее «беспокойный». В конце учебного года ученики этого класса несколько раз перед уроком переворачивали парты и, ставя их одну на другую, загораживали вход в класс. За устройство баррикад в классе начальство исключило из гимназии на две недели 6 учеников, «как известных по своему крайне беспокойному поведению за предыдущее время».

Отметки выставлялись лишь со второго полугодия. В третьей четверти Маяковский имел: по русскому языку (устно и письменно) — 4 и 3, по математике — 3 и 2, по латинскому, французскому и немецкому языкам и географии — 3, по естествознанию, истории — 4, по рисованию — 5. В последней четверти: по русскому языку (устно и письменно) — 4 и 3, по математике — 2, по немецкому языку (устно и письменно) — 3 и 2, по французскому и латинскому языкам — 3, по истории и географии — 4, по естествознанию и рисованию — 5.

Отметка по «закону божьему» снизилась до тройки. Но, даже получая четверки, он считал, что у него и «у бога разногласий чрезвычайно много».

Еще в приготовительном классе Володя однажды привел законоучителя в смятение своим вопросом:

— Скажите, батюшка, если змея после проклятия

начала ползти на животе, то как она передвигалась до проклятия?

Быть может, Маяковский вспомнил уроки «закона божьего», когда через много лет писал:

Каркали с амвонов попы-вóроны:
— Расти, мол, народ царелюбивый и покорный!
Этому же и в школе обучались дети:
«Законом божьим» назывались глупости эти.

Вот по этим «глупостям» и получал Володя четверки и тройки.

В связи с выдачей аттестатов в гимназии разгорелись споры. 19 мая директор заявил на совете, что он стоит за снисхождение, но не в такой степени, чтобы это снисхождение становилось «преступным». «Объяснить все революцией, — говорил раздраженно Чебиш, — и благодаря ей выдавать аттестаты, нарушая всякие правила и естественные требования, которые должны быть предъявлены средней школой, недопустимо. Было бы еще понятно, если бы революция была причиной прекращения занятий или других подобных явлений, но никак нельзя оправдывать ею выдачу аттестатов за незнание».

22 мая были заслушаны отзывы классной комиссии. Основываясь на ее мнении, Маяковскому выставили общие годовые отметки: по русскому языку — 4, по естествознанию и рисованию — 5, по истории и географии — 4, по математике, французскому и немецкому языкам — 3, по латинскому языку — 2. Ему и еще восьми ученикам назначили переэкзаменовку по латыни и математике. Проверка по математике проводилась 1 июня, Маяковский ответил удовлетворительно. Общая годовая отметка Володи по латинскому языку после проверочного испытания переправлена в аттестационной книге на тройку. В автобиографии Маяковский пишет: «Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался), — на переэкзаменовках пожалели».

9 июня совет решал, кого перевести на основании годовых отметок и проверочных испытаний в следующий класс. В журнале № 57 записано:

«В 3-м параллельном классе:

а) перевести без экзамена в следующий (четвертый) класс учеников... Маяковского Владимира (проверку по латыни выдержавшего)».

А через несколько дней Маяковский навсегда распрощался с Кутаисской гимназией, в стенах которой провел четыре года. 16 июня его матери выдается свидетельство за № 1049 об успехах сына. Имя Маяковского заносится в «Список учеников Кутаисской гимназии, выбывших в 1906 году». В списке помечено: 13-ти лет.

Последняя запись о нем — в журнале педагогического совета, рассмотревшего 1 июля сведения о переменах, происшедших в составе учащихся. В журнале № 82 записано:

«Выбыли. 3 параллельный класс. 1. Маяковский Владимир, 13 июня по прошению матери...»

Трудно было Володе Маяковскому расставаться с городом своего детства, первых ученических лет, в то же время хотелось увидеть новые края. Еще до смерти отца он не раз мысленно переносился по ту сторону гор. Эти чувства и переживания детства Маяковский выразил в автобиографии: «...Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось — это Россия. Тянуло туда невероятнейше».

Горячо прощался Маяковский с друзьями ученических лет, в последний раз спустился на берег Риона, охватил взглядом белокаменный корпус гимназии...

Здесь кончилось его детство, пришла отроческая пора.

# ГЛАВА ШЕСТАЯ

## ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ. ПЯТАЯ ГИМНАЗИЯ

Выехали из Кутаиса двадцатого июля. На три дня задержались в Тифлисе, чтобы повидаться с близкими. Володя с большим интересом знакомился с городом. «Тифлис ему очень понравился», — пишет Александра Алексеевна.

Дальше, до Москвы, — мимолетные впечатления. О них в автобиографии Маяковского две строки: «Дорога. Лучше всего — Баку. Вышки, цистерны, лучшие духи — нефть, а дальше степь. Пустыня даже». Эту поездку поэт вспомнил и описал в 1926 году:

«За Тифлисом начались странные вещи: песок — сначала простой, потом пустынный, без всякой земли, и наконец — жирный, черный. За пустыней — море, белой солью вылизывающее берег. По каемке берега бурые, на ходу вырывающие безлистый куст верблюды».

Ночью, стоя у окна вагона, Володя напряженно всматривался в нефтяные вышки, которые, казалось, «обложили весь горизонт, выбегали навстречу, взбирались на горы, отходили вглубь и толпились тысячами».

Поезд приближался к промыслам. Горели вышки. «От огня шарахнулись тени и стали качать фантастический вышечный город». Зарево пожара виднелось еще долго, хотя город давно уже остался позади. Удивленными глазами смотрел Маяковский на эту стихию огня, вспоминая, быть может, как совсем недавно, в тревожные дни января, пылали дома в Кутаисе.

Поезд шел через Ростов, Козлов, Воронеж, Рязань. Вот она, Россия, которую Володя не раз мысленно себе рисовал.

Первого августа семья Маяковских была уже в Москве. Остановилась у знакомых, в пригороде. Освоившись с новой обстановкой, стали подыскивать квартиру. Сохранилась паспортная книжка Александры Алексеевны с пометками о прописках.

За первые девять лет, прожитых в Москве, семья сменила пятнадцать квартир. Обычно в начале лета, перед отъездом на дачу, Маяковские, экономии ради, освобождали квартиру, а затем осенью снимали новую. Менять квартиру приходилось и в тех случаях, когда перед домом начинали назойливо мельтешить полицейские и становилось беспокойно.

Первая отметка о прописке в Москве была сделана в паспорте Маяковской седьмого августа 1906 года во втором участке Арбатской части. Поселились в доме № 18/11 Ельчинского по Б. Козихинскому переулку. Квартира Маяковских была на третьем этаже внутреннего корпуса, во дворе. Вокруг — высокие дома из красного кирпича. Непривычная теснота.

Снимали в доме Ельчинского три комнаты с коридором и кухней. Большую комнату, ту, что против входной двери, заняли Александра Алексеевна и Володя, другую — сестры Людмила и Оля. Третью сдавали. Первым в ней поселился Исидор Морчадзе, знакомый Маяковским еще по Кутаису. Когда он жил в Грузии, полиция следила за ним как за подозреваемым в покушении на околоточного надзирателя. В Москве он продолжал находиться под надзором, а затем под чужой фамилией — С. Коридзе. Маяковские знали, что предоставили комнату «неблагонадежному» жильцу.

Морчадзе прожил у Маяковских не более месяца. После него в освободившейся комнате поселился студент, тоже «свой, кутаисский» — Василий Канделаки.

Несколько попривыкнув к Москве, Маяковские узнали, что в районе Арбата живет еще кое-кто из знакомых. Так, по тому же Б. Козихинскому переулку снимал комнату И. Карахан (Караханов), неподалеку — братья Ставраковы, затем в разное время здесь же, по соседству, проживали Глушковские, Плотниковы. Близость друзей скрашивала Маяковским одиночество, которое они испытывали в первое время после переезда.

В доме Ельчинского семья Маяковских прожила десять трудных месяцев. Надо было не только обзавестись самым необходимым, но и обеспечить себе пропитание. Выхлопотанной с большим трудом пенсии в пятьдесят рублей никак не могло хватить семье из четырех человек. Поэтому приходилось сдавать одну комнату, да еще отпускать жильцам обеды. Позже выручало немного и умение Володи выжигать по дереву. Получаемые от магазина на Неглинной деньги за кустарные изделия прибавляли к пенсии небольшую сумму.

Лето 1906 года подходило к концу, и надо было думать об учении. Людмила Маяковская, учившаяся в Строгановском промышленно-художественном училище, перешла на третий курс. Олю удалось определить в частную гимназию. Оставался непристроенным Володя.

Переводиться из одной гимназии в другую в то время было делом нелегким. Власти, встревоженные событиями 1905 года, рекомендовали педагогическим советам относиться к приему учеников из других гимназий, особенно в старшие классы, «с большой осмотрительностью».

В феврале 1906 года попечитель Московского учебного округа разослал всем учебным заведениям «крамольный» список учеников, исключенных в различных городах по постановлениям педагогических советов за «политическую неблагонадежность» и участие в «беспорядках». В списке сто шестьдесят одна фамилия. Всем исключенным закрывался доступ в гимназии и училища.

Володя Маяковский ни разу не был «замечен» начальством в каких-либо самостоятельных действиях против «порядка и спокойствия». В свидетельстве, которое он получил в Кутаисе при переходе из третьего класса в четвертый, по поведению стояла пятерка. Это помогло беспрепятственному зачислению его в Московскую пятую классическую гимназию.

Здание, в котором помещалась Пятая гимназия, выходило углом на Поварскую улицу и Большую Молчановку.

Как весь этот район, так и каждая его улица имеют свою историю. В XVII веке на месте Поварской улицы была дворцовая слобода, жили здесь повара государева двора. Смежные с нею переулки носили названия: Хлебный, Скатертный, Столовый. Впоследствии Повар-

ская улица стала застраиваться особняками богачей Долгоруких, Гагариных. Последним принадлежало и здание, отведенное под гимназию. Но не этими особенностями своей начальной истории примечательна Поварская улица. В декабре 1905 года она покрылась баррикадами, с которых рабочие-дружинники вели огонь по наступающим царским войскам, вооруженным пушками и пулеметами.

Пятая гимназия занимала старый корпус с толстыми кирпичными стенами, низкими сводами, полутемными коридорами и лестницами с каменными ступенями. Самая крайняя, круглая комната, служившая гимназической церковью, выходила овалом на скрещение Поварской улицы и Большой Молчановки. Просторный двор гимназии был отделен от улиц высокой оградой, вдоль которой росли деревья. Позже пристроили новый корпус. На третьем этаже этого корпуса находился четвертый класс, в котором учился Владимир Маяковский. Небольшая классная комната окнами выходила во двор.

От дома, где жили Маяковские, до гимназии минут тридцать ходьбы. С острым ощущением новизны всего вокруг подходил Владимир Маяковский к Пятой гимназии в первый день учебного года. Когда начались занятия, он еще не знал никого из новых своих товарищей, держался в стороне.

Его одноклассник В. Герасимов рассказывает: «Впервые я увидел Маяковского перед началом уроков в коридоре нижнего этажа. Он стоял в сторонке, у стены, стриженный, с крупными чертами лица, с мягкой иронической улыбкой, присматриваясь к новой для него обстановке с сутолокой и движением в коридорах, на площадках и лестницах. К нему подходили и, с любопытством оглядывая, спрашивали имя. Низким грудным голосом он отвечал спокойно и серьезно: Маяковский, Владимир».

О семейной жизни, об ученической среде и положении Маяковского в ней, об учителях вспоминает другой его товарищ-одноклассник Александр Пастернак: «Наш класс, в отличие, между прочим, от класса брата Бориса[1], отличался своей серостью. Состав учеников, как я теперь понимаю, был ниже среднего. Да и преподаватели, те, которые вели нас до конца гимназии, были сла-

---

[1] Поэт Б. Л. Пастернак.

бее тех, которые преподавали в классе брата, например, математик Теодорович, латинист Гвоздев, классный наставник и преподаватель русского языка Н. Н. Филатов значительно уступали Литтингу, Фортинскому и, в особенности, М. П. Смирнову (русский язык), которого брат всегда поминал с уважением.

В гимназии были и так называемые «белоподкладочники», старше нас на один-два класса. Они отчасти задавали тон, держали младших в страхе и помыкали нами. Я отлично помню садизм, с которым эти «старшие» мучили младших, например, во время большой перемены, завтрака на ходу. Не дай бог было попасться им в руки в эти минуты «развлечений»! Вот такие садисты, будущие «лицеисты», которые после окончания гимназии попадали либо в «лицей», либо в военные училища, были и в нашем классе. Они составляли свой клан, касту — как хотите это назовите — и держали почти весь класс в подчинении.

Был один, особенно запомнившийся, представитель этой касты Нордфельдт — гориллообразный сангвиник, физически весьма сильный, умственно слабый, вымогатель и предатель. Он, между прочим, как это ни странно, явился причиной особых моих воспоминаний о Маяковском, занявшем в то время обособленное место.

Как новичок, Маяковский должен был бы стать центром внимания, однако он как-то стушевывался, хотя, по-видимому, никаких усилий к этому не прилагал. Он был мрачноват, нелюдим и достаточно силен, что его и спасло, как «новичка»: его оставили весьма скоро в покое... За эту мрачноватость, силу, неловкую угловатость его прозвали «одноглазым Полифемом»[1]. Он не случайно стал защитником нашим в стычках с «белоподкладочниками». У Маяковского искали защиты все помыкаемые. И вот это запомнилось как светлое и приятное отличие от общего мрачно-серого тонуса гимназической жизни.

Я помню, как он рассказывал мне, когда мы как-то ближе сошлись, о доме, о домашней жизни, об отце, которого он очень любил и уважал; у него была свитая из конского волоса цепочка для часов — не то подарок отца, не то сделанная самим отцом, — не помню подробностей, — которую он часто вытаскивал из кармана,

[1] По имени циклопа из «Одиссеи» Гомера.

давал рассматривать, как большую ценность по воспоминаниям.

Маяковский никогда и никому, это можно утвердительно сказать, не говорил ничего, связанного с политической жизнью. Это надо объяснить именно тем, что «ведущей силой» класса были упомянутые «белоподкладочники», которым начальство симпатизировало. Их хулиганство — было и такое — сходило с рук. Это могло вызвать недоверие ко всему классу.

Маяковский учился средне: то есть мне уже тогда было ясно, что он уроков не готовил и к ним относился довольно равнодушно, его увлекало что-то иное. Странно то, что и литература и рисование — его не затрагивали больше, чем другие предметы. Между тем уже тогда преподаватель А. С. Барков, как я понимал, чем-то нас привлекал и увлекал. Я до сих пор чувствую влечение к биологическим наукам, которое было совершенно ясно заложено именно Барковым. Маяковский даже и к занятиям по «естественной истории» относился как-то равнодушно. Вместе с тем чувствовалось (интуитивно, конечно: он сам не прилагал к этому стараний), что Маяковский больше знает, чем кто-либо из нас, что он может — как теперь я бы сказал — «много дать». Его не так любили, как уважали, если можно так выразиться про головорезов, какими мы были в те годы.

Часто меня поражала в Маяковском какая-то привлекательная наивная доверчивость, вероятно, результат его обособленной жизни, далекой от мелких интересов гимназической среды. Он по своим качествам мог бы быть душой класса, если бы последний располагал к тому. Однако он не только не был душой, — он был одинок в классе. Мои попытки сблизиться с ним не увенчались успехом, он на какой-то ступени уходил в себя и замыкался. Между прочим, этим он отличался и позже».

Володе Маяковскому было чуждо зазнайство, но он был самолюбив, настойчив и тверд, обидчику, если такой выискивался, отвечал коротко и резко. Свои взгляды умел отстаивать без колебаний и уступок, не меняя высказанного мнения. Собеседнику смотрел в глаза, не отводя взгляда. Хмурое обычно выражение лица порой сменялось улыбкой. Чуткий к добру и справедливости, он всегда угадывал человечность в других. Таким он за-

печатлелся одноклассникам. Чувствуя себя взрослее их, долгое время ни с кем не поддерживал близких отношений. В то же время не завязывал знакомств и со «старшими». Приходил в гимназию и уходил почти всегда один. На уроках был серьезен и сосредоточен. Когда учитель вызывал его к доске, он вставал не торопясь и как-то грузно, отвечал на вопросы тоже неторопливо, с пониманием того, о чем его спрашивали.

С течением времени он стал более общительным, хотя по-прежнему ни с кем близко не сходился и не дружил. Однако его фигура, внешние черты запоминались надолго. Так, впервые познакомившись с Маяковским летом 1914 года, Б. Л. Пастернак вспомнил, что он встречал его в коридорах Пятой гимназии, в которой сам учился, но был впереди Маяковского на два класса.

На большой перемене гимназисты выходили во двор: одни, чтобы побегать, поиграть, другие — посидеть на скамейке под деревом, поделиться впечатлениями дня, поговорить о чем-либо. Но вот раздается звонок, все направляются в классы. Володя, крупно шагая, опережает бегущих малышей.

На уроках многие отвлекались недозволенным чтением, прикрывая «интересную» книгу учебником. И если кто-либо забывался, то сидевший рядом товарищ выручал его едва заметным толчком. Из карманов Володи постоянно выглядывали газета или журнал, хотя приносить их в гимназию запрещалось. Широко распространены были тогда приключенческие книжонки, так называемая «пинкертоновщина». Но Маяковский не поддавался соблазну и отзывался об этих книжонках пренебрежительно. У него был свой «круг чтения». Даже в самой гимназии ему удавалось читать недозволенные книги.

В автобиографии он отмечает: «Под партой «Анти-Дюринг».

Литературой Маяковского снабжали дома студенты, снимавшие комнаты. «Анти-Дюринга» дал ему И. Карахан, живший неподалеку от Маяковских, студент третьего курса юридического факультета. То было легальное издание, но в стенах гимназии оно становилось запретным. Володя серьезно рисковал, принеся однажды книгу, но настороженно оберегал ее от посторонних глаз. После прочитанных в Кутаисе политических брошюр это

был первый в его руках капитальный марксистский труд.

Монотонную жизнь гимназии не переставали нарушать события, служившие отголосками минувших волнений. Как-то раз ученик, слывший среди товарищей «знатоком» пиротехники, принес в класс на урок законоучителя маленький самодельный «снаряд», величиной с грецкий орех, и пустил его в классную доску. Раздался сильный взрыв. Урок был сорван.

Начальство всполошилось, началось расследование, допрашивали каждого в отдельности, иных по нескольку раз, надеясь вырвать признание у слабохарактерных. Но класс молчал. Одни — по убеждению, другие, боясь расплаты за ябедничество. Дошла очередь до Маяковского. Как все в классе, он отказался назвать инспектору виновника обструкции. «Не видел, отвернулся в это мгновение». Его даже как-то забавляла вся эта история, напоминавшая метание шумовых петард в Кутаисской гимназии. Злополучный «грецкий орешек» так и остался неразгрызенным начальством.

С наступлением реакции в гимназии и других учебных заведениях взялись за составление «отчетов» и «обзоров» с описанием «фактической стороны беспорядков». В Московском учебном округе подготовлялся «Перечень выдающихся событий в жизни мужских гимназий за 1905—1907 годы». Это делалось с целью недопущения новых забастовок, подавления всякого проявления политической активности учащихся.

Об участии Пятой московской гимназии в политической жизни минувших лет в «Перечне выдающихся событий» говорится: «Занятия здесь прекратились вследствие возбуждения учеников уже в конце сентября 1905 года под влиянием прокламаций с призывом к вооруженному восстанию». До середины января 1906 года академическая жизнь прерывалась три раза. И хотя ко времени поступления Владимира Маяковского в Пятую гимназию занятия во всех классах уже велись регулярно, тем не менее гимназическое начальство было настороже. Срыв занятий, всякое нарушение нормального течения школьной жизни расценивалось как явное пособничество «анархии», как непосредственное участие детей в революционном движении и «передача их в руки революционной партии».

Но как ни старалась гимназия оградить учащихся от внешней среды, подразумевая под этим силы револю-

ции, среда эта продолжала оказывать свое влияние на молодежь.

Казарменная дисциплина, вводившаяся в учебных заведениях, угнетала Маяковского и его сверстников.

— В Кутаисе было повольнее. А здесь, как говорится, даже чихнуть нельзя, — заметил он как-то своему товарищу Герасимову в беседе о школьных порядках.

— А знаешь ли, — ответил Герасимов, — что у нас только с этого года отменили карцер?

Зато «провинившимся» целыми часами приходилось отсиживаться в гимназии. Оставленные в наказание после всех уроков ученики должны были являться на площадку перед дверьми актового зала на втором этаже. В это «чистилище согрешивших душ», как называли гимназисты площадку, собирались неудачники разных возрастов в ожидании приговора судьи-инспектора. Инспектор Тарасов появлялся в сопровождении двух надзирателей, подходил к каждому ученику и, выслушав его «исповедь», тут же диктовал помощнику свое решение. Часто снижал отметку по поведению на полбалла, а то и на целую единицу за четверть учебного года.

Маяковский не давал учителям повода делать ему замечания. К шалостям и проказам товарищей относился безразлично, но когда вопрос касался всего класса или все вместе устраивали в знак протеста шумовую обструкцию, он нисколько не отставал от товарищей и даже, как замечали они, входил в азарт. Но таких случаев, по сравнению с минувшими годами, становилось все меньше.

Для одной видимости идя на отдельные «послабления», диктовавшиеся самим ходом событий, реакция все более поднимала голову. Педагогов, «неугодных» начальству, увольняли. Старались освободиться от тех, кто, как об этом говорилось в «Перечне выдающихся событий», трусил и не оказывал содействия начальству или «даже начинал по окончании беспорядков заискивать перед учениками и чуть ли не просить у них прощения».

В обновленный состав педагогического совета 5-й гимназии входили: директор П. И. Касицын, назначенный на эту должность в октябре 1905 года, инспектор Н. Г. Тарасов, законоучители В. И. Благовещенский и К. Я. Орлов, преподаватели Н. И. Липпинг, И. Г. Гугунава, Н. Н. Филатов, С. П. Гвоздев, А. Е. Кан, Ф. Э. Гют-

тиг, Л. Л. Моккан. Секретарем совета был П. Н. Фортинский.

Все более явственно проявлялся незримый, но неизменно ощущавшийся антагонизм между педагогами и учащимися. Только некоторые учителя, как, например, А. С. Барков, М. П. Смирнов, умели проложить путь к сердцу ученика, противостояли таким сторонникам «порядка», как классный наставник Филатов и инспектор Тарасов.

«Воспитатели», ревностно следившие за «порядком» в гимназиях, всячески старались обеспечить угодный правительству социальный состав учащихся, преобладание числа детей из господствующих сословий. Так, в московской Пятой мужской гимназии насчитывалось 185 детей дворян, купцов и чиновников, 59 — мещан и «цеховых» и 17 — крестьян.

Еще в ноябре 1905 года попечитель Московского учебного округа обязал педагогические советы «не допускать внесения в жизнь школы таких явлений, как ученические организации», а в январе 1906 года он же указывал, что «до последнего времени в жизни некоторых учебных заведений наблюдалось продолжение ученических сходок и проявление деятельности организаций, которые не только отвлекали учеников и учениц от их прямых обязанностей, но прямо вовлекали в политическую деятельность».

Гимназическое начальство, получившее полную свободу действий по пресечению деятельности ученических организаций, имело еще секретное указание вводить всяческие ограничения в школьную жизнь, усилить наблюдение за «благонадежностью» учащихся. Директорам гимназий предписывалось в случае устройства в императорских театрах утренних бесплатных спектаклей для учащихся билеты на руки не выдавать и посылать в театры учащихся «с разбором».

Чтобы легче было опознать гимназиста на улице или в том или ином общественном месте, в особенности на «вредных» лекциях и спектаклях, учащимся было запрещено появляться вне дома в обычном, так называемом «партикулярном платье». С 1 декабря 1906 года было восстановлено «обязательное для учеников ношение верхнего форменного платья». Однако Маяковского можно было иногда встретить на улице в полуформенной шинели и низкой мохнатой кавказской папахе.

Со дня поступления в московскую гимназию Владимир Маяковский считался одним из примерных учеников, то есть вел себя так, как этого требовали школьные правила. Между тем он скрывал свой внутренний мир и от учителей и от товарищей и, только выйдя за ворота гимназии, начинал жить близкими ему интересами.

Не он один тяготился серой, скучной и однообразной гимназической жизнью. Александр Пастернак, вспоминая школьные годы, пишет: «Наша семейная жизнь того времени намного превышала интересы гимназической — я с детства любил музыку, мать была известной в свое время пианисткой; у нас в доме музицировали, у отца собирались художники; мы с братом Борисом как-то вросли в эту среду и — в этом нет ничего удивительного — я рос помимо гимназии, которая в лучшем случае — сосуществовала... Главным образующим нас был дом, то есть (очень существенный момент!) квартира внутри Школы живописи, ваяния и зодчества. Гимназия же для меня была синонимом чего-то скучного и страшного. Я неважно учился, то есть учился для того, чтобы не всегда получать тройки. Из гимназии я бежал домой, как к возврату «к себе».

У Маяковских была другая обстановка и среда, но также отчужденная от гимназии.

Об этой же отчужденности пишет Илья Эренбург: «Мне кажется, что все гимназии походили одна на другую. Конечно, кое-чему я в школе научился — и от некоторых преподавателей и от товарищей, но уж не столь многому; куда лучшей школой были книги, да и те люди, с которыми я сталкивался вне стен гимназии».

Как только кончались занятия в гимназии, Володя спешил домой. Его влекло в комнату, в которой поселился новый жилец — студент Василий Канделаки. О нем позже Маяковский писал: «Помню — первый передо мной «большевик». У него собирались товарищи, проводили время в горячих спорах, в чтении нелегальной литературы. Иногда, как бы спохватившись, они недоуменно оглядывали сидевшего неподвижно долговязого подростка.

— Это сын хозяйки, Володя... свой, — спешил поставить в известность товарищей Канделаки.

Друзья Канделаки смотрели на Маяковского, как на подростка. Но он, не по годам возмужавший, прояв-

лял ко всему, что слышал на этих собраниях-беседах, гораздо более серьезный интерес, чем это казалось на первый взгляд. Вначале он робко просил Канделаки дать ему почитать «что-нибудь революционное», а затем перестал спрашивать, сам брал интересующие его книги и с жадностью поглощал их.

Собираясь у Канделаки, студенты иногда заставали Маяковского за выпиливанием, разрисовкой или выжиганием по дереву. Занимался он этим не ради развлечения и потом пояснил в автобиографии: «Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать».

Выполнял он также заказы на плакаты.

В. Герасимов рассказывает, как однажды после уроков Маяковский, выйдя вместе с ним из гимназии, сказал, что собирается заглянуть в Третьяковскую галерею, где уже побывал один раз, но не окончил осмотр. Тогда-то Герасимов узнал, что Володя рисует, и выразил желание зайти к нему, посмотреть его картины. Маяковский показал товарищу свои работы. Это были, как вспоминает Герасимов, преимущественно эскизы пейзажного характера.

В течение 1907 года Маяковские трижды меняли квартиру все в том же первом участке Сущевской части. 2 июня они прописались в доме № 40 по Долгоруковской улице, 4 сентября — в доме № 32 по 3-й Ямской и 6 октября — в доме № 28 на той же улице.

Когда Маяковские перебирались на новую квартиру, Володя, расставаясь с Василием Канделаки, решил подарить ему что-нибудь на память. И вот он сел делать рамку. Сперва выпилил в доске «окошко» для карточки, потом стал выжигать рисунок. Вскоре появились очертания башни сказочного кремля. Впереди морские волны, по ним плывет вереница парусных кораблей. Совсем как в сказке Пушкина о царе Салтане: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет». Покончив с рисунком, Маяковский взялся за кисть. На доску легли белила — облака, затем и другие краски. Рамка ожила. Характерна выжженная на рамке подпись: Вол. Маяк.

О знакомстве Владимира Маяковского с Василием Васильевичем Канделаки рассказывают строки из автобиографии поэта и более поздние страницы воспоминаний самого Василия Васильевича.

В 1924 году Маяковский и Канделаки встретились в

Тбилиси. Это была последняя их встреча. В завязавшейся беседе старые друзья вспоминали о первых годах своего знакомства. Вспомнили и о подарке, сделанном Маяковским своему другу юности. В. В. Канделаки об этой встрече говорил: «Мне показалось, что в теплоте его (Маяковского) тона было нечто, относившееся не лично ко мне, а к тому периоду его жизни, которым он, видимо, дорожил и как-то по-своему, скрытно гордился».

Период жизни, о котором упоминает В. В. Канделаки, определялся интересами, все более властно врывавшимися в жизнь Владимира Маяковского.

Не имея единомышленников в своей Пятой гимназии, он стал дружить с Сергеем Медведевым и его товарищами, учившимися в Третьей гимназии. Медведев был на два года старше Маяковского, но интересы их совпадали, и они с полуслова понимали друг друга. Они познакомились через своих сестер. Вместе с Медведевым, при его поручительстве, Маяковский принимал участие в сходках и занятиях социал-демократического кружка учащихся Третьей гимназии.

«Мои приятели и я сам, — вспоминает С. С. Медведев, — все мы тогда, как это бывает в юношескую пору, увлекались писанием стихов. Наши лирико-романтические излияния были полны весьма наивного подражания поэтам-символистам Брюсову, Белому, отчасти Бальмонту. Мы постоянно читали свои стихи друг другу, обсуждали их. Володя всегда держался в стороне и от писания стихов и от критики. Он относился ко всему этому очень неодобрительно, и наши стихи явно вызывали у него какую-то внутреннюю оппозицию и неприязнь. К разговорам, которые велись в его присутствии, он проявлял острый интерес только тогда, когда они касались общественно-политических тем и событий».

Но, конечно, по одному только внешнему проявлению такой замкнутости и сосредоточенности в себе нельзя было судить о якобы равнодушном, безразличном отношении Маяковского к поэзии.

Возможно, что подмеченное Медведевым настроение Маяковского совпадало с тем периодом его миросозерцания, который выделен в автобиографии заголовком «Чтение»:

«Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марк-

сизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии».

И все-таки, как только Маяковский узнал, что Третья гимназия готовится выпускать нелегальный журнал «Порыв», он задал себе вопрос: «Другие пишут, а я не могу?!» И, по собственному его выражению, «стал скрипеть».

Первое стихотворение получилось «невероятно революционно», второе «вышло лирично». Относительно второго он поясняет в автобиографии: «Не считая таковое состояние сердца совместимым с моим «социалистическим достоинством», бросил вовсе».

Интерес Маяковского к журналу «Порыв», по-видимому, не ограничивался одними литературными исканиями. Журнал, по утверждению С. Медведева, имел политический оттенок. Об этом писала и редакция журнала: «В настоящее время, когда политическая и общественная жизнь бьет ключом, когда народ охвачен революционным движением, а все растущая реакция хочет во что бы то ни стало подавить это движение... неужели теперь, в это горячее, страстное время, мы должны закрыть глаза на все, что делается перед нами, и молча пройти мимо. Неужели мы должны говорить лишь об искусстве, литературе, об академической жизни теперь, когда именно политические и общественные вопросы... могут и должны служить главным предметом обсуждения».

Не потому ли, написав сугубо лирическое стихотворение, Маяковский вспомнил о своем «социалистическом достоинстве» и собирался бросить писать?

Могли ли стихи Маяковского быть помещены в вышедших в феврале — апреле 1907 года трех номерах журнала «Порыв»? Конечно, могли. К тому же ведь известно, что он написал их, как только узнал о намечающемся выпуске журнала, и по существу для этого журнала.

Е. З. Балабанович, обнаруживший первые два номера журнала, успел опросить организаторов и сотрудников «Порыва» С. М. Чемоданова, С. С. Игнатова, А. К.

Бергера и других, но все они, как пишет он, «решительно отвергли предположение о сотрудничестве Маяковского в журнале». Однако, поскольку журнал издавался нелегально и материалы помещались в нем под псевдонимами, то можно предположить, что стихи были переданы Маяковским для «Порыва» через близкого товарища Володю Гзовского, заправлявшего, как утверждает Медведев, журналом, или через кого-нибудь другого, и нет ничего удивительного в том, что его сотрудничество не запомнилось основным организаторам журнала.

В Пятой гимназии, в которой учился Маяковский, тоже издавался нелегальный ученический журнал — «Борьба», одним из организаторов которого был ученик Осколков. Возникает вопрос: почему же Маяковский в своей автобиографии не называет «Борьбу», а говорит только о журнале «Порыв»? Не потому ли, что в те годы ученические журналы выпускались с соблюдением известной конспирации: не все учащиеся могли знать о них, а тем более об их организаторах и активных участниках. Мог не знать о журнале, издававшемся в Пятой гимназии, и Маяковский, ни с кем из товарищей особенно не сближавшийся.

Весна 1907 года принесла много волнений. Во всех гимназиях, начиная с четвертого класса, ввели переходные экзамены. Это явилось неожиданностью и заставило усиленно готовиться по основным предметам к предстоящим испытаниям.

Еще с конца минувшего года в учебную программу стали вносить изменения. Маяковский, который в самом начале своей гимназической жизни имел столкновение с законоучителем из-за церковнославянского языка, мог теперь радоваться: министерство утвердило циркуляр об отмене самостоятельного курса церковнославянского языка в четвертых классах мужской гимназии при условии, что его будут проходить в третьих — пятых классах попутно с русской грамматикой и древней словесностью.

На заседаниях педагогического совета все чаще отмечались трудности, связанные с перегруженностью программ по некоторым предметам, в частности по географии и новым языкам в младших классах и по греческому языку в четвертом и пятом классах. Наряду с этим в 1907 году в четвертых — восьмых классах было при-

бавлено по одному уроку математики и по два урока (факультативных) природоведения. Школа хотела наверстать пропущенное за время ученических забастовок.

Володя Маяковский очень отстал по математике. Помочь ему подтянуться вызвался Иван Богданович Карахан, который был лет на десять старше Маяковского, но всегда внимательно его выслушивал, охотно вступал в разговор с ним.

После занятий по математике обычно завязывалась беседа. Однажды Карахан рассказал своему юному другу о событиях пятого года, о похоронах Баумана, о баррикадах на Пресне, обо всем, что докатывалось в отголосках до Кутаиса и что Володя тогда по-своему, по-детски, осмысливал и переживал. Маяковский попросил показать ему места, где сражались пресненские дружинники, и на следующий день, проходя по улицам Пресни, пытливо всматриваясь в дома и перекрестки, он о многом расспрашивал Ивана Богдановича, непосредственного участника событий.

Познакомившись с Маяковским ближе, присмотревшись к нему, оценив его волевые качества и революционные устремления, Карахан стал давать ему политическую литературу, нелегальные листовки, помогал в изучении трудов Маркса, Энгельса, Ленина, философии и политической экономии.

Короткая фраза в автобиографии Маяковского: «Единицы, слабо разноображиваемые двойками» означала почти полный разрыв с гимназией уже в четвертом классе. И действительно, как отмечает Карахан, «Володя мало интересовался гимназическими предметами, даже тяготился ими, хотя имел колоссальные способности и мог легко преодолеть и эту математику, и все остальное».

Когда на перемене кто-либо из товарищей обращался к нему за помощью, он охотно подсаживался и объяснял заданное или терпеливо, не торопясь перелистывал словарь, помогал в переводе трудных слов. Его любили за эту отзывчивость, зная, что сам он почти не готовит уроков.

При переходе из четвертого в пятый класс Маяковский получил по русскому, греческому, французскому и немецкому языкам и по математике — тройки, по истории — четверку и по географии — пятерку.

Географию преподавал Александр Сергеевич Бар-

ков, снискавший любовь и уважение учащихся. Простой и скромный, спокойный и терпеливый, а главное, сердечный и чуткий в общении со своими воспитанниками, он прививал им любовь к преподаваемому предмету. К тому же Маяковский по-прежнему любил книги о путешествиях и с особым, отнюдь не школьным, интересом относился к истории и географии.

По латыни ему дали перезкзаменовку. Преподавал латинский язык директор П. И. Касицын. Володя стал готовиться. Писал сестре Оле, разлучившись с нею на лето: «...Сижу дома или что-нибудь читаю, или же учу уроки и ругаю бога за вавилонское столпотворение. Захотелось ему башню разрушить, он и перемешал языки, а я за него страдай и учи уроки, совсем у бога логики нет!».

Судя по письму, недаром Маяковский имел за свои познания из «священной истории» четверку по «закону божьему».

Переводя Маяковского в пятый класс, педагогический совет проставил ему по поведению пятерку, еще не зная истинного значения этой отметки.

# ГЛАВА СЕДЬМАЯ

## В СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ КРУЖКЕ. ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ. УХОД ИЗ ГИМНАЗИИ

События, происходившие в начале учебного года в Третьей гимназии, не могли не взволновать Владимира Маяковского. Его друга и единомышленника Сергея Медведева и других товарищей в числе тридцати двух учеников старших классов исключили из гимназии. Они поставили свои подписи под требованием удалить инспектора Языкова, издевавшегося над учащимися и повинного в самоубийстве ученика третьего класса Тихомирова. Трагедия Тихомирова не была изолированным случаем — через несколько месяцев, 11 марта 1908 года, выстрелом из пистолета пытался покончить самоубийством Перфильев, ученик той же гимназии.

Исключение большой группы гимназистов получило широкую огласку и обсуждалось во всех гимназиях Москвы.

«Володя был в курсе всех этих событий, с большим вниманием следил за их развитием, обсуждал с нами возможные последствия для нас, — вспоминал С. Медведев. — Эта история вызвала сильнейший подъем наших революционных настроений и активизировала работу нашего социал-демократического кружка».

Володя, посещавший с Медведевым занятия кружка, несомненно чувствовал, что и над ним постепенно нависает угроза исключения из гимназии, но это не останавливало его, и он еще настойчивее взялся за изучение материалов, входивших в программу кружка. Они про-

ходили «Манифест Коммунистической партии», «Эрфуртскую программу германской социал-демократии», «Экономическое учение Карла Маркса» и другие книги.

Все очутившиеся вне стен учебного заведения гимназисты еще более сплотились и выдержали первое свое боевое крещение. Некоторые из исключенных учеников, и прежде всего С. Медведев, установили связь с партийными товарищами, получали от них первые задания, а потом и сами вели пропагандистскую работу среди рабочих.

Нашел путь в революционную среду и Владимир Маяковский, общавшийся с передовыми студентами. Занятия в социал-демократическом кружке дополнялись беседами, которые проводил с ним студент и уже партийный организатор и пропагандист И. Б. Карахан. Встречались они через день-два — на протяжении почти года. С помощью Ивана Богдановича Володя изучал политическую экономию, отдельные главы «Капитала» Маркса, «Анти-Дюринга» Энгельса и труд Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической революции», перепечатанный нелегально в 1905 году с женевского издания Московским комитетом РСДРП. И когда несколько позже, в начале 1908 года, член Московского комитета В. И. Вегер (Поволжец) задал Маяковскому, перед тем как направить его на практическую партийную работу, ряд вопросов, то неизвестный ему долговязый юноша толково ответил, показав тем самым, что хорошо и твердо усвоил основные положения книги «Две тактики».

Маяковский отчетливо запомнил «синенькую ленинскую «Две тактики» еще и потому, что само это нелегальное издание видом своим учило конспирации. Охваченный мыслями о предстоящей работе, Володя часто расспрашивал Карахана о методах и формах заметания следов, распознавания полицейских шпиков, просил еще и еще раз повторить рассказанное ранее из собственного опыта нелегальной работы.

«Убедившись в серьезных намерениях Маяковского, — вспоминал И. Б. Карахан, — я начал уже систематически заниматься с ним теорией марксизма. Он обладал большими способностями, быстро и хорошо усваивал прочитанное. Потом я стал давать ему поручения, которые он хорошо выполнял».

Это был именно тот путь, которым шли к партии

наиболее теоретически подготовленные и созревшие для практической работы в трудных условиях революционного подполья юноши.

На первых порах Маяковскому поручалось разносить нелегальную литературу, сообщать партийным товарищам о местах явок и пароле. Б. И. Карахан водил Маяковского на занятия подпольных кружков, которыми руководил, и Володя участвовал в беседах с рабочими фабрики Ранталлера, с булочниками Филиппова, с печатниками и наборщиками типографий Мамонтова, Кушнарева и других. Слушая, как проводится беседа, Маяковский и сам постепенно овладевал искусством пропаганды. Карахана рабочие знали как Ванеса, Маяковского как товарища Константина. Партийные клички как бы сравняли их в возрасте.

Суровая действительность все чаще напоминала о строгом соблюдении конспирации, учила изобретательности в «заметании» своих следов. Был такой случай: Карахан вышел вместе с Маяковским из дома на Бронной, где была назначена явка, за ними увязался полицейский агент. Чтобы избавиться от него, оба одновременно вскочили в шедшие в противоположных направлениях вагоны трамвая. Шпик замешкался и отстал от них.

Ну разве до уроков было при такой напряженной, захватывающей жизни! В первой четверти 1907—1908 учебного года Маяковский учился преимущественно на тройки. Тройки он имел по русскому, латинскому и греческому языкам, а также по алгебре, геометрии и истории. По французскому языку у него была двойка.

В наши годы кто-то в разговоре высказал предположение, что Маяковский, часто ездивший за границу, должен хорошо владеть иностранными языками.

— Почему вы так думаете? — с удивлением спросил Маяковский.

— А как же — гимназическое образование плюс заграничные поездки...

— К сожалению, нет, — возразил поэт и внес поправку: — Заграничные поездки минус гимназическое образование.

Во второй четверти отметки Маяковского еще более снизились. По русскому и греческому языкам он имел тройки, по латинскому, французскому и немецкому — двойки, и только по истории — четверку.

Средняя успеваемость учащихся Пятой гимназии составила в 1907 году восемьдесят шесть процентов. В течение года за неудовлетворительные отметки по предметам и неполный балл по поведению был исключен из гимназии лишь один ученик. Начальство гимназии пока еще считалось с общественным мнением и боялось прибегать к крайним мерам.

Больше всего отражались на учении пропуски занятий или, как называли их, «манкировки». По одному только четвертому классу, в котором учился Маяковский, число «манкировок» по уважительным причинам составило 3970, а по неуважительным — 10. Но, конечно, не всегда «уважительная причина» была действительно уважительной.

В связи с этим попечитель Московского учебного округа предложил директорам гимназий и всех училищ самым решительным образом «потребовать от учеников правильного посещения классов». Попечитель сокрушался, что «частые манкировки» не только мешают правильному ходу занятий всего класса, но и дают возможность учащимся проводить время «в полной праздности и затягивают их в такую среду, которая часто ведет их к физической и нравственной гибели». Не приходится сомневаться в том, что попечителя страшила политическая среда и вовлечение учащейся молодежи в революционную жизнь.

Взглянем на три обособленные цифры в табеле Маяковского за вторую четверть учебного года в пятом классе.

По поведению у него неизменная пятерка. За внимание, как в первой четверти, стоит тройка, по прилежанию балл снизился с четверки на тройку. Увеличилось число пропущенных уроков. Если в первой четверти пропущен 31 урок, то во второй — 43.

Безупречное поведение Владимира Маяковского усыпляло настороженность начальства. Между тем все очевиднее становилось, что он чем-то отвлекается от уроков. На это обратил внимание и классный наставник Филатов. Он даже пожаловался его сестре: «Ваш брат очень способный, про него нельзя сказать, что он озорник, но в нем и его поведении есть что-то такое, что плохо влияет на товарищей». Не подкрепленное фактами, это мнение, однако, не повлияло на отметку по поведению.

Если Маяковскому в Кутаисе уже «было не до учения», то в Москве он и вовсе отдалялся от школы. Все интересы и устремления его сталкивались с леденящим холодом гимназической жизни.

Не случайно группа видных профессоров в своем коллективном ответе на вопрос, заданный тогда о средней школе, отметила, что у молодежи «самостоятельность мышления не только не развита, но притуплена» и что у учащихся «не видно никакой привычки ни наблюдать явления, ни анализировать комбинации и производить обобщения».

Однако, не в пример многим своим сверстникам, Маяковский и некоторые другие ученики жадно впитывали в себя все полезное, живое, что в какой-то степени отвечало их складывающемуся мировоззрению. Уже в те годы Маяковский внутренне протестовал против «всяческой мертвечины» и «хрестоматийного глянца», которым усиленно покрывались и события истории и произведения классиков.

Этот протест позже выразился в стихотворных строках о широко распространенном в старое время учебнике Иловайского по истории:

> Мутят Иловайских больные вопросы:
> — Была ль рыжа борода Барбароссы?..
> Пускай!
> Не копаюсь в пропыленном вздоре я —
> любая в Москве мне известна история!

О том, как в гимназии выхолащивалась и искажалась сущность тех или иных понятий и явлений, можно судить по такому характерному примеру. На заседании попечительского совета Московского учебного округа разгорелся спор по поводу оценки письменной работы на тему о Пушкине, выполненной одним из учеников на выпускном экзамене. Комиссия преподавателей поставила за эту работу «четверку», а помощник попечителя округа Исаенков — «двойку». В чем же суть разногласий, столь резко выявившихся в оценке экзаменационного сочинения? Член попечительского совета Лопатин дал такое «объяснение»: «В данной теме упоминание о страданиях русского народа является ненужным», и первая часть сочинения «очевидно, начата под влиянием чтения некоторых газет».

Итак, работа ученика, глубоко задумавшегося о судь-

бах русского народа, была признана чуть ли не крамольной.

Не удивительно после этого, что Маяковскому было запрещено на ученическом вечере в гимназии прочесть «Размышления у парадного подъезда» Некрасова. Очевидно, и здесь учителей испугали упоминания о страданиях народа, в особенности строки:

...Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?

В 1919 году, отвечая на вопрос литературной анкеты: «Как вы относились к Некрасову в детстве?», Маяковский написал: «Пробовал читать во втором (здесь явная описка, должно быть — в четвертом) классе на вечере «Размышления». Классный наставник Филатов не позволил».

Каждый такой случай, касался ли он самого Маяковского или другого ученика, еще больше отчуждал от гимназии.

В конце января 1908 года министерству народного просвещения удалось с помощью полиции разгромить социал-демократический Союз учащихся средних учебных заведений Москвы, причем была установлена связь членов этого союза с Шестой и Пятой гимназиями, с московским коммерческим институтом и даже с таким оплотом буржуазного воспитания, как гимназия имени Медведниковых. При обысках были найдены каучуковая печать, устав Союза и много нелегальной литературы.

Этот крупный провал организации нашел отголосок и в Пятой гимназии, и, конечно, Маяковский, как все другие ученики, не мог о нем не знать. В январе того же года полиция обрушилась на ученика Пятой гимназии Осколкова, причастного к организации нелегального ученического журнала «Борьба». Начальство гимназии всячески старалось найти новые нити, связывавшие гимназистов с «внешней средой». Как вспоминает Илья Эренбург, учившийся в Первой московской гимназии, Осколков был через некоторое время выпущен под залог, а в 1911 году осужден Судебной палатой, разбиравшей дело об ученической социал-демократической организации.

Обстановка в гимназии становилась напряженной. Володя продолжал выполнять поручения партийного организатора и об этом дома никому не рассказывал. Это подтверждается воспоминаниями Л. В. Маяковской: «Мы догадывались об этой его работе. Мы стали опасаться, что и его арестуют».

Сам Володя приходил к мысли, что пора уходить из гимназии, кончать с двойственностью. В его разговорах с Сергеем Медведевым не раз проскальзывала мысль о том, что, бросая гимназию, он, будущая опора матери, ставит под угрозу ее благополучие, и эта мысль, как заметил Медведев, его беспокоила. Но выбор уже был сделан.

В третьей четверти учебного года отметки Маяковскому не выставлялись. Через все пустые клетки ведомости написано: «По болезни не аттестован». Он болел воспалением легких. Пропущено было сто девятнадцать уроков. Этим подтверждалось заявление Александры Алексеевны Маяковской директору гимназии о том, что сын ее по болезни не может продолжать учиться в гимназии. Да и сам Владимир Маяковский несколько позже, после первого ареста, заявил на следствии, что «вышел из 5-го класса Московской 5-й классической гимназии по болезни». Между тем в своей книге о сыне А. А. Маяковская пишет: «Вступив в партию, Володя попросил меня взять документы из гимназии, так как в случае ареста, конечно, его исключили бы из гимназии без права поступления в другие учебные заведения». Просьба сына все разъяснила в семье.

Маяковский был вполне самостоятелен в предпринимаемых шагах. После его выздоровления Людмила Маяковская жаловалась в письме к сестре: «Сейчас он поправился и вследствие своего характера не признает никого и ничего, уже выходит, уже собирается ехать на днях к Медведевым. С ним просто беда — упрям и настойчив, нельзя говорить».

Настоящая причина ухода Маяковского из гимназии оставалась для гимназического начальства до поры до времени невыясненной. Освободить же его «по болезни», видимо, не могли, и поэтому удовлетворение просьбы А. А. Маяковской мотивировали: «за невзнос платы в первой половине учебного года». За полгода следовало внести пятьдесят рублей, ровно столько, сколько составляла месячная пенсия матери.

Товарищи Маяковского по пятому классу помнят, что Володя в последние дни своего пребывания в гимназии был особенно задумчив и чем-то озабочен. После уроков, как вспоминает Герасимов, Маяковский торопился скорее уйти один. Часто пропускал занятия. Но о себе никому ничего не рассказывал. На вопросы отвечал скупо и уклончиво, и товарищи оставили его в покое.

Герасимову он поведал:

— Ну, друг, скоро расстанемся... ухожу.

А через несколько дней сказал еще решительней:

— Вот и все. Ухожу совсем. Больше не приду. А ты заходи.

Это было первого марта 1908 года.

Уход из гимназии принес огорчение семье и самому Владимиру Маяковскому. Но иначе не могло быть: он уже работал по заданию Московского комитета РСДРП в Лефортовском, пролетарском районе города.

Через две недели после ухода Маяковского из гимназии ему выдается документ за № 181:

«Свидетельство

Предъявитель сего, бывший ученик пятого класса Московской 5-й гимназии Маяковский Владимир, по происхождению сын чиновника, вероисповедания православного, родившийся 7 июля 1893 года, находился в этом заведении с августа 1906 года по 1-е марта 1908 года, был отличного (5) поведения и в 1906/7 учебном году, при переходе из четвертого класса в пятый, показал следующие успехи:

| | |
|---|---|
| в законе божьем | 4 |
| русском языке | 3 |
| латинском | 3 |
| греческом. | 3 |
| математике | 3 |
| физике | — |
| истории | 4 |
| географии. | 5 |
| французском языке. | 3 |
| немецком | 3 |

До поступления в Московскую 5-ю гимназию означенный Маяковский Владимир обучался в Кутаисской гимназии.

Уволен (надписано над зачеркнутым печатным: выбыл) он из Московской 5-й гимназии с 1 марта 1908 г. за невзнос платы за учение за 1 половину 1908 г. Пра-

ва его, Вл. Маяковского, как окончившего курс четвертого класса, изложены ниже сего в пункте 2.

В удостоверение всего вышеизложенного дано ему, Владимиру Маяковскому, сие свидетельство за надлежащей подписью и с приложением казенной печати. Москва, марта 15 дня 1908 года.

Директор П. Касицын
Члены педагогического совета:
прот. В. Благовещенский
Н. Филатов
Л. Моккан
Ив. Липпинг
А. Кан
А. Барков
С. Гвоздев
А. Мартынов
Секретарь Педагогического совета
П. Фортинский

Примечание. При поступлении в другое учебное заведение представляется, кроме того, срочная ведомость об успехах, внимании, прилежании и поведении».

В Срочной ведомости отметки за первую и вторую четверть 1907/8 учебного года расположены так: русский язык — 3 и 3, латинский язык — 3 и 2, греческий язык — 3 и 3, алгебра и геометрия (только в первой четверти) — 3, история — 3 и 4, французский язык — 2 и 2, немецкий язык (только во второй четверти) — 2, внимание — 3 и 3, прилежание — 4 и 3, поведение — 5 и 5.

Безупречное поведение предопределило отметки по «закону божьему» — 4 и 5, нисколько не отражавшие его действительного отношения к этому предмету.

Оба документа («Свидетельство» и «Срочная ведомость») до конца жизни Маяковского находились среди его личных бумаг, как дорогие ему памятки ученических лет.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### «ВСТУПИЛ В ПАРТИЮ РСДРП (БОЛЬШЕВИКОВ)». ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ АРЕСТЫ. СТРОГАНОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Покидая гимназию навсегда, хотя и с надеждой вернуться к учению, Маяковский был всецело поглощен партийной работой. Этот переломный момент в его жизни лаконично отмечен в автобиографии: «1908 год. Вступил в партию РСДРП (большевиков)».

Не случайно, что, будучи вынужден расстаться со школой, Маяковский считал свой новый шаг в жизни экзаменом на политическую зрелость: «Держал экзамен в торгово-промышленном подрайоне. Выдержал. Пропагандист».

Заветное слово — пропагандист! Как заманчиво звучало оно в тайном марксистском кружке гимназистов в 1905 году в Кутаисе. А теперь, всего через три года, он, Маяковский, сам стал пропагандистом и пошел к булочникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографщикам, называясь «товарищем Константином» — то ли в честь деда, то ли в память о младшем брате своем Косте.

Овладеть пропагандистским мастерством Маяковскому удалось не сразу. Когда однажды Сергей Медведев, уже имевший некоторый опыт работы в рабочих кружках, спросил у слушателей Маяковского, как нравятся им его собеседования, рабочие, принимавшие «товарища Константина», как вполне взрослого человека и относившиеся к нему с уважением, ответили: «Прямо как по книжке читает». Из этих слов, и еще продол-

жая расспрашивать рабочих, Медведев сделал вывод, что «ясному, толковому изложению Володи недоставало на первых порах агитационной зарядки».

К такому же выводу пришел и другой организатор рабочих кружков — А. А. Самойлов. Он вспоминает об одном из самых первых пропагандистских выступлений юного Маяковского: «Все слушали его внимательно, но чувствовалось, что слушатели остались чем-то недовольны. По дороге домой после кружка я сказал товарищу Константину, что в нашем кружке нужно говорить гораздо проще, чем говорил он, и слушатели кружка не совсем разобрались в том, что он им рассказал, не все дошло до их сознания. Товарищ Константин обещал к следующему разу подготовиться и провести занятие более популярно. И действительно, на следующем занятии кружка он уже вполне удовлетворил слушателей, говорил с огоньком, просто и понятно для слушателей, которые оживленно обсуждали тему, задавали вопросы. Холодок, появившийся между руководителем и слушателями, пропал бесследно... Таким образом товарищ Константин провел пять-шесть занятий кружка. Он говорил, что ему много приходится готовиться к занятиям в кружке не по содержанию лекции, а как ее преподнести слушателям».

Здесь, в рабочей среде он впервые измерил и познал силу слов, учился овладевать вниманием слушателей. Его уже знают и, главное, верят в его силы и способности закалившиеся в борьбе партийцы-большевики, такие, как Вегер, Загорский и Карахан, первым обративший внимание на политические устремления Маяковского.

Вегер (Поволжец) учился в Московском университете, на экономическом отделении, а в качестве члена Московского комитета РСДРП (большевиков) и партийного организатора вел нелегальную работу среди студентов. В своих воспоминаниях он рассказывает: «Маяковский при первых же разговорах, которые у нас были о его работе в организации, произвел хорошее впечатление, впечатление сильного, энергичного, очень активного товарища», он показал знание основных положений марксистской литературы, твердо держался большевистского направления. Именно это и дало основание Вегеру заключить: «Для меня лицо его стало совершенно ясным».

После этого возник вопрос: куда направить молодого пропагандиста? Как раз тогда в хорошем организаторе нуждался один из подрайонов Лефортовского района, кстати, уже знакомого Маяковскому,— туда и послали. Отправив юношу на трудную и ответственную работу, Вегер не переставал интересоваться им. «Через некоторое время, — вспоминает он, — я узнал, что Маяковский очень сильно себя проявил на организаторской работе».

Когда парторг Лефортовского района в силу сложившихся обстоятельств выбыл, на его место направили Маяковского. Никто из старших товарищей не задумался над возрастом Маяковского, которому тогда еще не исполнилось пятнадцати лет. «Это был, — вспоминает Вегер, — рослый, сильный юноша, которому можно было дать лет девятнадцать».

Илья Эренбург, который на определенном отрезке своей жизни, несколько раньше Маяковского, был партийным организатором, пишет в воспоминаниях: «Пуще всего я боялся, что товарищи могут догадаться о моем возрасте, скажут, нельзя поручать пятнадцатилетнему мальчишке важные задания... (Много лет спустя я узнал, что Маяковский занялся партийной работой, когда ему не было и пятнадцати лет, очевидно, таковы были нравы эпохи)».

Многих удивляет, как мог юный Маяковский, еще только приобщившийся к самостоятельной партийной работе, стать членом Московского комитета? Дело в том, что партийные организаторы районов, как правило, входили в состав городского комитета. Маяковский пишет в автобиографии: «На общегородской конференции выбрали в МК. Были Ломов, Поволжец, Смидович и другие». Частые провалы обескровили организацию. Так, в «Известиях ЦК РСДРП» отмечалось, что за лето 1907 года работа в Московской организации «не расширилась вследствие недостатка работников». Один из партийных работников того времени — Н. И. Мандельштам — вспоминает о положении, создавшемся в Лефортовском районе: «Плохо было с пропагандистами. Людей было мало, а требования все повышались и количественно и качественно». И нет ничего удивительного в том, что молодые, порой даже юные, революционеры, проверенные на работе, получали весьма ответственные задания.

Участие молодежи в политической жизни сильно тревожило руководителей учебного округа. Доискиваясь причин отвлечения учащихся от школьных занятий, они все чаще обращались к анализу событий минувших лет, к составлению все новых и новых «обзоров» и «перечней» событий.

Окружной инспектор учебных заведений Москвы Смольянинов представил 29 марта 1908 года попечителю округа «Обзор беспорядков, происшедших в мужских гимназиях Московского учебного округа с начала 1905 года, и мер, принимавшихся против них». Пытаясь определить причины «беспорядков», инспектор писал в своем «Обзоре»:

«В семейной среде юноши постоянно слышали обсуждение событий на Дальнем Востоке и благодаря свойственной их возрасту восприимчивости легко усваивали удрученное настроение в одних семьях и озлобление против правительства в других... Говоря о влиянии печати, следует отметить, что естественный интерес к событиям приучил нашу молодежь в такой степени к газетам, что нередко мне приходилось видеть во время перемен все парты в старших классах покрытыми газетными листами, и можно с уверенностью сказать, что газетные сообщения о беспорядках в учебных заведениях были в свою очередь причиной многих новых волнений в учебных заведениях... Часть молодежи за этот смутный период потеряла всякое желание учиться и сосредоточила свои интересы на различных петициях, прокламациях, забастовках, резолюциях. Такие ученики играли, несомненно, руководящую роль в гимназических беспорядках, иногда являлись активными членами разных тайных революционных организаций и директивы получали оттуда».

Как в свое время директор Кутаисской мужской гимназии Чебиш, так теперь окружной инспектор учебных заведений Москвы Смольянинов сокрушался по поводу «водворившейся в школе педократии, навязавшей учителям некоторые новые и притом часто вредные приемы преподавания».

Министерство одобрило докладную записку окружного инспектора, но выразило несогласие с его мнением, что причиной «беспорядков» служили только внешние влияния. «Главная вина расстройства средней школы, — говорится в письме министерства попечителю Москов-

ского округа, — все-таки лежала на ней самой и на ее деятелях, сеявших в ней смуту».

Охранители «порядка» видели причину волнений еще и в том, что учащиеся младшего и среднего возрастов не были отделены от учеников старшего возраста, что старшие классы гимназий имели теснейшую связь с высшими учебными заведениями, со студенчеством, охваченным свободомыслием.

Именно этим путем — через связи со студентами, а затем и с партийной организацией — Владимир Маяковский вступил на революционный путь, приобщился к пропагандистской работе большевиков, распространял нелегальные печатные издания, выпуск которых в условиях строгой конспирации наладил Московский комитет партии.

Нелегальная типография МК РСДРП(б) была оборудована в квартире, снятой у портного Лебедева в доме Коноплина по Ново-Чухнинскому переулку. Дом небольшой, из тесаного леса, в десять окон по фасаду. Вход с подъезда, с улицы. Каменные ступени ведут на второй этаж. Здесь на небольшую лестничную площадку выходят три двери. Комната, которую снимал организатор типографии опытный подпольщик Тимофей Трифонович Трифонов, окном смотрит во двор. Напротив — глухая кирпичная стена соседнего высокого дома. В такое окно не заглянешь. Быть может, это обстоятельство особо учитывалось, когда решали, где приспособить типографию. Наборщиками в ней работали знакомый Маяковскому по нелегальному кружку типографщиков молодой рабочий Сергей и сам Трифонов.

29 марта, в тот самый, по случайному совпадению, день, когда окружной инспектор учебных заведений Москвы подал свою «объяснительную записку» о связях учащихся с революционной средой, Владимир Маяковский нарвался в квартире Трифонова на полицейскую засаду.

«Наша нелегальная типография», — тепло упоминает Маяковский о типографии Московского комитета партии. И хотя устроенная в ней засада явилась полной неожиданностью, он успел ликвидировать самое важное: «Ел блокнот. С адресами и в переплете». Если блокнот еще можно было успеть сжевать, то сверток, который нес под мышкой, уже ни спрятать, ни забросить куда-либо было невозможно, и его отобрали.

Первоначально Маяковский заявил, что пришел к портному Лебедеву (съемщику всей квартиры), но в отобранном свертке, увы, оказалась не материя, а нелегальная печать. Падкие на «вещественные доказательства» агенты охранки насчитали семьдесят шесть экземпляров «Рабочего знамени» и четыре экземпляра «Солдатской газеты», а также семьдесят экземпляров прокламации «Новое наступление капитала». В общем было достаточно материала, чтобы начать «дело» и построить обвинение. От попавшего в лапы полицейских Маяковского требовалась подлинная революционная смекалка и изобретательность, чтобы, уничтожив адреса, опровергнуть и обвинение. Он искусно и мужественно провел эту работу до конца, стараясь при этом выгородить не только себя, но и товарищей, знакомства с которыми не признал.

Еще в самом начале партийной работы Маяковский, выполняя поручение, как это отметил И. Карахан, «проявлял в трудных условиях находчивость». И в этом случае он первым долгом придумал версию (и от нее уже не отступал), формально утверждавшую, что он ничего не знал о содержимом свертка.

На опросе в полицейском участке Маяковский держался независимо и на вопрос, который преследовал цель выявить его связи, резко ответил:

— Дело не ваше!

— Больше отвечать ничего не буду, — заявляет он, чтобы лучше обдумать положение.

Но разговор осложнился, когда Маяковский предстал перед следователем по важнейшим делам Вольтановским. Этот царский слуга был, как его характеризовала газета «Утро России», убежденным и неуклонным «в своих чиновничьих стремлениях службистом», выбиравшим из всех существовавших мер подавления «наиболее ощутительные для подследственных лиц». Однако Маяковскому удалось прикинуться политически малоразвитым парнем и противостоять опытному прожженному казуисту.

Здесь нельзя пройти мимо одного обстоятельства. В жизни каждого подростка бывает такая пора, когда ему не хочется мириться с тем, что он еще не достиг возраста, необходимого для больших свершений... Так случилось и с Маяковским. Внешность его для определения возраста была очень обманчива. Он и сам знал,

что выглядит года на три старше своих лет. И как же теперь, после ареста, признаться, что тебе всего-навсего неполных пятнадцать лет! Ведь засмеют: мальчуган, а тоже поди, на революцию вздумал работать... И поэтому при опросе Маяковский сказал, что ему семнадцать лет. Но потом, когда предстал перед следователем, решил, что надо во что бы то ни стало разрушить планы служителя охранки, и показал: четырнадцать лет. При описании примет Маяковского полицейские чиновники отметили: «Возраст по наружному виду — 17—19 лет. Год и месяц рождения — 7 июля 1893».

Следователь озадачен: семнадцать или четырнадцать? Которой цифре верить? Судебный врач, освидетельствовавший Маяковского, заявил, что подследственный «старше на вид своего возраста». В протоколе допроса, проведенного 8 апреля 1908 года Вольтановским, дважды жирной чертой подчеркнута цифра «14» (возраст), а перед подчеркнутым словом «холостой» поставлены знаки — вопросительный и восклицательный, видимо, в связи с выяснением возраста.

Узнав, что Маяковский незадолго до ареста «вышел из 5-го класса Московской 5-й классической гимназии по болезни», следователь посылает директору для опознания карточку подследственного и одновременно запрашивает о его годе рождения. В гимназии переполошились: неужели это тот самый их воспитанник, получавший по поведению неизменные пятерки?! Директор ответил следователю:

«На отношение от 2 сего мая за № 648 имею честь уведомить, что изображенное на приложенной к означенному отношению фотографической карточке лицо есть действительно бывший воспитанник 5-го класса вверенной мне гимназии Владимир Маяковский, обучавшийся в оной с августа 1906 года и уволенный из Московской 5-й гимназии по постановлению Педагогического Совета с 1-го марта 1908 года за невзнос платы за 1-ю половину 1908 года. Независимо от сего, матерью ученика подано было прошение о выдаче документов и свидетельства об его успехах, так как он «по болезни не может продолжать занятия в гимназии». Все документы возвращены матери под ее расписку, а по выписке из его метрики — он родился 7-го июля 1893 года.

Директор П. Касицын».

Получив этот ответ, следователь подчеркивает жирным цветным карандашом слова: «5-го класса», «Владимир Маяковский», «с 1-го марта 1908 года» и в конце двумя чертами выделяет дату: «...1893 года».

Но эти сведения расходились с выпиской из формулярного списка В. К. Маяковского... Подозревая подтасовку дат, следователь решает обратиться с запросом к Грузино-Имеретинской синодальной конторе. И хотя мать Маяковского представила свидетельство, выданное синодальной конторой еще 14 марта 1902 года для Кутаисской гимназии, следователь все же посылает запрос. Из Грузии подтвердили, что по метрической книге В. В. Маяковский значится родившимся 7 июля 1893 года.

Допрошенная 27 мая 1908 года следователем А. А. Маяковская настойчиво старалась опровергнуть сложившееся по внешнему впечатлению представление о возрасте ее сына. «Владимиру Владимировичу Маяковскому, — говорила она, — исполнится в июле месяце 15 лет. Подобно мужу, сын отличается большим ростом и на вид имеет больше этих лет». Итак, уже не могло быть сомнений, что подследственному без малого пятнадцать лет.

«Малолетство» Маяковского явилось неожиданностью не только для следственных властей, но и для самого Трифонова. Он буквально оторопел, когда узнал на суде, что сидящий рядом с ним на «скамье подсудимых» Владимир Маяковский — совсем еще юнец. «Малолетство» явилось юридической «зацепкой» и определило линию поведения Маяковского как во время следствия, так и на самом суде. Не случайно, что адвокат П. П. Лидов, взявшийся бесплатно защищать на суде Маяковского, ознакомившись с делом, сказал Л. В. Маяковской: «Ничего, не беспокойтесь, выцарапаем по малолетству». Но до суда еще далеко.

Основной уликой против Маяковского служили отобранные у него в момент ареста газеты и прокламации.

Еще в Кутаисе Маяковский любил проводить свободные часы среди солдат, слушать их рассказы о жизни. А теперь, в Москве, в его руках нелегальная газета, выпущенная для солдат!

«Солдатская газета» была органом военной организации при Московском комитете РСДРП. Единственный номер этой газеты вышел в феврале 1908 года. В передовой статье, озаглавленной «С царскими портретами»,

говорилось о кровавых событиях 9 января 1905 года в Петербурге. Маяковскому были памятны отголоски этих событий, докатившиеся до Кутаиса, запомнились и демонстрации солидарности с петербургскими рабочими. С тех пор прошло три года. Газета подводила итоги минувшему, разоблачала лживость правительства, заявлявшего, что «страна спокойна».

Нет, страна не была и не могла быть спокойна. Рабочие и крестьяне понимали, «что ни царь, ни Дума не дадут им избавления, что только сами, своими мозолистыми руками сбросят они с себя ярмо». Переходя к характеристике текущего момента, газета продолжала: «И теперь, в минуту затишья перед новой бурей, рабочие и деревенская беднота сплачиваются в рабочую партию, готовятся нанести последний удар царскому правительству. И когда, опьяненные народной кровью, совершая свои гнусные дела, палачи кричат «революция умерла», пусть из рабочей хибарки, крестьянской хаты и душной казармы раздастся грозный оклик: «Да здравствует революция!». Отзываясь на этот клич, массы пробуждались, приходили в движение те скрытые силы, которые не сегодня-завтра должны были выйти на простор, знаменуя новый подъем революционного движения.

Следующая статья — «Армия и Революция» — объясняла солдатам, что̀ такое революция и за что борются революционеры, какие задачи стоят перед рабочими, крестьянской беднотой и солдатами. «По всей России, — говорилось в газете, — закипела борьба, и в этой борьбе впереди всех шли рабочие со своей рабочей социалдемократической партией во главе».

Пробегая злыми глазами отобранный у Маяковского номер газеты, царский служака отчеркнул на полях строки, призывавшие солдат стать на сторону революционного народа: «Идите, товарищи, за родину вместе с народом, но идите не разрозненными кучками, не в одиночку, а организуйтесь сначала в кружки, потом в союзы, чтобы, когда восстанет народ, силой своей не во вред, а на пользу ему послужить. Рабочая партия поможет вам в этом деле».

Со второй на третью страницу газеты переходит статья «О социализме». В такой же популярной форме в ней изложены начатки политэкономии, она убеждает в закономерности победы социализма. Статья заканчи-

вается словами: «Партия рабочих, социал-демократия, борется за социализм и зовет в свои ряды всех, кто понял, что должны исчезнуть хозяева фабрик, заводов и земель, кто готов бороться за переход этих фабрик, заводов и земель в руки рабочих».

Если Владимир Маяковский успел прочесть или просмотреть газету (а может быть, он распространял ее и до этого дня), то он не мог не обратить внимание на описанный в ней героический подвиг солдата Черницкого, способствовавшего побегу шести революционеров. Царское правительство казнило солдата, сознательно пошедшего на такой шаг, солдата, который выбирал между жизнью и смертью и выбрал смерть во имя торжества революции. Спустя некоторое время сам Маяковский, находясь в среде, готовившей побег политических заключенных из тюрьмы, был всецело захвачен революционной романтикой тех напряженных дней.

Статья «Долой солдатчину» в «Солдатской газете» поднимала хорошо знакомую Маяковскому тему. Он, безусловно, помнил, как 15 октября 1905 года в Кутаисе готовилась демонстрация протеста против призыва новобранцев.

На последних двух столбцах четырехстраничной «Солдатской газеты» помещены письма из воинских частей. В одном из писем приводится случай убийства солдатом офицера, за что солдат был расстрелян. «Он был верен делу борьбы, — заключает автор письма, — но выбрал негодное средство. Мы долго думали об этом. Его смерть не принесла пользы даже и нашему батальону, а о всей России и говорить нечего». Осуждая индивидуальный террор, газета призывала солдат к сплочению с революционными рабочими и крестьянами, к участию в организованной партией борьбе.

В. И. Вегер, привлекший юного Маяковского к партийной работе, рассказывает о горячих спорах, которые вели тогда большевики с меньшевиками и эсерами. Маяковский, по словам Вегера, с самого начала занял большевистскую позицию, в частности, против эсеров, против индивидуального террора.

Другая газета, отобранная у Маяковского, — «Рабочее знамя» — была органом областного бюро Центрального промышленного района РСДРП. Первый номер вышел в марте 1908 года.

В передовой статье «Товарищи рабочие!» газета утверждала авангардную роль рабочего класса: «Пролетариат был и остается на славном посту передового борца нашей революции».

В других статьях разъяснялось отношение пролетариата к 3-й Государственной думе, говорилось о наступлении капитала, о решительной схватке с ним.

Противостоять новому наступлению капитала призывала и прокламация, отобранная у Маяковского при его аресте. Она касалась положения рабочих типографий и уже по этому признаку должна была особенно заинтересовать Маяковского.

Обращаясь ко всем московским рабочим, прокламация рассказывает, как капиталисты пытаются повернуть историю вспять, заставить рабочих вернуться к старым порядкам, отобрать у них те частичные льготы, которые были ими завоеваны в борьбе. Но рабочий класс продолжает оказывать сопротивление эксплуататорам. Начавшийся в феврале 1907 года локаут в московских типографиях встретил решительный отпор со стороны организованных рабочих, и удар, направленный хозяевами, был парализован. Рабочие одержали блестящую победу. Тогда капиталисты изменили свою тактику, стали действовать не все сразу, не одновременно, а исподволь, по отдельным предприятиям, и уже потом, осмелев, перешли в новое наступление на типографских рабочих.

«Уже не прикрываясь, — говорится в листовке, — обнажив до наглости свои цели, выступают хозяева: Чичерин без предупреждения сразу выкидывает 135 человек. На предложение рабочих поделить работу, чтобы не выкидывать товарищей на улицу, на голодную смерть, администрация спокойно говорит: «Это нам неудобно». Еще откровеннее действует Крылов: он предлагает подписать двухнедельный расчет, расписаться в неимении претензий и завтра же стать на работу «на новых условиях». Когда же рабочие спросили, что это будут за условия, то получили спокойный ответ: «Увидите». Так же или почти так же поступают Бурче, Вильде, Чернышев и Кобельков, носятся слухи — поступит Левинсон, можно не сомневаться, за ними — другие.

Одним словом, у типографов мы имеем дело с организованным наступлением хозяев, связанным с массовыми расчетами, — целью этого наступления является

возвращение рабочих к старой заработной плате, к старому длинному дню, а при нынешней дороговизне к нищете и медленной голодной смерти». Сытин, Яковлев, Израильсон и другие предприниматели перешли к групповым увольнениям рабочих, мотивируя это сокращением производства, хотя работы было достаточно.

Заявляя, что рабочие не сдадутся без борьбы, прокламация призывает:

«Товарищи печатники! Локаут, не удавшийся год назад, надвигается на вас теперь с новой силой. Нужно немедленно готовиться к борьбе, нужно организовать энергичное сопротивление натиску хозяев. Вступайте в профессиональный союз, спешите в партийную организацию, сплачивайтесь под тем пролетарским знаменем, под которым вы одерживали победы. Только сомкнутыми рядами можем мы отразить готовящееся нападение».

Прокламация заканчивается призывом к московским рабочим делать отчисления в локаутный фонд при Московском комитете, чтобы успешнее отразить наступление капитала.

Не может быть сомнений в том, что Маяковский, непосредственно наблюдавший жизнь типографских рабочих («пошел... к типографщикам»), хорошо знал содержание листовки. Не отсюда ли произошла потом крылатая фраза Маяковского: «Сытин голодного не разумеет»[1], или: «...сыт, как Сытин»[2].

Знакома была Маяковскому еще другая прокламация, выпущенная к первому марта 1908 года.

Вопреки всяческим запретам, большевики готовились в этот день отметить двадцатипятилетие со дня смерти Карла Маркса. И вот в нелегальной типографии из разложенных по ячейкам наборной кассы букв складывается небольшой, но четкий и ясный текст обращения Московского комитета РСДРП к рабочим — призыв воздать должное памяти «основателя научного социализма и идейного вождя международного пролетарского движения» Карла Маркса.

В тот неудачливый день Маяковский по какому-то делу зашел к Трифонову, хотя и виделся с ним накануне в другом месте. Есть основание предполагать, что Маяковский не знал, что именно в квартире Трифонова

[1] Перефразировка поговорки: «Сытый голодного не разумеет».
[2] Полн. собр. соч., т. 1, стр. 99.

оборудована нелегальная типография Московского комитета. Во всяком случае сам Трифонов утверждал в своих воспоминаниях, что хотя Маяковский и знал о создании новой нелегальной типографии, «но где — он не знал». Иначе он, конечно, не рискнул бы зайти в дом Коноплина со свертком прокламаций и газет, которые не успел распространить.

В той части следствия, которая относилась к Маяковскому, надо было выпутаться в вопросе о свертке, и он в своих показаниях последовательно придерживается одной и той же версии:

«Сверток прокламаций, который был у меня найден при аресте 29 марта сего года, я получил в среду на предыдущей неделе от человека, которого я знал под именем Александр. Вещи эти мне переданы Александром у памятника Пушкину. Одет он был в черное пальто, в серый полосатый костюм, сам он был высокого роста, с черной бородкой. Адрес мне был дан в Ново-Чухнинский переулок, дом Коноплина, кв. 7, для передачи Льву Яковлевичу Жигитову».

Не довольствуясь отобранными при аресте «вещественными доказательствами», полиция произвела обыск в квартире. Квартира состояла из пяти комнат, три из них занимали жильцы. Во время обыска Ольге Маяковской удалось незаметно спустить запрещенную литературу через окно крайней комнаты на соседнюю крышу. В результате полицейским пришлось расписаться: «Ничего предосудительного не обнаружено, а также переписок, рукописей и визитных карточек, а также и адресов».

Во время следствия Владимир Маяковский старался подчеркнуть, что он еще не окончил гимназию и не самостоятелен. На вопросы о роде занятий и средствах к жизни он ответил: «готовлюсь на аттестат зрелости», «на средства матери». И Александра Алексеевна, допрошенная следователем 27 мая, говорила о сыне: «Учился он хорошо, наклонностей к шалостям не проявляет и принужден был уйти из гимназии исключительно благодаря болезни. В настоящее время он самостоятельно, без помощи репетиторов, подготовляется вновь для поступления в гимназию, в 5-й класс».

К тому же директор Пятой гимназии П. Касицын сообщал, что по сведениям, полученным от директора Кутаисской гимназии, Владимир Маяковский «поведения

был отличного и за все время пребывания в оной гимназии ни в чем предосудительном замечен не был; в кондуите записей никаких не было».

По постановлению московского градоначальника, Маяковского, как «вредного для общественного порядка и спокойствия», содержали «впредь до выяснения обстоятельств дела» под стражей в Сущевском полицейском доме.

В «учетной карточке», заведенной на Владимира Маяковского Охранным отделением, помимо общих сведений о личности задержанного, его фотографий и оттисков пальцев, указаны еще особые приметы, из них две последние:

«Осанка (выправка корпуса, манера держаться): свободно.

Походка: ровная, большой шаг».

Да, не удалось охранке изменить осанку и сломить шаг пятнадцатилетнего подростка! Не удалось и запутать допросами. Маяковский пишет в автобиографии: «Следователь Вольтановский (очевидно, считал себя хитрым) заставил писать под диктовку: меня обвиняли в писании прокламации. Я безнадежно перевирал диктант. Писал: «социяль-димокритическая». Возможно, провел...»

Действительно, провел. Ни диктант, ни сличение его с рукописями, обнаруженными при разгроме нелегальной типографии, не дали ожидавшихся охранкой результатов. И все же его обвиняли по статье Уложения, предусматривавшей наказание «каторгой на срок не свыше 8 лет».

Как ни велика была сила «вещественных доказательств», все же прямых улик и непосредственных связей следствие не выявило. К тому же стал очевиден школьный возраст Маяковского, и следователь решает освободить его из-под стражи до суда «под ответственность матери». От него берут подписку, что он «без ведома полиции обязуется никуда не отлучаться», и 9 апреля его освобождают.

Опасаясь «хвоста», Маяковский уже не мог вернуться к работе в Лефортовском районе. С большой осторожностью он восстанавливает связи с некоторыми партийными товарищами. В его автобиографии об этом периоде сказано коротко: «Вышел. С год — партийная работа».

А следствие по «делу» о нелегальной типографии все продолжалось. 27 мая Маяковского допрашивал уже другой следователь по особо важным делам — Руднев, сменивший Вольтановского.

За «поднадзорным» Маяковским установилось наружное наблюдение. Изо дня в день филёры по пятам следовали за Маяковским, окрестив его кличками «Кленовый», «Высокий», «Скорый». Они заносили в свои «дневники» каждое его передвижение по городу, даже то, что он «пошел в булочную Макарычева по Тверской ул., где купил булок, и вернулся домой».

Очевидно, Маяковский иной раз замечал слежку за собой, и тогда филерам не всегда удавалось довести наблюдение до конца. В их записях встречаются такие строки: «Поехал по направлению к Сухаревской площади, где и был из виду упущен», «вышел из дома с неизвестным мужчиной, кличка будет «Благой», сели в трамвай, доехав до Садовой, пересели в конку; доехав до Сухаревской башни, сели в трамвай, отправились в дом Благова № 2 по Митьковской ул., в Сокольниках, откуда взяты не были», «сел в конку и поехал в Симяков пер., в д. Смирнова, в парадное №№ 23—31, откуда взят не был», «пошел в Верхние Торговые ряды, где и был утерян». Но не всегда, конечно, изобретательность и находчивость в «заметании следов» давали возможность «Скорому» оторваться от шпиков.

Впервые в своей жизни подвергнутый аресту, допросам, Маяковский хорошо запомнил физиономии городовых, полицейских, филеров и много лет спустя описал в стихотворении «Император» сценку, которую, может быть, видел в прошлом в натуре:

По Тверской
        шпалерами
                стоят рядовые,
перед рядовыми —
                пристава.
Приставов
        глазами
                едят городовые:
— Ваше благородие,
                арестовать?..

...На исходе 1908 год.

23 декабря был составлен обвинительный акт по «Делу тайной типографии Московского комитета РСДРП». Он заканчивался словами: «названные Трифо-

нов, Сергей Иванов, Маяковский подлежат суду Московской судебной палаты с участием сословных представителей».

Над Маяковским снова нависла угроза ареста.

Незримая сеть, которую, узел за узлом, плели филёры, все более затягивалась вокруг группы подозреваемых в подготовке экспроприации. На каких-то отрезках времени и пространства их имена скрещивались с именем Маяковского, и он все чаще попадал в орбиту наблюдения, а 18 января 1909 года, выйдя в 11 часов утра из дома и дойдя до Садовой, был арестован и препровожден в 1-й Сущевский участок, уже знакомый ему по первому аресту. За этим последовал обыск в квартире. Оставленная в ней засада хватала каждого, кто приходил к Маяковским.

Полиция явно поспешила с арестами по филерским данным. Ей не удалось выяснить намерения экспроприаторов. Между тем Маяковский пишет в автобиографии: «Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе), Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку». Неблагоприятные обстоятельства помешали осуществлению подкопа до конца.

При обыске в квартире Маяковских полиция обнаружила спрятанный в коридоре, в незапертом сундуке, браунинг. Эта вещественная улика могла сильно осложнить положение Владимира Маяковского. На первом же допросе он заявил, что пистолет принесен, вероятно, кем-либо из приходивших к нему знакомых, но кем именно, он не знает.

Выручил Володю из этого трудного положения знакомый Маяковским еще по Кутаису Сергей Алексеевич Махмудбеков — бывший помощник начальника петербургских мест заключения («Крестов»). Он обратился по поводу пистолета к московскому градоначальнику с прошением, в котором пояснял:

«10 января я переехал из г. С.-Петербурга в г. Москву и остановился по Долгоруковской улице, доме № 47, кв. 38, у вдовы бывшего лесничего Маяковского, Александры Алексеевны (с покойным мужем ее я служил на Кавказе, который крестил мою старшую дочь), до приискания себе временной квартиры, до получения казенной. С очень маленькими детьми я не решился остановиться в гостинице. Наняв себе маленькую квартиру по Доброй слободке, в доме Дурновой № 25,

переехал туда, причем оставив у Маяковской свой револьвер системы «Браунинг», свои бумаги и некоторые хозяйственные вещи. В день перехода на квартиру я не решился взять с собою оружие, боясь за детей ввиду крохотной и неустроенной квартиры.

На ношение этого револьвера, № которого я не помню (так как их у меня было не один), я имел право по должности до 15 января, а по переводе моем в Почтовое ведомство я просил тотчас же ходатайства Московского почт-директора перед вашим превосходительством о разрешении мне ношения оружия ввиду угрожающей мне опасности со стороны революционеров (так как на меня были неоднократные покушения) и неудовольствия арестантов.

18 или 19 января, я твердо не помню, поехал по поручению жены за оставшимися вещами и, кстати, за своим револьвером к упомянутой выше Маяковской, причем наткнулся на засаду, устроенную в этом доме полицией Сущевской части. Здесь я был подвергнут обыску и, по моей же просьбе, я был отправлен в Сущевскую часть, где, по удостоверении моей личности, я был немедленно отпущен.

Несмотря на мою просьбу, до сих пор я револьвера своего не получил, хотя об этом я тогда же просил г. дежурного офицера. Ввиду вышеизложенного, я решил беспокоить ваше превосходительство с покорнейшей просьбой приказать, кому следует, возвратить мне мой револьвер»[1].

Прошение было подано 28 января. По всей вероятности, Махмудбеков выжидал, надеясь уладить вопрос в самой полицейской части, без вмешательства извне, но поскольку револьвер сильно осложнял положение Маяковского, он на десятый день все же обратился к градоначальнику, и револьвер был ему возвращен.

Находясь в заключении в Сущевском полицейском доме, Маяковский пишет большое письмо сестре Людмиле, очевидно, не без расчета, что если оно будет перехвачено и попадет в руки следователя, то сможет убедить его в том, что перед ним не кто иной, как под-

---

[1] Привожу письмо (как и тексты некоторых документов охранного отделения, полиции и московского градоначальника) по публикации В. Ф. Земскова «Участие Маяковского в революционном движении».

росток, по болезни прервавший учение, жаждущий рисовать и читать, пополнять свои знания, а главное, не чувствующий за собой никакой вины.

В самом начале письма выражено удивление по поводу неожиданного ареста: «Арестовали бог знает с чего, совершенно неожиданно схватили на улице, обыскали и отправили в участок». Затем Маяковский дает знать, что в камере (вместе с ним) три человека, а всего политических в Сущевке — девять. И как бы подчеркивая, что в создавшемся положении он не видит ничего опасного для себя, строит планы: «Немедленно начну готовиться по предметам и, если позволят, то усиленно рисовать».

По прошению матери, поданному накануне учебного года, Маяковский был зачислен в приготовительный класс Строгановского художественно-промышленного училища. А за четыре дня до ареста он подал директору училища прошение, в котором просил разрешить ему сдать в мае экзамены за пять классов по общеобразовательным предметам, дополнительные же предметы проходить наравне с остальными учениками училища. Получив разрешение держать экзамены в пятый класс, Маяковский собирался взяться за подготовку, но, не успев даже раскрыть книги, очутился в камере полицейского дома. А вот теперь он просит принести ему учебники по алгебре, геометрии, физике, по истории русской литературы и немецкому языку «и программу для готовящихся на аттестат зрелости».

Из книг «для чтения» он просит принести психологию Челпанова, логику Минто, историю новейшей русской литературы, «Введение в философию» Кюльпе, «Диалектические этюды» Унтермана и «Сущность головной работы человека» Дицгена.

«Все эти книги ты найдешь у меня в комнате», — заключает Маяковский. Перед этим он писал: «поройся у меня, найди, которые есть, а которых нет, спроси у Сережи, Владимира, Хози или у других товарищей». Не хотел ли он тем самым сказать: сообщите о моем аресте Сергею Медведеву, Владимиру Гзовскому, Христофору Ставракову? С заметной нарочитостью выделяет Маяковский имена Медведева и Гзовского: «Затем спроси, не найдется ли у Владимира или Сергея 1-го тома «Капитала» Маркса, «Введение в философию» Челпанова и сочинения Толстого или Достоевского... Затем спро-

си у Сергея адрес Виктора Михайловича, которому я рисовал плакаты, сходи туда, спроси денег (проси 8 рублей), а если понадобится что-нибудь дорисовать, то сделай это, пожалуйста». Еще он просит достать ему «Историю искусств» Гнедича и «Историю живописи в 19 столетии» Мутера.

В письме есть и другие просьбы, например, принести акварельные краски и кисточки, карандаши и резинки, отрывной блокнот для рисования (смотритель разрешил), как будто он, ученик Строгановского училища, ни о чем, кроме учения, не думает.

Насмешкой над полицейскими звучали фразы в письме: «Обзаведусь хозяйством, да и заживем помаленьку», «Ну, примусь за занятия, обстановка подходящая».

Каждой строкой своего письма Маяковский давал понять, что нисколько не пал духом и уверен в благополучном исходе дела. Он просил за него не беспокоиться. И косвенно к сведению охранителей, если им на глаза попадется это письмо: «По новому делу привлечь меня не могут, ибо невинен и чист аз есмь, аки архангел».

Как при первом аресте, так и теперь полицейские были озадачены возрастом подследственного и записали в протоколе, что задержанный назвался «Владимиром Владимировичем Маяковским, 15 лет, но на вид ему около 21 года».

Опасаясь именно этого внешнего впечатления, которое складывалось у всех при первом взгляде на Володю Маяковского, мать последовательно продолжает доказывать, что он всего лишь пятнадцатилетний школьник. В прошении, поданном 12 февраля 1909 года московскому градоначальнику, Александра Алексеевна старалась доказать, что сын ее за последний год «во-первых, занимался на вечерних классах в Строгановском училище, во-вторых, готовился на аттестат зрелости, и, в-третьих, зарабатывал рисованием несчастные гроши; таким образом он был все время занят».

Между тем градоначальник хлопотал о продлении срока содержания под стражей всем задержанным по подозрению в подготовке экспроприации.

Санкция на это спускается по инстанциям от Министерства внутренних дел до Сущевского полицейского дома. В отношении Маяковского она была сформулиро-

вана жандармерией так: «Впредь до разрешения вопроса о высылке его». Вот что было уготовано Маяковскому, но обвинение не подкреплялось весомыми уликами, и 27 февраля он был, как говорилось в одном из документов Охранного отделения, «освобожден из-под стражи без всяких для него последствий». Но последствия, конечно, были и оставались в силе, потому что Маяковского зачислили в неблагонадежные, на которых «имеются неблагоприятные в политическом отношении сведения». А спустя два месяца ему вручают копию обвинительного акта, по которому он, вместе с другими, обвиняется в том, что принимал участие «в преступном сообществе Московской организации Российской социал-демократической рабочей партии, заведомо для обвиняемых поставившей ближайшей целью своей деятельности насильственное посягательство на изменение в России установленного основными законами образа правления».

События последних месяцев — и второй арест, и получение обвинительного акта по делу, возникшему после первого ареста, и ожидание суда — не способствовали занятиям Маяковского в Строгановском училище, однако он продолжал усиленно заниматься, еще не зная, что его ожидает в ближайшие месяцы.

# ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

## ОДИННАДЦАТЬ БУТЫРСКИХ МЕСЯЦЕВ. «ХОЧУ ДЕЛАТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»

2 июля 1909 года газеты сообщали о смелом и дерзком побеге тринадцати политкаторжанок из Новинской женской тюрьмы, совершенном в ночь на первое число.

Беспокоясь об Исидоре Морчадзе, одном из организаторов побега, Маяковский пошел на квартиру художницы Е. А. Тихомировой, жены Морчадзе. Наученный горьким опытом, он стал осмотрительней и явился к ней с рисовальными принадлежностями. Предосторожность оказалась не лишней. Он снова нарвался на засаду, как тогда в квартире Трифонова, но на этот раз уже заранее продумал «легенду» и не имел при себе ничего такого, что могло бы подвести.

При задержании Маяковский заявил (как это излагает в своем донесении помощник пристава), что «пришел к проживающей в кв. 9 дочери надворного советника Елене Алексеевне Тихомировой рисовать тарелочки, а также получить какую-либо другую работу по рисовальной части».

Вполне правдоподобная версия: ученик Строгановского училища пришел к художнице в надежде найти работу по своей будущей профессии.

Но ответ Маяковского на вопрос: «Кто такой и почему пришел сюда», звучал по форме своей иначе, чем это отражено в протоколе.

Исидор Морчадзе, тоже задержанный и допрошенный перед этим, пишет в своих воспоминаниях: «Попавшие в засаду сидят за столом, в числе их и я. Полиция

приглашает Володю к столу. Начинается его допрос. Вдруг он быстро встает, вытягивается во весь рост и издевательски шутливым тоном говорит приставу, который пишет протокол дознания: «Пишите, пишите, пожалуйста: я — Владимир Владимирович Маяковский, пришел сюда по рисовальной части (при этом он кладет на стол рисовальные принадлежности: краски, кисти и т. д.), а я, пристав Мещанской части, решил, что виноват Маяковский отчасти, а потому надо разорвать его на части».

Общий хохот. По существу же Маяковскому и Морчадзе было не до шуток.

Находчивости Маяковского и форме его ответа не приходится удивляться. Не впервые он попадает в лапы полицейских, уже успел присмотреться к их уровню и тупой ограниченности и поэтому ведет себя вызывающе насмешливо.

«Меня забрали», — коротко сказано в его автобиографии.

Как обычно вслед за арестом последовал обыск в квартире. В протоколе записано: «В комнате, занимаемой Маяковским, никаких предметов, свидетельствующих о принадлежности его к преступному сообществу, не оказалось».

На допросе не задавали вопросов о личности, а только отметили, что все сведения о нем «имеются в делах Московского охранного отделения».

Он — уже бывалый.

Ему предъявляют прямое обвинение: участие в подготовке побега. Он коротко и четко пишет в свое оправдание: «Во вторник 30 июня с. г. до 4 часов я был дома, потом пошел к знакомым по Долгоруковской улице, д. № 51, где живет ученик Строгановского училища Бронштейн; там пробыл до 11—11½ вечера, а потом, прогулявшись минут 15, пошел домой. О побеге из Московской женской тюрьмы заключенных я знаю из газет, других сведений о побеге я не имею. Из заключенных в Московской женской тюрьме я никого не знаю».

Никакими уликами Охранное отделение не располагало, а то, что в семье Маяковских сшили тонкую ситцевую одежду — гимназическую форму, в которую переоделись беглянки, никто, кроме Морчадзе, не мог знать. Но Маяковского уже считали «вредным для общественного порядка и спокойствия» и поэтому поста-

новили: «Впредь до выяснения обстоятельств дела заключить под стражу». Его отправили в Мещанскую часть, оттуда в Басманную, а затем, вследствие «буйного» поведения, перевели в Мясницкую часть. Всюду он досаждал полицейским. Об этом — в его автобиографии: «Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть».

Как при первом аресте в Сущевской части, он и теперь подает прошение о предоставлении ему возможности «продолжать начатые занятия», просит разрешить передачу «необходимых для рисования принадлежностей». Тем самым как бы подчеркивает, что он студент художественно-промышленного училища, не по своей воле прервавший занятия, а также подкрепляет ответ, данный им при первом допросе, о цели появления в квартире Тихомировой.

Политические заключенные по инициативе Вегера, арестованного при провале ряда членов Московского комитета РСДРП и также попавшего в Мясницкую часть, избирают Маяковского своим старостой. Освоившись с этой ролью, Маяковский начинает отвоевывать себе права на относительно свободное передвижение по коридору и общение с политическими заключенными, на проверку качества выдаваемой им пищи. Ему удается даже получить доступ в камеру Вегера и, в присутствии надзирателя, нарисовать портрет своего старшего товарища по партии, перекинуться с ним несколькими словами.

А тем временем градоначальник уведомил министра внутренних дел, что из восьми арестованных по делу о побеге судебным следователем по особо важным делам Рудневым «пока привлечены» в качестве обвиняемых четверо: Коридзе, Калашников, Усов и Федоров. Это многозначительное «пока» означало, что остальные четверо, и в их числе Маяковский, могут быть в ходе следствия переведены из «подозреваемых» в «обвиняемые». Кроме того, над всеми нависла угроза передачи дела военно-окружному суду.

Следствие по делу о побеге из Новинской тюрьмы еще продолжалось, а Маяковский уже получил, как обвиняемый по делу о тайной типографии, повестку — явиться на суд 9 сентября. Так одно дело наслаивалось на другое.

В Мясницком арестном доме Маяковский пробыл це-

лый месяц. Поведение его отличалось наступательной активностью. Смотритель Серов, обозленный неподчинением подследственного, посылает в Охранное отделение жалобу, в которой пишет: «Содержащийся под стражею при вверенном мне полицейском доме Владимир Владимиров Маяковский своим поведением возмущает политических арестованных к неповиновению чинам полицейского дома, настойчиво требует от часовых служителей свободного входа во все камеры, называя себя старостой арестованных; при выпуске его из камеры в клозет или умываться к крану не входит более получаса в камеру, прохаживается по коридору. На все мои просьбы относительно порядка Маяковский не обращает внимания. С получением повестки 7 сего августа Московской судебной палаты, коей он вызывается в палату в качестве обвиняемого по 1 ч. 102 ст. Угол. улож., Маяковский более усилил свои неосновательные требования и неподчинения. 16 сего августа в 7 часов вечера был выпущен из камеры в клозет, но стал прохаживаться по коридору, подходя к другим камерам и требуя от часового таковые отворить; на просьбы часового войти в камеру — отказался, почему часовой, дабы дать возможность выпустить других по одиночке в клозет, стал убедительно просить его войти в камеру. Маяковский, обозвав часового «холуем», стал кричать по коридору, дабы слышали все арестованные, выражаясь: «Товарищи, старосту холуй гонит в камеру», чем возмутил всех арестованных, кои, в свою очередь, стали шуметь. По явке мною с дежурным помощником порядок водворен».

Обрисовав поведение подследственного, смотритель просит «сделать распоряжение о переводе Маяковского в другое место заключения» и напоминает для подкрепления просьбы, что тот был переведен к нему «из Басманного полицейского дома за возмущение».

Охранное отделение решает наказать непокорного арестанта режимом Бутырки: «Перевести в пересыльную тюрьму в одиночную камеру».

Владимир Маяковский, которому за месяц до этого исполнилось шестнадцать лет, становится узником Центральной пересыльной тюрьмы. 18 августа 1909 года за ним захлопнулась дверь одиночной камеры № 103. В этой камере ему предстоит томиться почти пять месяцев. Но в автобиографии «бутырскими» он называет

одиннадцать месяцев, очевидно, ведя отсчет времени со второго ареста — с 18 января 1909 года.

«Важнейшее для меня время», — определяет Маяковский значение для него этого периода.

Центральная пересыльная тюрьма свое название получила от Бутырской слободы, где при Екатерине второй высился тюремный замок. В семнадцатом столетии Бутырская слобода вошла в черту города, а позже на месте тюремного замка была построена пересыльная тюрьма. От старого замка сохранились четыре башни: Северная, Часовая, Полицейская, Пугачевская. В разное время в стенах этих башен томились мятежные стрельцы, Емельян Пугачев, народовольцы, участники морозовской стачки, борцы за дело пролетариата.

С 1906 года Бутырская тюрьма становится одной из крупнейших в России центральных каторжных тюрем. Тогда же, с введением новых «Правил о временных каторжных централах» и рассылкой по тюрьмам секретных инструкций, а главное — с резким увеличением числа политических заключенных, тюремный режим стал невыносимо тяжелым. Это вызывало частые массовые протесты и возмущения. В 1907 году начальник Бутырской тюрьмы был ранен, а стрелявшая в него каторжанка казнена на тюремном дворе. Позже покушению подвергся заведующий каторжным отделением Бутырки, но и после этих актов возмездия режим не смягчился, применялись телесные наказания, порка, забивали до смерти.

С 1908 года, при новом начальнике Кудрякове и заведующем общими камерами каторжного отделения Дружинине, Бутырская тюрьма, судя по воспоминаниям бывших политкаторжан, превратилась в сплошной ад. Были введены так называемые «штрафные» камеры. Их отменили только в 1913 году, когда в камере № 33 вспыхнул массовый протест. Его подавили путем обстрела камеры.

По тюремной статистике за 1907—1913 годы в Бутырской тюрьме было казнено «за возмущение» одиннадцать человек. В течение 1909—1910 годов в той же тюрьме произошло пятьдесят самоубийств.

Осенью 1909 года, в те дни, когда из арестного полицейского дома в одиночную камеру Бутырки был переведен «за возмущение» Маяковский, в одной из

общих камер заключенные подготовили массовый побег, но их смелый и дерзкий план был выдан одним уголовным преступником. На всю камеру обрушились жесточайшие кары. Заключенных выводили в коридор поодиночке сквозь строй ружейных прикладов, потом в карантине подвергали новой экзекуции и, израненных, полуживых, клали под розги. Дружинин определял количество ударов каждому от 35 до 99. Сто ударов разрешалось назначать только по указанию свыше. После этой страшной расправы каторжан бросали в только что введенную в действие «штрафную» камеру, откуда многие уже не вышли живыми.

Тюремщиками владел животный страх перед их безоружными жертвами. Когда дверь общей камеры открывалась, первыми входили коридорные надзиратели с наганами в руках и занимали позицию против шеренги каторжан. Затем входил «старший», а за ним сам Дружинин. Остальная свора вооруженных тюремщиков оставалась «на всякий случай» в коридоре.

Чтобы представить себе, какая сложилась обстановка, какой режим установился в Бутырской тюрьме к августу 1909 года, достаточно прочесть воспоминания одного из политкаторжан, опубликованные в журнале «Каторга и ссылка»[1]:

«— Живыми отсюда не выйдете, — сказал Дружинин после приемки нас, группы политических каторжан, от виленского конвоя в августе 1909 года.

— Это мы еще посмотрим, — гордо, вызывающе ответил смелый, юный Петя Зубрицкий.

— Взять его в карцер, дать «50», — крикнул взбешенный Дружинин окружавшей его своре надзирателей и, обратившись еще раз к нам, повторил:

— Никого из вас живым не выпущу отсюда.

Что касается угроз Дружинина, то они действительно оправдались, для многих Бутырка стала могилой».

Ежегодно в Бутырской тюрьме умирало четыреста—пятьсот каторжан, а в 1909—1910 годах, с применением «штрафных» камер, смертность еще более повысилась. Этому же способствовала секретная инструкция об «усилении режима», о «подвинчивании» тюрем. Заключенные, узнав об инструкции, быстро расшифровали смысл «подвинчивания», как прямого указания поболь-

---

[1] № 1, 1928 г., стр. 113.

ше уничтожать людей, освобождать места для новых бесчисленных жертв. Политика такого «подвинчивания» привела к катастрофе 21 января 1911 года, когда при попытке массового побега были убиты четыре надзирателя, а из числа каторжан в отместку — семеро повешены. Только после этого палач-садист Дружинин был смещен.

О творившихся в стенах Бутырки кошмарах обычно быстро узнавали все заключенные. Когда надзиратель выстрелом в дверной глазок убил политического заключенного, «весть об этом, — как свидетельствует бывший политкаторжанин Б. Горев, — моментально распространилась по тюрьме».

Как только пускали «пушку» (слух, версию, легенду), она облетала всю тюрьму. Иногда этим способом оповещания пользовалась даже сама администрация, например, в связи с открытием при тюрьме так называемых «мастерских».

Связь между общими камерами поддерживалась тайной передачей записок, тихими скороговорками, а между одиночными — на общих прогулках, в бане, а иногда и через библиотеку. Кроме того, в камерах выстукивали — все стены таили эти стуки, эти голоса узников.

Об изуверствах Дружинина знали все, поэтому сидевшие в одиночках политкаторжане и подследственные предпочитали «свои» камеры общим, но это отнюдь не потому, что «в одиночке можно отдохнуть и почитать»[1].

Вот что рассказывал один из политкаторжан, «сосед» Маяковского по корпусу одиночных камер: «В конце октября 1909 года после обеда меня вызвали с вещами из камеры, чтобы перевести в общую из одиночного корпуса. Я шел в общую с каким-то раздвоенным чувством, рассказы о зверствах Дружинина доходили до нас в одиночки и пугали перспективой попасть к нему в лапы, с другой стороны, огрубев от постоянной брани и окриков, видя перед глазами все время смертников, я как-то впал в апатию»[2].

Часть камер второго этажа была отведена пригово-

[1] В. Перцов. «Маяковский. Жизнь и творчество», т. I, 1957 г., стр. 115.

[2] Журн. «Каторга и ссылка», № 7, 1923, стр. 214.

ренным к казни. Камера, в которую заключили Маяковского, находилась на четвертом этаже, в левом крыле корпуса, ближе к Северной башне.

Когда Маяковского перевели в Бутырскую тюрьму, в ней уже находился Тимофей Трифонович Трифонов, вместе с которым Маяковский привлекался по делу о нелегальной типографии. А за три года до этого в изоляторе Бутырской тюрьмы, в Пугачевской башне, сидел Исидор Морчадзе. Высланный потом в Туруханский край, он бежал из ссылки и вернулся в Москву под чужой фамилией — Коридзе. С ним Маяковский привлекается по второму делу о побеге тринадцати.

Основное, что устойчиво влияет на психику заключенного, — это срок. Маяковского питала надежда на скорое освобождение, и он мог думать о приложении своих сил после выхода из тюрьмы. Будучи подследственным, а не осужденным, он знал, что против него нет никаких прямых улик, кроме «неблагонадежности». Поэтому он писал в своем прошении, посланном Охранному отделению: «У вас нет данных меня держать». В этом убеждении он еще более утвердился после суда по делу о нелегальной типографии, когда оставалось доказывать свою невиновность только по второму делу.

Психологическое состояние политического заключенного в царской тюрьме облегчали сознание собственной правоты, идейная убежденность, что, однако, не исключало порой спадов настроения, минутного уныния. Как ни старался заключенный занять и развлечь себя чтением или чем-либо иным, для него, по меткому определению автора очерков тюремной психологии М. Н. Гернета, «день текущий повторяет день минувший и, как бы не являясь н о в ы м днем, усиливает ощущение однообразия и вызываемой этим тоски».

Именно это ощущение однообразия, мне кажется, подсказало Маяковскому тогда в одиночной камере строки:

> ...Ждал я: но в месяцах дни повторялись,
> Сотни томительных дней.

В тюремной психологии есть понятие о «чувстве изголодания зрения». Например, Роза Люксембург писала из тюрьмы о своих «изголодавшихся глазах». Этот особый голод возникал у заключенных Бутырки от предельной ограниченности и однообразия зрительных вос-

приятий и ощущений. Один заключенный наклеил на стену камеры случайно подобранные клочки цветной бумаги, лишь бы было на что смотреть, что-то отличать от серой безликости стен.

Владимир Маяковский пишет в поэме «Люблю», в главе, названной «Юношей»:

Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов нá море?!
Я вот
в «Бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103 камеры.
Глядят ежедневное солнце,
зазнáются.
«Чего — мол — стоют лученышки эти?»
А я
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы — все на свете.

В дверной глазок не всмотришься. Он отталкивал незримым зрачком надзирателя, а наружный глазок — как мало давал он Маяковскому: клочок неба, отгороженного тюремными корпусами, и вывеска «Бюро похоронных процессий» на пролегавшей вдали улице.

Чем заняться? Чем мог он заняться на строго отмеренной площади одиночной камеры, отрезанный от внешнего мира, узнающий о смене дня и ночи по темноте или скудному притоку света? Чтением!

«После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику», — пишет Маяковский в автобиографии.

На протяжении столетий во всех тюрьмах мира заключенные боролись за право на чтение книг. Их лишали этого права или ограничивали его литературой религиозного содержания. И все же постепенно из пожертвований и книг, принадлежавших самим узникам, создавались тюремные библиотеки. Но даже при наличии книг иным заключенным не сразу удавалось психологически переключиться на чтение.

Сильвио Пеллико, приговоренный в 1820 году к смертной казни с заменой ее пятнадцатью годами каторги, пишет в своей книге «Мои темницы»: «Хотя мне позволили иметь Библию и Данте, но ум мой был слишком возбужден, чтоб я мог занять его каким бы то ни было чтением. Каждый день я учил на память одну песнь из Данте, но это упражнение было до такой сте-

пени машинально, что я гораздо меньше думал о заученных стихах, чем о своих делах».

В дальнейшем, находя спасение в книгах, но вынужденный много раз перечитывать уже прочитанное, Пеллико признавал: «Они все-таки давали приятную пищу для ума, так как давали повод к вечно новым исследованиям, сопоставлениям, суждениям, поправкам...». Это высказывание полностью подтверждается наблюдениями М. Н. Гернета, утверждающего, что чтение в тюремной обстановке отличается «высокой степенью напряженного внимания», что влияние прочитанного в заключении во много раз больше влияния прочитанного на воле и к тому же «приводит к развитию критики».

До чего же это наблюдение психологически совпадает со словами Маяковского: «Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни...».

Критическое отношение к поэзии символистов, с проявления которого начался поэт Маяковский, было подготовлено его общим критическим восприятием окружающей действительности, быта и искусства. Уже в советские годы он напишет: «Реакция создала искусство, быт — по своему подобию и вкусу».

Вот с чем решил бороться шестнадцатилетний Маяковский, овладевавший в те годы теорией марксизма и практикой партийной работы. Многое предстояло обдумать и решить. Какие средства и формы борьбы он изберет, выйдя на свободу?

А пока — читать и читать... «Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой». Но не следует предполагать, что тюремная библиотека была книжным раздольем. К тому же власти пытались приспособить книгу к своей политике. В 1910 году проводилось совещание «тюремных деятелей», обсуждавшее вопрос: «Насколько и в каких пределах представляется желательным доступ в тюрьмы книг по философии, истории и вообще научного содержания, а также по беллетристике».

Еще в Сущевской части после первого ареста Маяковский впервые заглянул в список книг, выдававшихся заключенным. В автобиографии он пишет: «В части с недоумением прочел «Санина». Он почему-то в каждой части имеется. Очевидно, душеспасителен». Арцыбашев-

ская эротомания имелась и в бутырской библиотеке, и в других каторжных централах.

Особое место в тюремных библиотеках отводилось книгам религиозного содержания. Однако М. Н. Гернет отмечает двоякое отношение заключенных царских тюрем, например, к библии: одни искали в ней образы поднимающихся на борьбу с беззаконием и неправдою и готовых на мученичество, другие, наоборот, подвергали библию вышучиванию. По приведенным Гернетом словам Мельшина, уже через час после начала чтения библии многие храпели... Критикуя ветхозаветное «око за око, зуб за зуб», заключенные говорили Мельшину: «Это не по нашему времени». А один из них предложил: «Помоему за око надо два ока и за зуб — все зубы».

В автобиографическом повествовании «Мои темницы» Сильвио Пеллико, искавший исхода из тюремных кошмаров в религии, порой приходил к ее отрицанию. Он писал: «Человек несчастный и озлобленный в страшной мере изобретателен на поношение себе подобных и самого создателя... Утром я не молился. Вселенная казалась мне творением воли, враждебной добру. Сколько раз уж мне приходилось становиться клеветником на бога; но я никак не ожидал вернуться к этому и вернуться так скоро». Чем тяжелее становилось одиночное заключение в крепости Шпильберг в Моравии — в одном из самых страшных в Европе казематов, тем чаще Пеллико впадал в сомнения и приходил к отрицанию религиозного «утешительства».

Не случайно я вторично ссылаюсь на Сильвио Пеллико — прославленного автора трагедии «Франческа да Римини», участника освободительного движения карбонариев в Италии. Его воспоминания «Мои темницы» переведены на все европейские языки и дважды вышли в начале девятисотых годов в русском переводе. Владимир Маяковский увлекался этой книгой еще в Кутаисе. Его друг по гимназии Виктор Демьянович, который имел «Мои темницы» и во французском переводе, вспоминает: «Если не считаться с религиозностью Пеллико, то в его книге содержится много строк, характеризующих человека волевого, любящего семьянина и безукоризненного друга. Что касается религиозной стороны произведения, то она нас никак не могла задеть, так как нашим религиозным гимном была шутливая песенка «У попа была собака, он ее любил...», которую мож-

но было повторять до бесконечности. Наше детское воображение воспринимало не раздумья и размышления Сильвио Пеллико, а реальные факты из его тюремной жизни».

Книга «Мои темницы» оставляет неизгладимый след в памяти читателя. Трагическая история узника Сильвио захватила внимание Володи Маяковского, а через три года он сам становится узником одиночной камеры. И мог ли он не вспоминать эпизоды почти вековой давности, но уже как бы знакомые ему по собственным переживаниям в Бутырской тюрьме?! Хотя бы вот эти строки:

«Бесконечное число раз просили мы о милости иметь бумагу и чернила. Хоть для занятий, и разрешить нам расходовать наши деньги на покупку книг.

...Мы (Сильвио и его друг Марончелли) приобрели удивительную способность сочинять на память длинные поэтические произведения, отделывать их и переделывать бесконечное число раз и доводить их до той степени возможного совершенства, какой мы достигли бы, если бы писали.

...К несчастью, комиссия, позволив мне иметь чернильницу и бумагу, пронумеровала все выдаваемые мне листы с запрещением уничтожать их, сохраняя таким образом за собою право проверки.

...Этой тетради я тоже посвящал несколько моих часов, а иногда целый день или целую ночь. В ней писал я литературные произведения».

Маяковский тоже имел в камере тетрадь. Свою, тайно полученную с передачей, или «казенную», пронумерованную и прошитую — неизвестно.

Приводя в автобиографии по памяти одно четверостишие из той тетради, Маяковский поясняет: «Исписал таким целую тетрадку».

Если за два года до этого он написал для нелегального гимназического журнала «Порыв» первое «полустихотворение», затем второе и, не удовлетворенный написанным, «бросил вовсе», то теперь это были не полустихотворения, а первые стихи, заполнившие целую тетрадь и противопоставленные прочитанным книгам символистов.

«Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось т а к  ж е  п р о  д р у г о е — нельзя. Вышло ходульно и ревплаксиво», — признает Маяков-

ский. Надо было найти новую форму, новые слова для «другого» содержания.

Неизвестны названия книг, прочитанных Маяковским в Бутырской тюрьме, а между тем, по его словам, — «все новейшее». Только по процитированным им строкам из стихотворения Андрея Белого «В горах» —

В небеса запустил
ананасом —

можно догадаться, что была взята книга «Золото в лазури».

И круг классической литературы назван в автобиографии, видимо, не полностью. Кроме произведений Байрона, Шекспира, Толстого, можно предположить, были прочитаны романы Достоевского. И года не прошло с тех пор, как Маяковский в письме из арестного дома Сущевской части к сестре просил достать для него «сочинения Толстого или Достоевского». А в Бутырке — «обрушился на классиков».

Тюремные библиотеки создавались бессистемно, по случайному стечению обстоятельств, из пожертвований или из книг, принадлежавших самим заключенным. Из рук в руки переходили книги, оказавшиеся у некоторых обитателей общих камер. Хватались за все, — был ли это «Санин» Арцыбашева или «Половой вопрос» Фореля. Часто заключенные просили «что-нибудь с картинками», чтобы перенестись воображением за пределы тюремных стен. Когда после шумных споров, возникавших вокруг «пушек» (слухов), начинались тихие разговоры о сновидениях, о гадании и пророчестве, интерес к беллетристике у заключенных в общих камерах снижался. Наиболее устойчивым и даже возраставшим был, как вспоминают бывшие политкаторжане, интерес к романам Достоевского и к философским произведениям Толстого.

Подследственные имели возможность выбрать книгу для чтения по списку. Если чтение в какой-то степени притупляло острое ощущение одиночества, то запрещение общих прогулок, обрекавшее на полную изоляцию в четырех стенах одиночки, сильно угнетало.

На шестой день заключения Маяковский подает прошение, в котором просит освободить его как ни в чем не виновного, а на время пребывания в тюрьме разрешить общую прогулку. Ему отвечают из Охранного от-

деления, что до окончания дела он освобождению не подлежит, «просьбу об общих прогулках отклонить». Спустя полтора месяца Маяковский подает прошение на имя градоначальника. Описав, при каких случайных обстоятельствах был арестован 2 июля, он далее пишет: «Я вот уже три месяца и пять дней нахожусь в заключении и этим поставлен в очень тяжелое положение, так как, во-первых, пропустил экзамены в училище и, таким образом, потерял полный год; во-вторых, каждый день дальнейшего пребывания в заключении ставит меня во все большую и большую необходимость совершенного ухода из училища, а значит, и потерю долгого и упорного труда предшествующих лет; в-третьих, мной потеряна вся работа, дававшая мне хоть какой-нибудь заработок, и, наконец, в-четвертых, мое здоровье начинает расшатываться и появившаяся неврастения и малокровие не позволяют мне вести никакой работы. Ввиду всего изложенного, т. е. моей полной невиновности и тех следствий заключения, которые становятся с каждым днем все тяжелее и тяжелее, покорнейше прошу ваше превосходительство разобрать мое дело и отпустить меня на свободу».

Подождем знакомиться с ответом градоначальника и посмотрим, что произошло на отрезке времени между подачей этих двух прошений. Еще до перевода Маяковского из Мясницкой части в Бутырскую тюрьму ему вручили повестку о явке на суд по делу о тайной типографии. И вот этот день настал. 9 сентября его доставляют в Судебную палату. Процесс длился несколько дней. О нем писали газеты. Объявление приговора назначается на 19 сентября. Трифонова, Иванова и Маяковского снова доставляют в зал суда.

Защитник Маяковского П. П. Лидов вспоминает: «Маяковский внешне бравировал деланным безразличием и спокойствием. Прозвучали первые слова приговора, касавшиеся Трифонова. Юноша опустил голову, но тотчас же глаза его широко открылись, и он, как говорят в школе, «уставился» на фигуру председателя».

«...подвергнуть каторге на шесть лет».

Тимофей Трифонов, профессиональный революционер, не признал себя виновным, но с самого начала следствия он один был в ответе за все и за всех по делу о типографии. Он не ждал от царского суда снисхождения. А за Сергея и Владимира, очутившихся рядом

с ним на скамье подсудимых, мог быть спокоен: осудить их не смогут, а школу революционного мужества они пройдут.

И вот звучат слова приговора им: «Признав виновными в преступлении, предусмотренном 2 п. 132 статьи Уголовного уложения, но действовавшими без разумения, не понимая свойства и значения ими совершаемого, отдать, согласно 41 статье того же Уложения, под ответственный надзор их родителям».

Не считаясь с этим, охранка подготавливала для Маяковского другое наказание — высылку в Нарымский край на три года под гласный надзор полиции. 21 сентября Маяковский снова подвергся врачебному осмотру. Врач дал заключение: «По данным осмотра мною определен его возраст приблизительно в 16—19 лет».

Девятнадцать лет! Столько, сколько нужно, чтобы угнать в Нарым.

О предполагающейся высылке Маяковский узнал из ответа на свое второе прошение. В тот же день он пишет короткое заявление, в котором вновь просит разрешить ему общую прогулку. Он старается убедить в бессмысленности ее запрещения, «так как в баню водят заключенных в количестве 10 (десяти) человек, и, следовательно, водится гораздо большее число лиц, чем на общей прогулке, на которую выводят всего четыре человека». То ли логический довод заключенного, то ли другие обстоятельства повлияли на Охранное отделение, и прогулки, наконец, были разрешены. Но тюремная администрация не уведомила Маяковского об ответе, полученном на его заявление, и он 18 ноября в третий раз обращается с просьбой, но уже без всяких доводов: «Покорнейше прошу Охранное отделение разрешить мне общую прогулку».

С 18 августа, когда Маяковский был переведен в Бутырскую тюрьму, до подачи последнего заявления прошло ровно три месяца, а его ни разу не выводили на прогулку. Это не могло не беспокоить и не угнетать узника.

В своих прошениях и заявлениях, написанных в заключении, Маяковский строго придерживается общепринятой формы обращения и фразеологии (со всякими «честь имею покорнейше просить»), но сохраняет независимость тона, твердость, логичность и даже категоричность доводов (вроде: «нет и, конечно, не может

быть никаких фактов и улик»). Он последовательно подчеркивает то, что является учащимся и дорожит временем и свободой для завершения образования. И еще одна характерная ообенность: он не ссылается на «дела» о тайной типографии и побеге тринадцати, а прибегает к таким вот оборотам речи: «...в моей полной неприкосновенности к приписываемому мне». Приписать же действительно ничего не смогли, кроме установленного наружным наблюдением «сношения с лицами, принадлежащими к местной организации РСДРП». Когда министр внутренних дел, уже после рассмотрения особым совещанием дела о содействии побегу, затребовал дополнительных сведений о Маяковском и еще об одном подследственном, Охранное отделение не нашло ничего нового, чтобы сообщить ему.

Видимо, догадываясь об этом по ходу следствия, Маяковский надеялся на скорое освобождение, однако его не мог не угнетать режим одиночного заключения. Даже свидания с матерью и сестрами были разрешены ему только в начале октября, спустя полтора месяца после перевода его в Бутырскую тюрьму. В публикации В. Ф. Земскова «Участие Маяковского в революционном движении» упоминается разрешение, полученное от Охранного отделения на десять свиданий: 6, 20 и 27 октября, 3, 10, 17 и 24 ноября и 8, 15 и 22 декабря 1909 года. Но что могли сказать друг другу люди, разделенные двумя решетками?

С 1907 года, когда выстрелом из револьвера, переданного «с воли», был ранен начальник тюрьмы, бутырские стражи набрасывались на передачи, кромсали их на куски в поисках недозволенного.

«Подвинчивание» режима все более усиливалось. Если до этого водили в баню группами в двадцать—тридцать человек, то с введением новых правил — по десять человек два раза в месяц. Заключенные становились в затылок и в сопровождении двух надзирателей (один в голове, другой замыкающий) спускались вниз, выходили из корпуса на церковный двор, пересекали его и попадали в баню.

С воли заключенным посылали письма, но не всегда они попадали к тем, кому предназначались. У Маяковского «свой адрес», он запечатлен на открытке, которую послала ему перед новым годом его первая кутаисская учительница Юлия Феликсовна Глушковская: «Город-

ское. Бутырская тюрьма. Камера 103. Владимиру Владимировичу Маяковскому».

1909 год подходил к концу.

Можно только догадываться, строить предположения, наиболее близкие к истине, чтобы представить, что пережил, что обдумал и что решил Маяковский за этот год.

Одиночество неизбежно заставляет продумывать пережитое. По меткому выражению М. В. Новорусского, — это своего рода «жвачка мозга» — потребность «уйти в воспоминания».

А Маяковскому было что вспоминать не из столь далекого прошлого. Позже он напишет:

В детстве, может,
    на самом дне,
десять найду
    сносных дней.

Он имел в виду, конечно, не только свое детство, не лишенное игр и забав, а и социальный уклад жизни, так рано им познанный.

Когда в Кутаисе полиция хватала и заключала под стражу его товарищей по гимназии, он вместе со всеми выбегал на улицу, участвовал в демонстрациях протеста, а теперь сам стал узником.

Маяковский проходил большую школу жизни, которая ни в какие рамки учебных заведений того времени не укладывалась.

...И сказки
        про ангелов,
                которых нет,
и всё,
    что задавали
                — до и от, —
и всё,
    что зубрили
                восемь лет, —
старательно забывают
                в один год...

Вынужденный уход Маяковского из гимназии был равносилен исключению, и он имел основание написать в поэме «Люблю»:

...Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.

И дальше:

Птенец человечий,
чуть только вывелся —
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.
И вся она — с крохотный глобус.
А я
боками учил географию —
недаром же
наземь
ночёвками хлопаюсь.

Здесь поэт пережитое им самим обобщает с детством своего поколения.

В автобиографии, касаясь пережитого за одиннадцать бутырских месяцев и даже ранее, Маяковский описывает, с какой горечью осознавал он свое положение к началу 1910 года: «...Нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского».

И до высшей школы не дотянулся. «А высшую школу — я еще не знал, что это такое — я тогда уважал!» Это уважение — от близкого знакомства с небольшим кругом студентов, уже вступивших на путь революционной борьбы. Отсюда даже нотка благородной зависти: «Хорошо другим партийцам. У них еще и университет». Ему же предстоят студии художников, а затем училище живописи, ваяния и зодчества, из которого его исключат за неподчинение запрету творческих выступлений, «критики и агитации» вне стен школы искусства. Это было последнее училище в жизни Владимира Маяковского, и так оно и названо им в автобиографии.

Критическое отношение к социальному укладу жизни, накопившееся за годы детства,—

Я
жирных
с детства привык ненавидеть,
всего себя
за обед продавая, —

вылилось после пропагандистской работы среди рабочих, арестов, сидок и суда в цельное мировоззрение. Он мог уже делить понятия, темы, образы на: это — моей жизни, это — не моей жизни.

Бутырка научила его остро ненавидеть все порожденное царизмом. Эта жгучая ненависть в скором времени отольется в разящие слова, найденные с тем новым отношением к искусству, которое с первых шагов определило его путь новатора.

С бутырских месяцев, с 1909 года ведет Маяковский летосчисление своего творчества.

В стихотворении «Несколько слов обо мне самом», написанном в 1913 году, есть строки:

Кричу кирпичу,
слов исступленных вонзаю кинжал
в неба распухшего мякоть...

И вот строка «кричу кирпичу», выразившая крик одиночества и безвыходности, испытанных в стенах Бутырской тюрьмы, в стенах, за которыми были еще и еще стены, попадает уже со страницы книги в тюремные камеры Александровского каторжного централа Иркутской губернии. Книги молодых поэтов, которых критика при первом их выступлении назвала футуристами («футуристами нас окрестили газеты», — отметил Маяковский), достигли неведомыми путями, при своих крайне малых тиражах, тюремной библиотеки. Об этом можно прочесть на страницах журнала общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев «Каторга и ссылка» (1922 г., № 3, стр. 200): «Мы здесь... просматривали и литературу футуристов с их «засахаре кры», «кричу кирпичу»[1].

Уже в наше время, мысленно переносясь в прошлое, в глухие годы реакции, Маяковский писал о тюремном режиме царизма:

За волчком —
трамваев
электрическая рысь.
Кто
из вас
решетчатые прутья
не царапал
и не грыз?!

[1] П. Фабричный. «Грамота и книга на каторге». Примечание автора: «Эта статья написана еще до переворота, во время пребывания в тюрьме, но я оставляю ту форму, в какую вылилась она, не подвергая ее переработке». Слова «кричу кирпичу» из стихотворения Маяковского «Несколько слов обо мне самом», слова «засахаре кры» (с усеченными окончаниями) принадлежат другому автору.

Лоб
разбей
о камень стенки тесной —
за тобою
смыли камеру
и замели.
«Служил ты недолго, но честно
на благо родимой земли».
Полюбилась Ленину
в какой из ссылок
этой песни
траурная сила?

Каждая строка этого отрывка из поэмы как бы пережита поэтом.

Стихи, написанные Маяковским в Бутырской тюрьме и заполнившие тетрадь, не удовлетворяли его ни по форме, ни по содержанию. Это объяснено в автобиографии. Казалось бы, «до чего же нетрудно писать лучше их», прочитанных им в одиночной камере? Нетрудно лишь потому, что считал, что у самого «уже и сейчас правильное отношение к миру». Но чтобы писать лучше, чем другие, нужен был опыт. «Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело — «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною — «сотни томительных дней».

Оставались считанные дни до освобождения, когда нависла угроза высылки Маяковского. Мать едет в Петербург хлопотать об отмене постановления о высылке. Этого же добивается С. А. Махмудбеков, используя старые связи с тюремной администрацией, с влиятельным царским сановником Курловым. «Махмудбеков отхлопотал меня у Курлова», — пишет Маяковский в автобиографии.

28 декабря министр внутренних дел постановил переписку о Маяковском прекратить, а самого заключенного немедленно освободить из-под стражи. Между тем «дело» о побеге тринадцати политкаторжанок еще не было закончено. Только 31 марта состоялось заседание военно-окружного суда. В. Калашников был приговорен к ссылке на поселение, С. Коридзе (Исидор Морчадзе) — к заключению в крепости на 1 год и 6 месяцев.

9 января 1910 года Владимира Маяковского выпускают из Бутырской тюрьмы и направляют к приставу 3-го участка Сущевской части для водворения его к родителям.

По существовавшим инструкциям заключенным не

разрешалось иметь при себе листы бумаги, неучтенные тетради. Однако политзаключенному Ф. Н. Петрову удалось при его освобождении из Шлиссельбургской тюрьмы в 1914 году тайно вынести с собою две тетради с записями. Видимо, не старался это сделать Маяковский. При выходе его из Бутырской тюрьмы надзиратели отобрали единственную тетрадь со стихами.

Через пятнадцать лет, в марте 1925 года, Маяковский задумал разыскать архивные материалы 1908—1910 годов, оживить в памяти дни и месяцы своей партийной работы и отсидки в царских тюрьмах. Он обратился в Истпарт Московского Комитета партии и, получив официальное отношение, направился в Московский историко-революционный архив. Здесь он 27 марта заполняет анкету и требовательную ведомость. В анкете отвечает на вопросы:

Тема работы: Типография МК, побег 13-ти.

По каким материалам: Судебной палаты, охран(ного) отд(еления) и Воен(ного) суда.

С какой целью производится работа: С научной.

На вопрос той же анкеты: в каком издании предполагается опубликовать работы, написанные на основе архивных материалов, Маяковский ответил: «Каторга и ссылка» и Истпарт. Эти ответы не были и не могли быть формальной данью анкетным требованиям, они отражали какой-то творческий замысел. Журнал «Каторга и ссылка» был одним из значительных в то время изданий, публиковавших воспоминания, документы и статьи на историко-революционные темы.

В. В. Маяковский, как вспоминает Л. Ю. Брик, «очень был увлечен этими поисками и подробно рассказывал о каждой своей находке».

Если в анкете, заполненной в Московском историко-революционном архиве, Маяковский ограничил свои разыскания двумя материалами: о нелегальной типографии и побеге тринадцати политических заключенных, то в требовательном листе он указывает еще на один фонд — архив Бутырской тюрьмы — и называет интересующий его материал: «Отобранная при выходе тетрадка (рукопись) моих стихов».

Обнаружить эту тетрадь не удалось.

Перед Маяковским после выхода его из Бутырской

тюрьмы возникла «так называемая дилемма»: как распорядиться полученной свободой?

«Если остаться в партии — надо стать нелегальным», — предается он раздумью. Хотя его не смогли осудить по первому делу и привлечь к суду по второму, он-то знал твердо, что находится под негласным надзором полиции и считается «политически неблагонадежным». Так было в действительности. И поступил-то он вскоре в Училище живописи, ваяния и зодчества, а не в другое учебное заведение потому, что это, по его словам, «единственное место, куда приняли без свидетельства о благонадежности». А сколько раз Охранное отделение давало по различным запросам справки о его «неблагонадежности». Продолжалась и разработка сведений о нем, так, например, 12 апреля 1914 года директор Кутаисской гимназии сообщает по запросу местного вице-губернатора: «Что касается Маяковского Владимира, б. ученика 4-го класса Кутаисской гимназии, то таковому было вручено свидетельство, но не аттестат о пребывании его в гимназии от 16 июня 1906 года за № 1049». А сколько раз запрашивалась синодальная контора о дате рождения Маяковского?! В 1915 году охранка поручает полиции выяснить его род занятий...

Что же решить? Если продолжать работать партийным пропагандистом и организатором, то надо стать нелегальным, как Трифонов, как Морчадзе, работавшие до ареста под чужими фамилиями.

«Нелегальным, казалось мне, не научишься», — продолжает Маяковский. В первой публикации автобиографии (журнал «Новая русская книга», № 9, Берлин, 1922 г.) слов «казалось мне» нет, они вписаны Маяковским в 1928 году при завершении работы над автобиографией «Я сам». Возможно, еще при жизни поэта нашлись «спорщики», догматически выяснявшие вопрос: мог или не мог Маяковский совместить нелегальную работу с учением? Даже без его оговорки («казалось мне») ясно, что он не собирался давать обобщающую постановку вопроса, и тем более решение его, а высказывался в автобиографическом плане. Вспомним, как не мог совместить он нелегальную работу с учением в гимназии (первый арест), с учением в Строгановском училище (третий арест). А перспектива представлялась ему такой: «Всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг.

Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами?».

Восстанавливая в памяти свои юношеские раздумья, возникшие, когда он, взбудораженный пережитым, передуманным и прочитанным, вышел «на волю», Маяковский пишет:

«Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии — Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка.

Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки

Я прервал партийную работу. Я сел учиться».

По поводу замечания Маяковского о недооценке его творческих сил С. Медведев писал позже: «Вполне вероятно, что я действительно отнесся к его словам несколько скептически и считал, что он себя переоценивает. Мне казалось тогда, что ему, как всякому человеку, который хочет приобрести основательные знания, необходимо пройти университет. А все поведение Маяковского было диаметрально противоположным».

Было ли оно диаметрально противоположным? Нет! У него были с в о и университеты, была жажда и воля к учению, но уже не в стенах гимназии, — о ней он достаточно ясно высказался позже в стихах.

Некоторые исследователи считают, что Маяковский в 1910 году «отошел от партии», тогда как он сам определяет: я прервал партийную работу. Я сел учиться.

За стихи после «плачевных опытов» он не брался, думал — не может. Но однажды получилось, и, как сам об этом вспоминает: «совершенно неожиданно стал поэтом». К этому «открытию», к стихам он пришел через революцию 1905 года, сидки, одиночку, «одержимый пафосом социалиста». И то, что он выступил сразу как цельный поэт со своим голосом, означало, что он уже многое передумал, долго и серьезно готовился. Высказанное Маяковским в юношестве со всей убежденностью желание «делать социалистическое искусство» творчески, последовательно осуществлялось. Это дало ему неоспоримое право написать и произнести во весь голос слова большого эпохального смысла: «...все сто томов моих партийных книжек».

# ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Мне часто приходится по роду своей разъездной чтецкой работы встречаться лицом к лицу с потребителем.

В. МАЯКОВСКИЙ.

Еще продолжал менестрелить. Собрал около 20 000 записок, думаю о книге «Универсальный ответ» (записочникам). Я знаю, о чем думает читающая масса.

В. МАЯКОВСКИЙ.

Он ездить по свету
любил всегда,
такой же,
как время,
стремительный.

Е. ЕВТУШЕНКО.
«Поездки» (1951).

1

«Нет достаточного расчета на применение (чтение, исполнение)», — заметил Владимир Маяковский, помещая в журнале «Новый Леф» стихи одного студента.

Писать с расчетом на чтение, исполнение! Не здесь ли ключ к глубокому постижению характерных особенностей поэзии самого Маяковского?! Его работа не исчерпывалась книгой, плакатом, журналом, газетой, радио, — он стремился еще к живому общению с читателями. «Надо, — указывал поэт, — всегда иметь перед глазами аудиторию, к которой этот стих обращен» (12—113[1]). Он нес аудитории новую поэзию, новые понятия и вкусы, он ломал старые каноны и представления, и только общение с читателями давало ему возможность проверить жизнеспособность своих новаторских идей.

В черновых записях к докладу «Анализ бесконечно малых» Маяковский, отвергнув возведенный некоторыми

[1] Здесь и в дальнейшем первая цифра обозначает том Полного собрания сочинений В. Маяковского (в 13-ти томах), вторая — страницу. Когда указывается цитируемое произведение, ссылка на собрание сочинений не делается.

критиками искусственный барьер, заключил: «Да здравствует оценка нашей работы самим потребителем».

Когда Госиздат, отклонив пьесу «Мистерия-буфф», отметил, что она «на рецензию не поступала», Маяковский написал Комиссии ЦК РКП(б) по делам печати, что такое отношение тем более возмущает, что «Мистерия» многократно «прорецензирована» в рабочих районах, где она читана «под энтузиазм слушателей».

По поводу стихотворения «Нашему юношеству» у Маяковского возник спор с редактором и товарищами, которым он читал его. И тогда он, пользуясь своей лекционной поездкой в Харьков и Киев, решил проверить строки уже напечатанного стихотворения в аудитории. Результаты этого интересного опыта рецензирования произведения самими читателями Маяковский привел вместе с их записками в статье «Корректура читателей и слушателей».

С чтением «Клопа» он выступал на комсомольских и рабочих собраниях в Москве и Харькове. «Рабочая газета» (13 января 1929 г.), сообщая о вечере, проведенном в московском клубе железнодорожников имени Октябрьской революции, приводит обращение Маяковского к слушателям: «Рассматривайте сегодняшний вечер как первую черновую работу писателя с читателем и давайте свои предложения»[1]. А позже Маяковский отмечает в заметке о пьесе, что он перерабатывает ее «по многочисленным читкам». Принятие пьесы аудиторией, положительные оценки не вызывали самоуспокоенности у автора. Рассматривая пьесы как оружие борьбы, он считал, что это оружие «нужно часто навастривать и прочищать большими коллективами» (12—188).

Маяковский обращался к читателям и тогда, когда впереди предстояла большая творческая работа. Собираясь в заграничную поездку, он пришел 10 сентября 1928 года на организованный редакцией «Комсомольской правды» вечер. В его записях к выступлению на этом вечере есть строка: «Пришел получить у вас командировку».

Тарас Костров, открывший вечер, сказал собравшимся (это отражено в газетном отчете), что Маяковский пе-

---

[1] Цитир. по книге В. Катаняна «Маяковский. Литературная хроника». 1961. Цитаты из газет даются преимущественно по этому источнику.

ред отъездом за границу хочет побеседовать со своими читателями о том, что и как ему писать о загранице, хочет получить задание, «командировку», как бы словесный мандат, «наказ» от своей аудитории.

Массовость служила для поэта важным мерилом в решении многих творческих и общественных вопросов и была сопряжена с повышенной требовательностью к себе.

Выступая 8 февраля 1930 года на конференции Московской ассоциации пролетарских писателей, Маяковский объяснил свой приход к ним желанием «переключить зарядку на работу в организации массового порядка». Эту же мысль он высказал в Доме комсомола Красной Пресни на вечере, посвященном двадцатилетию своей литературной деятельности. Он и здесь объяснил вступление в организацию пролетарских писателей серьезным и настойчивым желанием «перейти во многом на массовые работы».

Творческая жизнь Маяковского проходила в борьбе за идейность и массовость литературы и искусства, и он со всей убежденностью говорил, что «массовость — это итог нашей борьбы, а не рубашка, в которой родятся счастливые книги какого-нибудь литературного гения» (12—166).

## 2

С первых шагов на творческом пути Маяковский ощутил жгучую потребность в обращении со своим звучащим словом к читателю и слушателю. Он уже автор небольшого цикла стихов «Я!», лирической трагедии и стихотворений «Нате!», «Кофта фата», «Послушайте!», «А все-таки»... Издатели не покупали у него ни одной строки. «Капиталистический нос чуял в нас, — вспоминал он позже, — динамитчиков». И все же выход был найден. Маяковский выступает с докладом «О новейшей русской литературе» в Петербурге, там же, в театре Луна-парк, в начале декабря 1913 года состоялось представление его трагедии «Владимир Маяковский», а 14 декабря он уже выступает в Харькове. С этого началась поездка его вместе с Давидом Бурлюком и Василием Каменским по стране с чтением стихов и лекциями о современной литературе и живописи.

Но и в этом случае власти видели в них динамитчиков. «Губернаторство настораживалось... Часто обрыва-

лись полицией на полуслове доклада», — пишет Маяковский в автобиографии.

Начав с Харькова, поэты побывали в Симферополе, Севастополе, Керчи, Одессе, Кишиневе, Николаеве, Киеве, Минске, Казани, Пензе, Самаре, Ростове, Саратове, Тифлисе, Баку. Иногда прерывали поездку, возвращались в Москву, а затем снова «ездили Россией». В Гродно, Белостоке и Екатеринославе власти, усомнившись в «благонадежности» Маяковского, запретили им выступать.

Во время поездки Маяковский и Бурлюк узнают из газет, что они исключены из Училища живописи, ваяния и зодчества. По этому поводу Маяковский пишет в автобиографии:

«Генералитет искусства ощерился. Князь Львов. Директор училища. Предложил прекратить критику и агитацию. Отказались.

Совет «художников» изгнал нас из училища».

Поездка по стране завершилась выступлением 29 марта 1914 года в Баку.

Ожидать поддержки со стороны буржуазной прессы, естественно, не приходилось. В лучшем случае среди издевательских и колких замечаний проскальзывало невольное признание таланта, новизны постановки вопросов.

К этому периоду, к началу 1914 года, относятся строки из автобиографии Маяковского: «Чувствую мастерство. Могу овладеть темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над «Облаком в штанах».

В этих строках — большая целеустремленность, удовлетворение от ощущения возможности овладеть темой, творческое дерзание поэта. Вехи на его пути к высокой, ясной цели обозначены заглавными строками в его автобиографии.

И, конечно, он не мог быть понят всеми одинаково.

Из каких слоев общества состояла публика на вечерах поэтов-футуристов? Это попыталась определить одесская газета: «Здесь можно встретить представителей всех слоев общества: тут и приказчики, офицер и чиновник, особенно мелькают студенческие фуражки». Были и просто «любопытствующие», затаенно ожидавшие скандала. Ответом любителям литературных скандалов послужили слова Маяковского, приведенные ре-

цензентом в николаевской газете: «Те, кто полагает, что им придется участвовать в скандале и работать руками, должны разочароваться: им придется работать мозгами...»

Слушатели отзывались разно: одни освистывали, другие аплодировали, третьи добродушно смеялись.

«Тифлисский листок» отметил, что в программе вечера значилось «Слово утешения к тем, кто нам свистит». Но, как признает газета, «Тифлис не свистнул ни разу, а добродушно смеялся и, в начале вечера, даже рукоплескал». Газета «Кавказ», стараясь рассеять впечатление, поясняла: «Публика любит-таки, чтобы ее ругали».

Однако публика все так же аплодировала, когда поэт В. Каменский назвал Маяковского «Казбеком поэзии».

Касаясь выступления в Тифлисе, Давид Бурлюк позже вспоминал: «...я помню то удивление, кое было вызвано среди грузин приветственным словом, с каким Маяковский обратился на лекции к местному населению. Маяковский сказал его по-грузински».

Никто в публике не знал, что молодой поэт Владимир Маяковский — уроженец Багдади, бывший ученик Кутаисской классической гимназии. Не случайно его потянуло в Кутаис, и он после вечера в Тифлисе съездил вместе с Каменским в город своего детства.

За несколько дней до приезда Маяковского, Бурлюка и Каменского в Тифлис, независимо от предстоящего их выступления, в газете «Кавказ» появилась статейка, с ужасом вопиющая об «эпидемии» лекций: «Недавно началась эта эпидемия, и конца ей пока не видно. Просто жутко делается. Откуда этот поток, эта лавина, зачем, кому нужно? Никогда еще Россия так своеобразно не «заговаривала»...

И все же газета «Кавказ» не могла обойти молчанием вечер, состоявшийся 27 марта, но поместила отчет в отделе... «Происшествия». «Читатель сам, надеемся, понял, — говорится в примечании, — что отчет о подобном вечере не может быть напечатан в отделе «Театр и музыка», хотя вечер и состоялся в Казенном театре» (ныне Театр оперы и балета имени Захария Палиашвили).

Незадачливый критик, изощряясь в плоском остроумии, старался придать своей «статье» форму донесений, какие обычно составлялись в то время чиновниками судебного ведомства.

Среди вороха резких умозаключений только отдельные строки носят «описательный» характер:

«По порядку действие происходило так: по поднятии занавеса, за большим столом, посреди сцены, оказались сидящими три человека неопределенных лет...» — «На столе перед вышеупомянутыми футуристами стояли стаканы чая, средней крепости, с лимоном, и колокол...» — «Позвонив в означенный колокол, каковой приподнял с немалым трудом, отставной, якобы, коллежский асессор Маяковский вышел на возвышение в правом углу сцены...» — «Оный г. Маяковский в упомянутом сообществе футуристов является по-видимому главарем, и о нем надлежало посему сказать подробнее...»

Но что мог сказать буржуазный газетчик, для которого каждое слово Маяковского было «пощечиной общественному вкусу»!

Тщетно пыталась пресса представить гастролирующих поэтов-художников этакими «забавниками», затушевать острый социальный смысл их выступлений, тогда как они вели разговор серьезный и прицельный.

«Не случайно, что звучащее слово Маяковского имело во время турне наибольший социальный резонанс,— пишет в своем исследовании этой темы Н. Харджиев. — Однако это объясняется не только огромным ораторским талантом поэта, но и публицистической устремленностью его «голосового» стиха и связанным с нею образом поэта-трибуна, который становится центральным уже в вещах 1913 г., непосредственно обращенных к аудитории»[1].

## 3

В автобиографии Маяковский второй своей работой назвал продолжение прерванной традиции трубадуров и менестрелей: «Езжу по городам и читаю», а в 1926 году, выступив в Ростове, он отметил, что после тринадцатилетнего перерыва первый раз приехал читать стихи.

Хотя перерыв самим поэтом определялся в тринадцать лет, но выступления перед читателями уже с первых лет Октябрьской революции стали для него

---

[1] См. «Маяковский. Материалы и исследования», М., 1940, стр. 427.

насущной потребностью, и он участвовал в «обходе заводов и фабрик с диспутами и чтением вещей» (12—42), ставя перед собой широкие цели помощи словом строительству новой жизни. В 1924 году Маяковский выступал в городах Советской страны более тридцати раз, а в 1925 году к тому же предпринял новую, большую поездку за границу.

Можно насчитать свыше шестидесяти его выступлений в 1926 году в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове, Краснодаре, Баку, Тбилиси, Одессе, Днепропетровске, Таганроге, Новочеркасске, Полтаве, Воронеже, Севастополе, Симферополе, Ялте и других городах.

В маршруте Маяковского по Советскому Союзу каждый год появлялись новые города. В 1927-м: Нижний, Казань, Пенза, Самара, Саратов, Тула, Курск, Ярославль, Смоленск, Витебск, Луганск, Тверь, Владимир, Пятигорск, Кисловодск, Армавир. В 1928-м: Свердловск, Пермь, Вятка, Житомир, Бердичев, Винница, Запорожье. За последние семь лет жизни Маяковского состоялось около пятисот его выступлений в семидесяти городах Советского Союза и зарубежных стран.

На одном из вечеров в Харькове (28 февраля 1927 г.) Маяковскому послали записку, в которой спрашивают, когда он «предполагает еще приехать», и делают вывод: «Своими поездками вы приближаетесь к массам»[1]. Такие признания самих слушателей радовали и ободряли поэта, подтверждали правильность и жизненность взятого им курса на поездки по городам и встречи с читателями.

В поездках Маяковского по Союзу были периоды, когда он предельно уплотнял свое рабочее время. Они обыкновенно совпадали с созданием новых значительных произведений («Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», «Сергею Есенину», цикл стихов о загранице) или с новыми докладами («Идем путешествовать», «Мое открытие Америки», «Как делать стихи», «Лицо литературы СССР»).

К примеру. В феврале 1926 года Маяковский приезжает в Баку. 19-го он выступает в Оперном театре с докладом «Мое открытие Америки» и чтением стихов; в тот же день встречается в Доме просвещения с члена-

[1] Записки (здесь и далее, если не оговорен источник) — из архивного фонда В. В. Маяковского.

ми литературной группы «Весна». На следующий день он — в рабочем районе Сабунчи, а еще через день выступает в помещении театра с докладом «Лицо литературы СССР» и снова встречается с группой «Весна». Еще два выступления — 23 и 24 февраля. За пять дней он выступил семь раз. Кроме того, побывал на новых нефтяных промыслах, которым посвятил очерк, появившийся вскоре в журнале.

В октябре 1926 года Маяковский подряд четыре дня выступал в Киеве с новыми стихами. 1-го ноября — в Харькове, 2-го — в Полтаве, 4-го — в Днепропетровске, 5-го — снова в Харькове, 8-го — в Москве.

С 22 по 28 ноября он побывал в Воронеже, Ростове, Таганроге, опять в Ростове, Новочеркасске и снова в Ростове, где выступил три раза: на собрании ассоциации пролетарских писателей, у рабочих Ленинских мастерских и перед рабкорами и активом комсомола.

На следующий день он писал Л. Ю. Брик уже из Краснодара: «Езжу как бешеный... Читать трудновато... Читаю каждый день, например, в субботу читал в Новочеркасске от $8^1/_2$ вечера до 12 $^3/_4$ ночи; просили выступить еще в 8 часов утра в университете, а в 10 — в кавалерийском полку, но пришлось отказаться, так как в 10 часов поехал в Ростов и читал с $1^1/_2$ в Раппе до 4.50, а в 5.30 уже в Ленинских мастерских...» (13—99).

Неутолимая жажда встреч. Особенно насыщен поездками 1927 год.

В одной из своих записных книжек, в черновом автографе письма, Маяковский ссылается на «непрерывные выступления с 26 октября, иногда по 3 раза в день» (13—111). Почему он начал счет с этого дня? Ведь все предыдущие месяцы года прошли у него в напряженной творческой работе, в чтении лекций и стихов в городах Российской Федерации, Украины, Крыма, Белоруссии, в поездке по зарубежным странам. Дело в том, что с середины октября он начинает выступать с чтением своего нового детища — октябрьской поэмы «Хорошо!» в Ленинграде — колыбели Октябрьской революции. Затем последовали чтения в Москве, а с 20 ноября — поездки по городам Украины, Северного Кавказа и Закавказья. В Баку Маяковский выступил семь раз, только на 6 декабря приходится три выступления. С 9 по 11 декабря он читал поэму в Тбилиси.

Когда созревала важная тема доклада и требова-

лось проверить ее на выступлениях перед читателями, обосновать и, если нужно, поспорить, защитить свои взгляды и позицию, Маяковский проявлял особенную неутомимость. С докладом «Левей Лефа» и программой стихов «Слушай новое» он выступил в Ленинграде за пять дней девять раз. Одиннадцать раз за семь дней выступил он там с докладом-разговором «Что делать?», с чтением «Бани» и других произведений.

Его однажды спросили с упреком, почему он так часто выступает на курортах. Имели в виду Ялту, Симферополь, Евпаторию, Алупку, Харакс, Гурзуф, Алушту, Ливадию, Симеиз, Саки, Мисхор, Сочи, Хосту и Мацесту. На это последовал ответ:

— У товарищей неправильный взгляд на курорты. Ведь сюда съезжаются со всего Советского Союза. Тебя слушают одновременно и рабочие, и колхозники, и интеллигенты. Приходят люди из таких мест, куда ты в жизни не попадешь. Они разъедутся по своим углам и будут пропагандировать стихи, а это — моя основная цель[1].

Настойчиво расширяя сферу общения с читателями, Маяковский мог сегодня выступить в Москве, а завтра — в Нижнем Новгороде, одинаково дорожа той и другой аудиторией. Он решительно восстал против старого понятия «провинция», возмущался тем, что архаический язык еще склонен называть провинцией даже такие города, как Минск, Казань, ставшие волей революции столицами.

Поэт раздвигал не только географические рамки, но и рамки «словесной базы». Еще не популярное в то время, как средство пропаганды стихов, радио все более привлекало его внимание. Он писал: «Трибуну, эстраду — продолжит, расширит радио. Радио — вот дальнейшее (одно из) продвижение слова, лозунга, поэзии. Поэзия перестала быть только тем, что видимо глазами. Революция дала слышимое слово, слышимую поэзию. Счастье небольшого кружка слушавших Пушкина сегодня привалило всему миру». И далее: «Я не голосую против книги. Но я требую пятнадцать минут по радио» (12—162, 163). Ему охотно предоставляли эту возможность.

---

[1] П. И. Лавут. Маяковский едет по Союзу. Воспоминания. М., 1963, стр. 132.

Ив. Рахилло в своих воспоминаниях приводит такой диалог (это было в радиостудии на Никольской):

«— А много там слушателей? — спросил, показывая палкой на микрофон, Маяковский.

— Весь мир...

— А мне больше и не надо, — весело заметил Владимир Владимирович».

То, что здесь выглядит шутливо, было реальной действительностью. Например, 1925 год был годом буквально триумфальных выступлений Маяковского за границей — в Париже, Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Питтсбурге, Филадельфии, Пиксхилле, Кливленде. В одном только Нью-Йорке он выступил семь раз.

Маяковский предполагал в 1928 году предпринять кругосветное путешествие по маршруту: Москва — Владивосток — Токио — Буэнос-Айрес — Нью-Йорк — Рим — Париж — Константинополь — Одесса, но план этот остался неосуществленным. Поэт побывал только в Париже, где выступил с докладом о советской литературе и чтением стихов, и в Берлине.

Поездки по Советскому Союзу в последние годы его жизни все чаще прерывались из-за переутомления и вызванной этим болезни горла. В 1927 году армавирская газета «Трудовой путь» (от 4 декабря) сообщала, что Маяковский, по болезни, читал лишь отдельные места, а не всю поэму «Хорошо!». Вынужденный прервать в середине декабря 1927 года свои выступления, Маяковский и в марте 1928 года телеграммой из Москвы предупреждает о перенесении выступлений, объясняя, что «отмена ранее объявленных вечеров вызвана исключительно болезнью и запретом врачей» (13—113).

Начав в январе 1929 года чтение пьесы «Клоп», поэт, выступив семь раз в Москве, поехал в Харьков, но после трех выступлений там с пьесой и докладом «Левей Лефа» вынужден был отменить вечера, намечавшиеся в Полтаве, Кременчуге, Николаеве...

П. Антокольский писал, что у Маяковского был «прекрасно натренированный голос». Это верно по внешним впечатлениям, но беда была в том, что его голосу недоставало профессиональной натренированности. Некоторые слушатели, не понимая, что происходит с голосом поэта, посылали ему записки с требованием читать громче, хотя он и без того читал достаточно громко. Когда вечер затягивался, Маяковский обычно говорил:

«Может быть, на этом кончим? У меня глотка сдала».

В Саратове один из слушателей высказывает в записке, посланной поэту, опасение, что голос его может сорваться, и рекомендует спросить в Москве у бывших учеников Пятницкого (М. Е. Пятницкий умер в 1927 году), как он учил владеть голосом. В Перми Маяковскому советуют в записке: «Поберечь себя, чтобы и в дальнейшем произвести должное впечатление на слушателей». В то время еще не применялся усилитель звука — микрофон, и поэт соразмерял свой голос с величиной зала и его акустикой.

Тревога Маяковского имела основание. А. Полторацкий приводит в своих воспоминаниях его слова, относящиеся к началу 1929 года: «Врач говорит, что помочь ничем нельзя. Я надорвал себе голосовые связки частыми выступлениями. Он говорит, что мне нужно было лет двадцать тому назад «поставить себе голос», как делают актеры. А теперь уже поздно. Что же будет?» А незадолго до смерти Маяковский, выступая в Доме комсомола Красной Пресни, говорил: «Я сегодня пришел к вам совершенно больной, я не знаю, что делается с моим горлом, может быть, мне придется надолго перестать читать. Может быть, сегодня один из последних вечеров».

Эти слова прозвучали трагично, как трагично было положение с голосом.

## 4

О предстоящих выступлениях Владимира Маяковского обычно оповещали броские, выразительные афиши. В их составлении принимал непосредственное участие сам поэт. Он передавал устроителям вечеров полный текст или наметку афиши, стараясь заинтересовать ею наибольшее количество слушателей. В Москве излюбленным местом выступлений поэта была Большая аудитория Политехнического музея. Выступал он также в Большом театре, в Колонном зале Дома Союзов, в Большом зале консерватории, в клубе «Пролетарий». В Ленинграде — Дом печати, зал филармонии, в Ростове — театр имени Луначарского, Дом Красной Армии, в Краснодаре — Зимний театр, в Тбилиси — театр имени Руставели, в Туле — Дом Советов, в Твери — зал горсовета, в Казани — оперный театр, в Баку — Дворец куль-

туры и тоже театр. И так всюду. Бывали и «малые» аудитории. Скажем, в Самаре поэт выступал для членов Союза работников просвещения, в Курске — в железнодорожном клубе, в Харькове — в Технологическом институте, в Ленинграде — в Военно-политической академии, в Киеве — в Институте народного хозяйства, в Свердловске — в Уральском политехническом институте, в Перми — в зале агрономического факультета. В университетских городах перед ним широко раскрывались двери студенческих аудиторий.

Большую и наиболее подготовленную часть его слушателей составляли партийный и комсомольский активы. Не раз Маяковский выступал в Красном зале Московского комитета партии, в Доме комсомола Красной Пресни, в партийных клубах Минска, Владимира и многих других городов, в Тбилиси — в Закавказском коммунистическом университете, где получали высшее образование партийные кадры.

Тепло и запросто принимала у себя поэта рабочая аудитория. Он выступал на Путиловском заводе, на московских заводах «Красная роза», «Красный богатырь», «Икар», «Рускабель», в Ленинских мастерских Ростова, в доке имени Парижской Коммуны и на заводе имени лейтенанта Шмидта в Баку, на заводе «Красный Аксай» в Нахичевани, на заводах имени Петровского и «Спартак» в Днепропетровске, на заводах «Ленинская кузня» и «Большевик» в Киеве, в клубе металлистов Луганска, в клубе кожевников Таганрога, в Центральном рабочем клубе Тбилиси.

Когда ижорцы пригласили его к себе, он сразу отозвался телеграммой и вскоре выступил у них. Если число запланированных вечеров превышало всякие физические возможности, он отдавал предпочтение рабочей аудитории. Кроме того, всегда охотно встречался с рабкорами. «Приезжая в наш город, он обязательно бывал у рабкоров», — отметила 2 февраля 1926 года киевская газета «Пролетарская правда». Приезд Маяковского на Урал, в рабочий центр, газета «Уральский рабочий» (29 января 1928 года) расценила как «бесспорно глубоко положительное явление».

Заполнялись ли залы, предоставляемые поэту? На этот вопрос наиболее точно отвечала пресса:

«Выступление состоялось при переполненном зале. Среди слушателей преобладала рабфаковская моло-

дежь, которая шумно встретила тов. Маяковского» («Большевик», Киев, 15 января 1924 г.).

«Началось с осады Большого зала Консерватории. Публика — больше все молодежь» («Вечерняя Москва», 14 февраля 1924 г.).

«Выступления Маяковского на эстрадах одесских театров выросли в настоящее событие» («Известия», Одесса, 26 февраля 1924 г.).

«Небольшой зал Дома печати был переполнен публикой, главным образом молодежью» («Вечерняя Москва», 20 октября 1924 г.).

«Зал был переполнен. Поэма (о Ленине) была встречена дружными аплодисментами всего зала» («Рабочая Москва», 23 октября 1924 г.).

«Лекция Маяковского привлекла огромное количество слушателей. Даже имеющих билеты пропускали по очереди. Изнемогавшие милиционеры грозили вызвать конную милицию. В аудитории были заняты все места и кресла и на эстраде и на ступеньках» («Новая вечерняя газета», Ленинград, 9 декабря 1925 г.).

«Большой зал Политехнического музея заполнен до пределов возможности. Публика в проходах. Публика на эстраде. Публика в вестибюле. Снаружи — с улицы — Политехнический имел вид осажденной крепости. Это Маяковский читает свою новую — Октябрьскую — поэму «Хорошо!» («Вечерняя Москва», 21 октября 1927 г.).

Выступления Маяковского привлекали к себе особое внимание за границей.

«Вечер прошел с большим успехом, зал был переполнен» («Накануне», Берлин, 1 мая 1924 г.).

«Огромная аудитория с крайним нетерпением ожидала выступления поэта» («Русский голос», Нью-Йорк, 16 августа 1925 г.).

«Публика едва не сорвала крышу криками восторга от его стихов, посвященных Америке» («Дейли уоркер», 5 октября 1925 г.).

Успех лекций, докладов и стихов Маяковского отражен и в воспоминаниях современников, и в письмах самого поэта к Л. Ю. Брик. Вот строки из двух писем:

«В Харькове было полно, но с легкой проредью в ложах, а зато в Киеве стояло такое вавилоненье столпотворенское, что были даже два раненых» (15 января 1924 г.).

«Чехи встречали замечательно, был большущий ве-

чер, рассчитанный на тысячу человек, — продали все билеты и потом стали продавать билетные корешки, продали половину их, а потом просто люди уходили за нехваткой места» (7 мая 1927 г.).

Строки, написанные под свежим впечатлением журналистами и самим поэтом, — одно из многих доказательств того, что Маяковский был признан и поддержан массами. Творческий успех его обычно перерастал рамки одной, конкретно взятой аудитории. Сам поэт отмечал, что «настоящая аудитория и настоящее чтение начинается только на другой день» (9—430) после первого как бы общегородского вечера.

В Казани, 21 января 1927 года, когда Маяковский выступал в зале оперного театра, ему послали записку, в которой от имени «собрания организованного пролетарского студенчества Восточного педагогического института» просили прибыть «хоть бы на несколько минут» в Центральный Дом работников просвещения. Подписавшая записку «делегация» писала: «Собрание будет вас ждать. Ответ дайте в публику». В Воронеже (22 ноября 1926 г.) спрашивают на вечере: «Будете ли выступать в университете? Просим вас». Самарские студенты обратились к поэту, когда он 27 января 1927 года выступал в партийном клубе, с просьбой прочесть специально для них лекцию и заранее благодарили его. А вот его приглашают в Саратове учащиеся художественного техникума: они просят поэта и художника посетить 30 января 1927 года выставку картин саратовских художников, открывшуюся в помещении Радищевского музея.

Записки — живые голоса людей, жаждавших увидеть и услышать Маяковского, — говорят, что намечаемых поэтом вечеров не хватало, но не хватало и сил, чтобы удовлетворить все растущий интерес к его выступлениям.

В Пензе (24 января 1927 г.) Маяковскому посылают записку с вопросом, намерен ли он «еще посетить Пензу?» В Таганроге (25 ноября 1927 г.) спрашивают: «Когда вы уезжаете? Не сможете ли Вы еще выступить здесь один раз хотя бы на обратном пути. Ведь сейчас не полон театр только потому, что действительно не знали, что вы приедете. Ведь, слушая вас, получаешь не просто наслаждение, а чувствуешь себя счастливым».

Расставание с поэтом всегда вызывало сожаление, что встречи так коротки. В Тбилисском университете

(10 декабря 1927 г.) ему послали записку: «Когда вы уезжаете? Неужели завтра ваше последнее выступление?»

Несколько таких записок приводит Маяковский в своем очерке «Рождение столицы»: «Товарищ Маяковский, ждем тебя в доках!» — «Товарищ Маяковский, красноармейцы и комсостав такой-то и такой-то дивизии ждут тебя в Доме Красной Армии!» — «Студенты не могут думать, что ты уедешь, не побывав у них» — «Как выучиться стать поэтом?».

Первым впечатлением Маяковского от поездок в 1927 году по городам Союза было: «Аудитория круто изменилась». Поэт заметил рост интересов трудящейся массы к литературе и писал: «Мне, по моей разъездной специальности чтеца стихов и лектора литературы, наглядней и видней этот рост» (9—429).

Пресса неизменно подчеркивала тесный контакт поэта с аудиторией. Киевская газета «Пролетарская правда» писала 3 февраля 1926 года, что «Маяковский прекрасно чувствует свою связь с аудиторией. Он простой, и относятся к нему запросто». Еще конкретнее выразила эту мысль ленинградская «Красная газета» (веч. вып.). 18 мая 1926 года в отчете о состоявшемся накануне выступлении поэта она писала: «Вчерашний триумфатор В. Маяковский знает свою аудиторию». И до чего же совпадают эти строки со словами самого Маяковского: «Я знаю, о чем думает читающая масса».

### 5

Поездки Маяковского с лекциями, докладами и стихами по стране были по своим масштабам новым, непривычным для публики и еще ею не осознанным полностью и не вошедшим в быт явлением. А тут еще ответы на вопросы — большой разговор, заранее намеченный и предложенный слушателям самим поэтом. Да притом вечер по билетам, за плату.

Выступления Маяковского существенно отличались от единичных литературных вечеров других поэтов. Они будоражили мысль, заставляли вдумываться, определять свое отношение к самым различным вопросам жизни и литературы. Нейтральным, равнодушным оставаться нельзя было. В мнении об этом удивительно сходилась печать:

«Необычный во всех отношениях вечер. Лекции в

обычном смысле этого слова не было» («Вечернее радио», Харьков, 26 января 1926 г.).

«Это не была лекция, по крайней мере в том смысле, в каком привыкли мы понимать это слово. Скорей беседа поэта с публикой — беседа, пересыпаемая блестками неподражаемого (без кавычек) Маяковского остроумия» («Молот», Ростов, 9 февраля 1926 г.).

«Выступления Вл. Маяковского носят несколько необычный характер. На эстраде не только поэт, а публицист и агитатор» («Звезда», Пермь, 2 февраля 1928 г.). Это абсолютно точное определение «необычности» выступлений Маяковского совпадало с утверждением самого поэта: «Наше оружие — пример, агитация, пропаганда» (12—47).

Газеты в разные дни и годы объективно отмечали то, о чем думали и высказывались слушатели Маяковского. В Ялте 2 сентября 1927 года поэту послали записку с вопросами: «Почему вы гастролируете по городам, как артист? Почему другие поэты только пишут, и — все?» Мы не знаем, что ответил в данном случае поэт, но эти вопросы задавались и в других местах. Ответ Маяковского на них поместила 18 марта 1928 года киевская газета «Пролетарская правда»: «Мне говорят, зачем вы разъезжаете и читаете свои стихи? Это ж дело эстрады, а не ваше, не поэта это дело!.. Ер-р-рунда! Именно мое! Только мое!»

Одной из первых задач Маяковского, таким образом, было разрушить старое, буржуазное представление о призвании поэта, доказать, что в новой действительности «маленькие задачки чистого стиходелания отступают перед широкими целями помощи словом строительству коммунизма» (12—63).

Предельно уплотняя время, с неутолимой жаждой общения с массами ездил поэт по городам своей страны, ездил и по зарубежным странам, выступая, показывая, доказывая, оспаривая, утверждая. Он имел полное право и основание заключить: «Не знаю, была ли когда-нибудь у какого-либо поэта такая связь с читательской массой?» (12—137). Поэт избрал путь массовой работы, а такой путь, по его собственному определению, влек за собой изменение всех методов поэтической работы. Для утверждения в сознании слушателей революционной поэзии ему приходилось приучать их к новому типу литературных авторских выступлений.

В отдельных случаях он сталкивался не только с непониманием новых форм работы, но и с определенным нежеланием рассматривать поэзию, литературу как часть общепролетарского дела, и тогда ему приходилось своим творчеством, всем жаром своей души доказывать, что место поэта на самом переднем крае борьбы за социализм. Он и сам отмечал, что «приходится каждую минуту доказывать, что деятельность поэта и работа поэта — необходимая работа в нашем Советском Союзе» (12—429).

Выступления Маяковского везде и всегда привлекали к себе повышенное внимание. Газета «Луганская правда» (29 июля 1927 г.) заключает свой отчет о вечере Маяковского: «Вечер надо признать интересным. Он пробудил интерес к вопросам литературы, вызвал оживленные споры». Целенаправленный боевой характер его выступлений с еще большей силой проявлялся за рубежом, где поэт чувствовал себя посланцем своей страны, как бы литературным полпредом ее.

Новое было не только в содержании выступлений, но и в самой их форме, — иначе и не могло быть.

Когда на вечере в Воронеже группа студентов попросила Маяковского «продекламировать» одно популярное стихотворение, поэт ответил, что он не декламирует, а читает. И каждый раз, сталкиваясь с этим словом, он вносил ту же поправку. Не случайно, что даже зарубежная пресса заметила эту особенность выступлений Маяковского. Пражская газета писала: «Это не было обычной декламацией, как ее понимают в Европе, — это был взрыв энергии, чувств, силы и прямо-таки самой души человеческой».

В Тбилиси Маяковского попросили прочесть еще раз заключительную часть поэмы «Хорошо!», он ответил, что в принципе не бисирует. Но он все же оценил порыв слушателя и «специально для него» прочел одну из любимейших своих вещей.

Однажды Маяковского пригласили выступить на вечере в Институте журналистики. Когда он приехал, его попросили подождать вместе с артистами начала концертного отделения. Маяковский возмутился и заявил, что будет читать свои стихи только в официальной части вечера, сейчас же после доклада. «Он, — рассказывает об этом в своих воспоминаниях Н. Брюханенко, — растолковывал, что он не концертный чтец-деклама-

тор, и наотрез отказался выступать вместе с князем Игорем и Кармен».

Здесь вовсе не уязвленное самолюбие, а то новое понимание задач поэта, которое должно было убедить устроителей вечера, что стихи его могут стать как бы продолжением конкретного разговора общественного характера, а не отвлеченным художественным номером концертной программы.

Так во всем и всегда он проводил разграничительную линию, отделяя новое от устаревших канонизированных понятий, точно определяя, для чего и во имя чего выступает.

Подводя итог двадцати годам своей литературной работы, Маяковский говорил: «...Старый чтец, старый слушатель, который был в салонах (преимущественно барышни слушали да молодые люди), этот чтец раз навсегда умер, и только рабочая аудитория, только пролетарско-крестьянские массы, те, что сейчас строят новую жизнь нашу, те, кто строит социализм и хочет распространить его на весь мир, только они должны стать действительными чтецами, и поэтом этих людей должен быть я» (12—422).

Чтецы-слушатели, о которых говорил Маяковский, обладали обостренным чувством нового, они всеми помыслами и делами сливались с революцией. Но надо было добиваться, чтобы их становилось все больше и больше.

Л. Никулин, описывая избрание на вечере в Политехническом музее в 1918 году «короля поэтов», обвинил устроителя этого своеобразного голосования в том, что тот будто бы «пустил в обращение больше ярлычков, чем было продано билетов», и дал сторонникам Игоря Северянина возможность одержать с помощью лишних «бюллетеней» победу (Северянин занял первое место, Маяковский — второе). Позволю себе усомниться в этом. Здесь, мне кажется, удивляться победе Игоря Северянина, так же как сомневаться в добропорядочности устроителя вечеров Ф. Долидзе, чьи заслуги в этой области отмечал и Маяковский, не приходится. Успех Игоря Северянина в то время (1918 год) и у той аудитории был естествен, потому что, как сам же Л. Никулин отмечает, «состав публики был особый». По этой самой причине «поражение» Маяковского в оправдании не нуждается.

Владимир Маяковский был поэтом нового читателя, нового слушателя, пришедшего к литературе из глубин народных, пусть поначалу не разбирающегося, что к чему, но всем нутром своим принимающего поэзию революции. На пути этого нового читателя стояли тысячелетние предрассудки, предвзятые мнения, вкусы воинствующего мещанства. Борясь за разрушение этих преград, Маяковский отмечал, что очень трудно вести ту работу, которую он хочет вести, «работу сближения рабочей аудитории с большой поэзией, с поэзией, сделанной по-настоящему, без халтуры и без сознательного принижения ее значения» (12—423).

Что означали последние слова: «Без сознательного принижения»? Некоторые поэты, и вообще работники фронта культуры, предполагая обиходный запас слов своих слушателей в 2—3 тысячи слов, соответственно приноравливали к этому свои выступления. Маяковский смотрел на это иначе. При всех трудностях он никогда не поступался главным, не снижал своих докладов, лекций и, что самое важное, стихов до уровня наименее развитого в культурном отношении слушателя и читателя, а наоборот, старался поднять этого читателя до высот революционной поэзии. Со всей убежденностью он писал:

Понимает
ведущий класс
и искусство
не хуже вас.
Культуру
высокую
в массы двигай!
Такую,
как и прочим.
Нужна
и понятна
хорошая книга —
и вам,
и мне,
и крестьянам,
и рабочим.

В подтверждение этих мыслей Маяковский, которому было чуждо ложное понимание массовости, однажды сослался на колпинских рабочих (их собралось на его вечере около девятисот человек), оказавшихся вооруженными «по последнему слову литературной техники и литературных знаний» и задававших ему такие вопро-

сы, какие он мог предполагать только в наиболее подготовленной аудитории. Это, по его заключению, «показывает страшный рост и расширение сектора возможностей наших литературных произведений».

При своих повышенных требованиях к аудитории Маяковский во сто крат требовательнее был к самому себе. Он заявлял, что после стихов двенадцатого года «старался делать вещи уже так, чтобы они доходили до возможно большего количества слушателей» (12—430). В другом случае, перед чтением и обсуждением пьесы «Баня» на заседании художественно-политического совета театра Мейерхольда, Маяковский сказал: «На своих вещах, на своих ошибках учишься, и я сам сейчас стараюсь отказаться от некоторой голой публицистичности». Он умел, говоря его же словами, не уменьшая серьезности своих вещей, сделать стихотворения нужными массе. Со всей категоричностью он утверждал, что вопрос о массовости для нас ясен, и делал отсюда вывод: «Мы должны быть писателями массы» (12—373). И хотя поэт отмечал, что есть поэзия инженерного порядка, технически вооруженная, и есть поэзия массовая, он нисколько не впадал в противоречие, ибо и в том и в другом случае был убежденным противником упрощенчества, снобистски-буржуазного пренебрежения к народу.

Поездки Маяковского по городам нашей страны, выступления с новыми стихами и литературными лекциями приносили все новые и новые подтверждения его наблюдениям и взглядам. Киевская газета «Пролетарская правда» (3 февраля 1926 г.) привела слова, сказанные Маяковским о Советском Союзе после доклада о поездке в Нью-Йорк и Париж и чтения стихов о загранице: «Между прочим, товарищи, та страна, где добрый час слушают серьезные стихи, достойна уважения». И потом добавил: «Да, хороша наша страна... И я, наверное, неплохой поэт, если сумел заставить вас столько слушать себя».

Когда Маяковский попадал в среду литературной молодежи, а поэт почти в каждом городе, где выступал с лекциями и стихами, встречался с рабкорами и членами литературных объединений, он старался больше слушать чужое, чем читать свое. Одной из главных своих задач во время поездок по Союзу он считал «выслушивание стихов пролетарских литературных организа-

ций» (12—312). После каждого такого выслушивания возникал оживленный разговор о творчестве, о поэзии, и Маяковский мог наблюдать, как формируются литературные вкусы, накапливаются знания, вырабатываются писательские навыки. Это его радовало — в литературной поросли он видел будущих поэтов-чтецов.

Желание быть понятым, воспринятым аудиторией, массой слушателей, своей страной сочеталось у него с умением видеть и воспринимать самому. Он писал: «Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг». Эти строки из очерка о путешествии за границу в еще большей степени относились к поездкам по родной стране.

Многие стихи были созданы Маяковским во время поездок и напечатаны или прочитаны тогда же. На некоторых из них лежит отпечаток тех споров, которые возникали на его докладах и лекциях, в борьбе за утверждение революционных начал, за новое. Имея в виду эту борьбу, поэт, подытоживая свою двадцатилетнюю деятельность, говорил: «...Каждую минуту приходилось отстаивать те или иные революционные литературные позиции, бороться за них и бороться с той косностью, которая встречается в нашей тринадцатилетней республике» (12—423).

Критикуя недостатки, Маяковский неизменно стоял на позиции советских патриотов, борцов, переделывающих мир. Именно это давало ему основание говорить: «Мы должны уметь соразмерять право на нашу критику с энтузиазмом и пафосом, который мы вкладываем в дело социалистического строительства. И если нет, то права на критику вы не получите» (12—386).

Вовлекая аудиторию в большой разговор, добиваясь ее активности, Маяковский умел заинтересовать, зажечь слушателя, держа в напряжении его внимание. Для поэта аудитория была тем жизнедеятельным организмом, в котором скрещивались мнения и суждения, утверждались новые взгляды и где поэтому не терпимы были безразличие и инертность. «Я не люблю, когда выходят с моего чтения стихов, — говорил он, — это бывает редко, но выходят, бывает, — и тогда я беспощаден» (12—310). Обычно он перехватывал остроумным и едким замечанием вставшего и направившегося к выходу слушателя раньше, чем тот успевал дойти до двери. Маяковский любил приводить в пример случай, когда удалив-

шаяся из зала слушательница оказалась матерью грудного ребенка и ушла она только потому, что настало время кормить младенца. Когда же этим удалявшимся оказывался какой-нибудь фрондирующий скептик, поэт действительно становился беспощадным. Одному такому он бросил вслед: «Вот так легко стать из ряда вон выходящим». Хохот публики довершил дело. В этих случаях шла борьба не просто за дисциплину в зале, а за уважение к поэзии, за уважение к коллективу и к самому автору, занятому в этот момент творческой работой, ибо чтение тоже было творчеством.

Стремление дойти до возможно более широких масс слушателей различных уровней развития и интересов вызвало к жизни такую программную форму общения поэта с аудиторией, как ответы на записки. Поток записок, слетавшихся со всех концов зала к Маяковскому, наглядно убеждал не только в желании, но и в умении поэта настроить своих слушателей на вопросы.

Маяковский вводил в программу почти каждого своего выступления, анонсировал в афишах как самостоятельную часть вечера «Ответы на вопросы», и тот, кто шел послушать поэта, мог заранее обдумать вопросы, хотя в большинстве случаев они рождались по ходу лекции, доклада или чтения стихов, а то и в полемике, возникавшей в аудитории между поэтом и незримо выступавшими слушателями.

Газеты отмечали эту новую, избранную самим лектором-чтецом форму обмена мнениями. Пермская газета «Звезда» (2 февраля 1928 г.) писала: «Несколько грубоватая у Маяковского, но всегда остроумная (своеобразный словесный фельетонизм) манера отвечать на записки является интересной формой общения поэта с публикой».

Когда записок поступало очень много и нельзя было успеть не только ответить на все, но даже просмотреть их здесь же, Маяковский заворачивал записки в газету или размещал по своим карманам, а потом у себя в гостинице приводил их в определенный порядок. Он хранил записки, как живые голоса своих слушателей и читателей, как своеобразные ленты магнитофона с записью мыслей, дум и чувств людей самых различных индивидуальностей и вкусов. Однажды он сказал девушке, передавшей ему поступившие из разных концов зала записки:

— Кладите на рояль, когда он наполнится, я их вместе с роялем возьму.

И вправду, иной раз записками мог наполниться рояль. Маяковский хотел вернуться к собранным запискам и написать книгу — «почти универсальный ответ на все вопросы, предлагаемые читательской массой Союза» (12—137), но не успел этого сделать.

На эстраде и потом при разборке записок поэт обычно выделял наиболее значительные по содержанию вопросы, «мелкие записки откидываются — сколько вам лет?» (12—392). Попадалось много записок однотипных, а порой и совпадающих по содержанию с написанными в разное время и даже в разных городах. Это обстоятельство позволяло поэту заранее обдумывать тот или иной повторяющийся вопрос и быстро отвечать на него, что приводило слушателей в изумление. Однажды Маяковскому бросили с места реплику, мол, ответ этот мы уже слушали в другом городе. Поэт отпарировал реплику: «Я не знал, что вы ездите за мной».

Обычно Маяковский на своих вечерах дорожил временем, чтобы успеть выступить еще в другой аудитории или поспеть в последнюю минуту на поезд и уже на другой день быть в ближайшем городе. Поэтому, просматривая записки, он быстро решал: на какую ответить, какую отложить, что подчас вызывало иронические замечания слушателей, нацеливших на него свои взгляды, но поэт никогда не обходил важные вопросы.

На одном из вечеров ему послали записку: «Просим после читки открыть прения. Много желающих выступить». Собственно говоря, ответы на записки были очень гибкой формой прений. Но иногда поэт выслушивал кого-либо из присутствующих. А однажды, помню, был такой случай, — он не дал слова. 20 октября 1927 года Маяковский читал в зале Политехнического музея свою новую поэму «Хорошо!». Вечер отличала большая приподнятость настроения у публики и у самого поэта. Чувствовалось, все сознавали, что это — событие в литературе, в жизни страны. Когда Маяковский кончил читать поэму, в проходе перед эстрадой вдруг появился человек и, помахивая тонкой книжкой, стал требовать слова. Никто не понимал, что происходит, но Маяковский, предупрежденный друзьями, знал, в чем дело. Накануне, на творческом вечере Василия Каменского в этой же аудитории, в фойе некий Альвэк с рук продавал свою прово-

кационную книжку «Нахлебники Хлебникова» (издание автора), содержащую вздорные обвинения Маяковского и Асеева в присвоении рукописей Хлебникова и в плагиате. И вот этот самый Альвэк появился на вечере Маяковского. Владимир Владимирович заранее подготовился к решительному отпору. Он прежде всего ответил Альвэку: «Вечер мой, и я не даю вам слова!». Потом достал записную книжку и, в двух словах изложив суть дела, зачитал перечень рукописей Хлебникова, в свое время поступивших в редакцию «Лефа», и расписку профессора Г. Винокура, получившего их от редакции для хранения в Московском лингвистическом кружке. Затем Маяковский прочел свои стихи и стихи Хлебникова, приведенные в книжке Альвэка. Смех. Никакого намека на плагиат. Отдельные возгласы, требовавшие дать Альвэку высказаться, сразу прекратились. Маяковский, грозя пальцем Альвэку, как расшалившемуся мальчишке, говорит с возмущением: «Я выдеру вас за уши в ближайший же день вашего существования». Затем ставит на голосование: дать или не давать Альвэку слово. Дружно проголосовали: не давать. После этого Крученых стал вырывать у Альвэка книжонку, а самого подталкивать к выходной двери. «Изгнание» Альвэка завершилось появлением милиционера, кстати сказать, из публики, весь вечер слушавшего поэта, а не наряда милиции, как это сенсационно расписала на следующий день «Вечерняя Москва».

Выступление Альвэка, граничившее с шарлатанством, явно преследовало цель испортить вечер, отвлечь внимание публики, восхищенной новым произведением поэта. И разве мог Маяковский поступить иначе, уступить эстраду, служившую ему ареной борьбы за утверждение социалистического искусства? Мог ли он пустить вечер на самотек и предоставить Альвэку трибуну? Конечно, нет! А для тех, кто хотел высказаться, еще оставался заключительный раздел вечера «Ответы на записки и вопросы».

Действенность этой формы общения поэта с читателями не раз подтверждалась жизнью. Газета «Красное Запорожье» (1 марта 1928 г.) приводит такой пример: «Хотя Маяковский, ссылаясь на нездоровье, и отказался выступить с докладом, однако, по его же собственному выражению, «его втянули в это дело»: поэта засыпали градом записок, ставящих как раз те вопросы, которые

Маяковский должен был затронуть в своем докладе. Завязалось своеобразное «собеседование» (говорил один Маяковский, а с мест только подавали реплики), в процессе которого четко выявился огромный интерес подавляющей части аудитории к революционному искусству вообще и к поэзии Маяковского в частности».

Тысячи записок, полученных Маяковским, в какой-то степени помогают разобраться в обстановке тех лет, в отдельных ситуациях, позициях... Многие его ответы на записки приведены современниками в воспоминаниях, некоторые повторены самим Маяковским в статьях и выступлениях, отложились в его записных книжках или развернуты в стихах, таких, как «Послание пролетарским поэтам», «Сергею Есенину», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Выволакивайте будущее», «Марксизм — оружие...», «Юбилейное», «Славянский вопрос-то решается просто», «Стабилизация быта», «Массам непонятно», «Нашему юношеству». Ответами на записки и выступления завершилось и одно из последних выступлений поэта в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года.

### 6

— Как вас объявить?

— Никак. Сам объявлюсь.

Такой диалог произошел перед выступлением Маяковского по радио.

И на эстраде сам объявлялся, открывал и вел вечер. Выходил, когда все уже в зале и ожидают его. Становился у самой рампы, трибуну — по боку, и мгновенно устанавливался контакт с аудиторией.

Удачно подмечено Вс. Рождественским: «Как хороший актер, Маяковский прислушивался за кулисами к гулу толпы, выжидал точки наивысшего напряжения»[1]. Только не как актер, а как психолог масс, пропагандист.

Сергей Эйзенштейн, рассказав о том, как поражал Маяковский своим самообладанием на эстраде, блистательной находчивостью и беспощадным полемическим мастерством, заключил: «И как не вяжется этот громобойный образ трибуна с закулисным обликом перед самым выступлением на таком градусе нервозности, при котором только последовательный атеизм В. В., каза-

[1] Газ. «Вечерний Ленинград», 9 января 1949 г.

лось, удерживал его от того, чтобы не креститься мелкими крестиками перед выходом на подмостки»[1].

Маяковский представал перед слушателями во весь рост и во всю ширь плеч, слегка расставив ноги, цельный, как слиток.

И голос, и внешность, и движения, и даже привычки — все сливалось в нем воедино. От него ничего нельзя было отделить. Один из слушателей в своей записке, посланной Маяковскому, восклицает: «Как хорошо, что вы такой цельный!».

«Так радостно видеть здорового цельного человека и поэта с большим талантом и большой верой в жизнь»,—писала ленинградская «Красная газета» 18 мая 1926 г. (веч. вып.).

Цельность не исключала, а, наоборот, предопределяла сложность и многогранность поэтической натуры Маяковского.

На Маяковского смотрели во все глаза, не отрывая взгляда, и, естественно, каждый что-то подмечал во внешности поэта, выражая этим свое настроение, взгляды, вкусы, а то просто из озорства начинал осаждать записками: «Почему вы так часто курите?», «Подтягивание брюк, что это, пощечина общественному вкусу?», и дальше в этом роде.

Ему посылают язвительную записку: «Вы одеты довольно «демократично». Не похоже на человека, побывавшего за границей. Обычно оттуда являются как «с картинки». Что это? Оригинальничание или подделка под господствующую мораль». Конечно, то была не подделка, но одевался он по-разному, это подмечали: «Почему вы на прошлой лекции были в рубашке, а сегодня — в изящном костюме и что-то вроде платка в кармане вверху? Идете к смокингу?», «Чем объяснить, что вы так бедно одеты?», «Костюм у вас немного мешковат, брюки в особенности», «Какую долю пользы приносит вам бабочка-галстук?».

И то, что «прощали» Маяковскому, не прощали другому. Маяковский, например, имел обыкновение, не всегда, конечно, снимать пиджак, вешать его на спинку стула и как ни в чем не бывало продолжать читать стихи. У него, казалось, заполнившего собой эстраду, это получалось естественно и просто. Но вздумал однажды

---

[1] «Избранные произведения», т. 5, стр. 436.

ему подражать поэт Иосиф Уткин. Об этом рассказывает записка, посланная Маяковскому 29 ноября 1927 года в Ростове: «У нас был Уткин, он на сцене снял пиджак, его осмеяли. Скажите, все московские поэты на сцене снимают пиджаки?».

Когда Маяковский выступил в Ростове, в Ленинских мастерских, один старый кузнец, глядя на крепкую фигуру поэта, шепнул, улыбаясь, соседу: «Вот бы его ко мне молотобойцем». А тот (Б. Фателевич) ответил: «Он и есть молотобоец... только в другом цехе». Да, он был молотобойцем цеха поэтов, и таким входил в сознание рабочих.

С первого же взгляда слушатель заинтересовывался Маяковским и забрасывал его вопросами анкетного характера, типичными для того времени: «Какое у вас было образование, когда начинали писать, и из какой социальной среды выходец?» (Ростов), «Скажите ваше происхождение» (Воронеж). В результате недопонимания строк из стихотворений «Владикавказ — Тифлис», «Нашему юношеству» возникали вопросы: «К какой нации вы принадлежите?», «Сами вы русский, или украинец, или грузин, не пойму?» (Харьков). «Скажите, какой вы национальности?» (Москва). В записке, поданной в Таганроге, просят: «Сделайте, пожалуйста, информацию маленькую о своей биографии».

Читатели хотели знать о нем все, видеть его, слышать голос. Удачно сказал о его голосе Лев Кассиль: «Голос завоевывает аудиторию». Именно завоевывает, утверждая взгляды, позицию поэта. И сам он говорил: «Все время своего существования я утверждаю свои взгляды силами собственных легких, мощностью, бодростью голоса» (12—438).

«У вас чудесная дикция», — замечает один из слушателей в посланной записке. И как бы в ответ ему звучат строки Маяковского:

Все, что я сделал,
все это ваше —
рифмы,
темы,
дикция,
бас!

Маяковский придавал большое значение интонационной стороне поэтической речи и большинство своих произведений строил на разговорной интонации. Он не

считал интонацию строго-настрого установленной для каждой вещи и часто при чтении менял ее в зависимости от состава аудитории. Он сам привел пример такой замены. Строку «Надо вырвать радость у грядущих дней», звучащую в расчете на квалифицированного читателя «немного безразлично», он иногда усиливал в эстрадном чтении «до крика».

Лозунг:
вырви радость у грядущих дней!

«Маяковский как чтец превосходен», — писала газета «Бакинский рабочий» (21 февраля 1926 г.). Саратовская «Коммуна» (30 января 1927 г.) развила эту оценку: «Стихи свои читает Маяковский мастерски: без тени актерства, с мощной простотой, углубляя и слегка растягивая ударные слова...»

Техника чтения имела у Маяковского связанную с его поэтикой, литературную, а не актерскую основу. Однажды, выступая со стихами, он упрекнул актеров за неумение читать новые стихи. Среди публики находился артист Г. Артоболевский, и в этот вечер состоялось своеобразное состязание. «Солнце» читали он и Маяковский. Основным замечанием автора об исполнении этого стихотворения Артоболевским было: «Все-таки актерское». А вот что писал позже Г. Артоболевский об авторском исполнении «Солнца»: «Читал Маяковский превосходно. При этом он отнюдь не «играл» образов. Он с рельефностью скульптуры передавал смысл произведения в четком каркасе ритма. Бросающейся в слух особенностью было неподражаемое переслаивание повышенного (патетического) тона тоном разговорным, «низким»[1].

Чтение для Маяковского было высоким искусством, и он вкладывал в него много сил. Как подлинный революционер слова и духа, считавший, что словесное мастерство перестроилось, он прокладывал новые пути и испытывал новые «напряжения».

Маяковский предвидел то время, когда будут говорить: «Он поэт п о т о м у, что хорошо читает». Как бы угадывая возражение: «Но ведь это актерство!», он тут же отвечал: «Нет, хорошесть авторской читки не в актерстве. В. И. Качалов читает лучше меня, но он не может прочесть так, как я». В каждом стихе Маяковский видел

[1] Цитир. по книге: В. Катанян. «Маяковский. Лит. хроника».

«сотни тончайших ритмических, размеренных и др. действующих особенностей, — никем, кроме самого мастера, и ничем, кроме голоса, не передаваемых» (12—163).

Поэт считал, что в будущем функции критика расширятся, от него потребуется знание кое-чего нового, как, например, законов радиослышимости, законов физиологии, ибо критик должен будет «измерять на эстраде пульс и голос по радио». Ему будут далеко не безразличны физические особенности поэта. А пока что Маяковский сам был для себя тем новым критиком, чья рука должна лежать на пульсе поэта, и он делал еще не виданный эксперимент.

Наша печать писала о Маяковском при его жизни, как о «выдающемся трибуне революции», одном из «лучших революционных поэтов наших дней», чья поэзия уводит от затхлого «уюта» обывателя и «идет по площади, и там пульсирует в такт с маршем революционных масс».

Зарубежная пресса называла его «одним из самых выдающихся поэтов русской революции», «могучим поэтом и исключительно сильной личностью», а газета «Чехословацкая республика» (28 апреля 1927 г.) отметила, что Маяковский «выступает как преисполненный чувства собственного достоинства гражданин Советской России, понимающий, от чьего имени он говорит и к кому обращается». Американская газета «Уорлд» (9 августа 1925 г.) информировала своих читателей, что «в современной России относятся к этому молодому великану с огромным уважением». И это вполне соответствовало действительности.

Владимир Маяковский видел и чувствовал это уважение, он был по-настоящему признан. Конечно, были у поэта горькие и даже трагические минуты, потому что была борьба, и борьба порою очень острая, но сам поэт знал цену как отдельным демагогическим выпадам или хулиганским запискам, так и твердому и устойчивому признанию читателей.

Когда на первой Всесоюзной конференции пролетарских писателей один из ораторов назвал Маяковского гостем, поэт ответил, что не считает себя гостем: «Я делегат, хотя и с совещательным голосом, но это лучше, чем быть соглядатаем того крепкого разговора, который был сегодня» (12—267). Люди безнадежно близорукие

делали из Маяковского то «попутчика», то гостя, зато миллионы советских читателей служили опорой ему. По весьма удачному определению, данному Маяковскому Мариной Цветаевой, он был «первым в мире поэтом масс», «первым русским поэтом-оратором». Он и сейчас остается поэтом огромного диапазона, международного масштаба. Общий тираж книг Маяковского уже при его жизни достиг полутора миллионов, а за 1931—1972 годы превысил 73 миллиона экземпляров. За рубежом его произведения в 1945—1972 годах издавались 384 раза на 30 языках. Природа была бесконечно щедра, дав Маяковского всему миру, человечеству.

## 7

Предельно насытить стихами аудиторию стремился Маяковский на каждом своем вечере, и все же к нему стекались записки с просьбами прочесть то или иное произведение. Уже одно это показывало, что слушатели хорошо разбираются в его стихах и любят их. Этим начисто опровергалось нудное брюзжание скептиков: «Вас не читают, вас не понимают».

Наиболее популярным его стихотворением был, пожалуй, «Левый марш».

Поэту пишут:

«Группа слушателей просит вас продекламировать свой знаменитый «Левый марш» (Воронеж); «Будьте любезны, прочтите ваш исключительный по силе «Левый марш» (Тбилиси); «Прочитайте «Левый марш» — это лучшее ваше и наше стихотворение» (Одесса).

В Тбилиси в феврале 1926 года грузинский поэт Паоло Яшвили прочел на вечере Маяковского с большим подъемом и выразительностью «Левый марш» в своем переводе. Маяковский, отойдя в глубь сцены, слушал внимательно, с довольной улыбкой. После чтения поэты обменялись крепким рукопожатием. Оба — высокие, широкоплечие, со схожими чертами лица, они перекликались и всем внутренним миром своим.

По просьбе публики Маяковский прочел тогда «Левый марш», имевший огромный успех. Это отметила печать: «Знаменитый «Левый марш», прочитанный с редким подъемом самим Маяковским, создал в чуткой аудитории буквально настроение восторга».

Маяковский рассказывает в стихотворении «Казань»,

как к нему в Казани пришли молодые поэты. Входит татарин: «Я на татарском вам прочитаю «Левый марш». Входит другой: «Я — мариец. Твой «Левый» дай тебе прочту по-марийски». Третий:

«Марш
ваш —
наш марш.
Я —
чуваш,
послушай,
уважь.
Марш
вашинский
так по-чувашски...»

Выступая в аудитории Тбилисского университета, Маяковский прочел рефрен «Левого марша» — «Левой! Левой! Левой!» по-грузински. Студенты встретили стихотворение овацией. В Берлине, когда поэт читал перед рабочей аудиторией «Левый марш», все в едином порыве встали.

«Левый марш» стал своеобразным литературным манифестом эпохи. Поэтому так настойчиво требовали его на каждом вечере Маяковского: «Пожалуйста, прочтите...», «Просьба пополнить вечер «Левым маршем», «Если не трудно, прочтите...», «Ваш «Левый марш» произвел на меня впечатление разорвавшейся бомбы». В одной из записок просьба эта — «от имени десяти человек».

Полюбилось читателям стихотворение «Необычайное приключение...», более известное под названием «Солнце». В записках каждый называл его, как запомнилось: «У вас есть хороший стих о том, как солнце к Вам в гости пришло, декламируйте его», «Прочтите «В сто сорок солнц закат пылал», «Прошу прочесть «Сто сорок солнц», «Прочтите «Сто сорок солнц сияло на закате».

Многие записки и отклики показывают зрелость слушателей, идейную направленность их интересов. 21 октября 1924 года Маяковский читал поэму «Владимир Ильич Ленин» активу Московской партийной организации. Газета «Рабочая Москва» в отчете об этом выступлении писала: «Ряд товарищей говорил, что это сильнейшее из того, что было написано о Ленине. Огромное большинство выступавших сошлось на одном, что поэма вполне наша, что своей поэмой Маяковский сделал большое пролетарское дело».

Поэтому просят в разных аудиториях: «Прочитайте отрывки из поэмы «Ленин» (Тбилиси), «Завтра день смерти Ленина, хотелось бы слышать ваше стихотворение» (Казань), «Прочитайте «Прозаседавшиеся», понравившееся Ленину» (Москва). Выбор часто останавливается на стихотворении «Прозаседавшиеся», потому что оно действенно в борьбе с бюрократизмом, заседательской суетней.

Один из слушателей хочет, чтобы обличающее мещан стихотворение «О дряни» прозвучало в зале: «Некоторым здесь занудам это необходимо важно», — заключает он свою просьбу.

Большим событием в литературе, в духовной жизни советского общества явилась поэма «Хорошо!». Ее хотелось слушать и читать еще и еще раз, запомнить особенно понравившиеся главы, куски. «Прочтите еще раз заключительную часть «Хорошо!» — пишут Маяковскому в Тбилиси. В Новочеркасске прислали записку: «Ваша поэма Октябрю «Хорошо!» — хороша. Спасибо! Ждем от вас второго «Хорошо!». Вузовец». В Казани отношение к поэме высказано почти теми же словами: «Хорошо!» — хорошо! Доставили удовольствие. Спасибо!»

Так, в разных городах, в разное время с одинаковым единодушием и даже с одинаковыми мыслями и словами откликаются читатели. И как будто вся читательская масса страны скандирует эти три слова:

Ваше «Хорошо!» — хорошо!

В Харькове 21 ноября 1927 года поэт получает записку за подписью «Комсомолец»: «Ваша поэма гениальна, беру на себя смелость от имени нашей молодежи поздравить вас с величайшим произведением». В Свердловске один из слушателей высказал свои чувства предельно скупо, но достаточно выразительно: «Товарищу Маяковскому — привет! Хорошо! Студент». В Одессе (23 марта 1928 г.) писали о поэме: «...И бодростью дышит и бодрость вселяет. И хорошо, очень хорошо, что в наше время есть Маяковский». Эта мысль как будто эхом разносится по городам: «Вы самый счастливый человек в мире. Обладать таким умом и таким талантом, как вы, большего ни один смертный не пожелает» (Минск, 29 марта 1927 г.), «...Вы самый замечательный поэт сейчас в СССР» (Ростов, 28 ноября 1927 г.), «Маяковский останется всегда своеобразным поэтом и че-

ловеком, — сказал мне один преподаватель литературы. Сегодня это подтвердилось» (Тула, 8 февраля 1927 г.).

Иногда интересы и вкусы, скорее запросы читателей, выраженные в записках, расходились. Одни пишут: «Прочтите «Письмо к Горькому» и «Сергею Есенину». Это значительно интересней, чем давно известное «Облако в штанах» (Ростов). Другие просят прочесть наряду с новыми стихами именно «Облако»: «Прочтите первую часть...» (Таганрог), «Прочтите пролог...» (Казань), «Будьте добры, прочтите что-либо из «Облака» (Воронеж), «Глубочайшая к вам просьба прочесть «Облако в штанах»! Я знаю, что это доставит многим удовольствие. Это я слышал, стоя в очереди за билетом. Леня Рывкин» (Ростов, 24 ноября 1926 г.).

Многие слушатели проявляли определенное знание ранних произведений Маяковского и интерес к ним: «Прочтите хоть кусочек из «Флейты-позвоночника» (Пермь), «Прочтите «Скрипка и немножко нервно» (Киев), «Можно ли прочесть из «Флейты-позвоночника»? Я жду. Надеюсь услышать», «Прочтите что-нибудь из «Войны и мира» (Воронеж).

Выбор останавливается не только на наиболее знакомых читателям стихотворениях. В Нижнем Новгороде просят прочесть, например, «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума».

Особенно требовали прочесть стихотворение «Сергею Есенину», которое сам Маяковский считал «наиболее действенным» из своих стихов, написанных в то время. Вокруг этого стихотворения развернулись споры и, как отметил автор, «чтения его требует сама аудитория».

Это темпераментно и возбужденно выражено в записках: «Настаиваем и вместе с тем убедительно просим прочесть свое стихотворение на смерть Есенина. Если думаете, что это не общее мнение, — голосуйте» (Тула), «Прочтите «Есенину» — это вещь нужная!» (Баку), «Прочтите, как он ушел «как говорится, в мир иной» (Тбилиси), «Прочтите ответ ваш на слова Есенина «В этой жизни...» (Ростов).

Слишком еще свежа была рана, не утихла боль утраты. Среди некоторой части молодежи распространились настроения, получившие тогда определение «есенинщина». Большинство стихов, посвященных памяти Есенина, носило слезливо-расслабленный характер. И только го-

лос Маяковского прозвучал строго, ясно, отражая твердо занятую поэтом позицию.

В Тбилиси в феврале 1926 года в одной из записок поэта спросили: «Какого вы мнения о покойном Есенине?». После смерти Есенина прошло всего лишь два месяца, и, видимо, поэтому Маяковский решил ограничить свой ответ осуждением самого факта самоубийства. Он, помнится мне, ответил, как бы пародируя вопрос: «Вообще к покойникам отношусь с предубеждением». Но уже тогда Маяковский вынашивал в мыслях стихотворный ответ.

25 марта 1926 года издательство «Заккнига» заключает с Маяковским в Москве договор на издание стихотворения «Есенин». В пункте четвертом договора, подписанного со стороны издательства В. А. Катаняном, было оговорено: «В. Маяковский вправе напечатать стихотворение «Есенин» в апрельской книжке какого-либо ежемесячного журнала. Помещение стихотворения «Есенин» в других журналах или газетах до напечатания может быть только с разрешения «Заккниги».

В связи с этим произошел характерный казус. Книжка набиралась и печаталась в типографии газеты «Заря Востока». Сотрудники редакции газеты знали об этом, и, конечно, велик был соблазн скорее откликнуться на запросы читателей, опубликовать злободневное стихотворение в очередном номере до выхода его отдельной книжкой. И вот стихотворение «Сергею Есенину» без ведома издательства и автора впервые появилось 16 апреля 1926 года в «Заре Востока». По поводу этого Маяковский писал: «...его переписывали до печати, его тайком вытащили из набора и напечатали в провинциальной газете». В конце месяца вышла книжка, и «конфликт» был исчерпан. Об этом эпизоде директор издательства Б. И. Корнеев значительно позже, уже будучи одним из ведущих творческих сотрудников редакции газеты «Заря Востока», рассказывал в шутливом тоне, припоминая веселые подробности, и то, как он писал «протест» от имени издательства.

К факту «досрочного» опубликования стихотворения «Сергею Есенину» Маяковский отнесся с юмором, считая, что нарушение договорного условия (не по вине автора) в конечном итоге пошло на пользу читателям.

Быстро завоевывали внимание читателей стихи Маяковского об Америке. Они захватывали глубокой со-

циальной правдивостью, большой силой художественных обобщений, всем своим эмоциональным строем. Поэта повсюду осаждали записками: «Прочтите стихотворение о Чикаго», «Прочтите стихи «Маркита, Маркита моя», «Просьба продекламировать что-нибудь из американских стихов: «Небоскреб в разрезе» или «Барышня и Вульворт».

На вечере своем в Тбилиси в 1926 году Маяковский, прочитав стихотворение «Мексика», поделился впечатлениями об этой стране и между прочим заметил, что у каждого там кольт на поясе с решающим голосом и каждый год сменяют президента. Помню, с большой теплотой говорил он о мексиканском коммунисте Морено. В стихах об Америке поэт дал почувствовать и бескрайнюю ширь Атлантического океана, и новые масштабы измерения явлений и предметов, с которыми сталкивался вдали от родины. Доклад и стихи по-настоящему взволновали слушателей, благодарных поэту.

А некий незадачливый критик, предпочитавший остаться неузнанным под псевдонимом «Н. Род», писал на другой день в газете: «Новые стихи о Гаване, об Атлантическом океане и др. написаны в обычной для Маяковского манере, но написать их можно было и в Москве».

Заметка возмутила Владимира Владимировича, и он на втором своем вечере, 27 февраля, ответил рецензенту, оговорив, что рецензия ничуть его не ущемила,— «не так-то это легко!». «Но зачем было, — продолжал поэт, — вводить в заблуждение безграмотной заметкой рабочих и красноармейцев, приглашающих меня в свои аудитории читать стихи об Америке, и что за такая «обычная манера Маяковского»? Так пусть сам рецензент попробует, сидя в Тифлисе, писать об Америке. Я обещал сегодня редактору так отделать публично этого критика, чтоб у него сквозь полосатые штаны зад просвечивал».

В связи с этим выступлением Маяковского в городской газете «Рабочая правда» писали: «В ряде колких замечаний, коснувшись выступлений части местной прессы по поводу его первого вечера, поэт блеснул перед Тифлисом своим искрометным талантом». И еще, оценивая новые стихи Маяковского: «Блестящие стихи о сегодняшней Америке, великолепные характеристики вкусов загнивающего Запада, изложенные в ярких, за-

печатлевающихся образах, Маяковский закончил декламированием своих прежних стихотворений».

В противоположность отдельным запискам, скептически отвергавшим политические пропагандистские мотивы в поэзии, на вечерах Маяковского раздавались десятки и сотни свежих бодрых голосов: «Группа активистов Авиахима просит вас прочесть из «Летающего пролетария» или «Даешь мотор!» (Казань), «Удружи, прочти «Радио-агитатор» (Воронеж), «Продекламируйте ваше стихотворение «1-е Мая». Публика будет довольна — оно очень хорошо!» (Киев).

В этой «агитпоэзии», от которой отворачивались апологеты «чистой лирики», была большая правда своего времени, неудержимая устремленность в будущее. Страстным призывом к техническому прогрессу звучало, например, «Даешь мотор!». Предугадывая огромный взлет родной страны, науки и техники, поэт видел и то, как «наш флаг меж звезд полощется».

Прозорливо называя крылатых дней далекую дату, Маяковский с гордостью говорил: «Я — грядущих дней агитатор — к ним хоть на шаг подвожу сегодня».

Подвести хоть на шаг день сегодняшний ко дням грядущим — в этом, пожалуй, сущность поэзии Маяковского, ее сложность, а отсюда и казавшаяся иным ее якобы непостижимость.

Отдавая весь жар своей души самым будничным и злободневным темам и вопросам, он в то же время весь был как бы в будущем. Славя отечество, которое есть, он трижды славит то, которое будет.

Он часто обращается к Человеку будущего, мысленно переносится в грядущее столетие, разговаривает с потомками,—это глубокие раздумья, неистребимая вера в неограниченные возможности нового человека, прозорливое видение «коммунистического далекò».

Маяковский не нуждается в преувеличенных оценках. Он утвердился в сознании миллионов. В его поэзии нам открываются и будут еще открываться все новые и новые грани, потому что он с особой силой творческого прозрения умел осмысливать будущее.

Хочется привести здесь одно высказывание Марины Цветаевой. Нельзя согласиться с ее общей концепцией о Маяковском, приходится сожалеть, что поэтесса, на долгие годы оторвавшаяся от родины, многого не смогла понять и осмыслить в нашей жизни, но никак не прой-

ти мимо ее отдельных глубоких высказываний о великом поэте революции, в частности о том, что Маяковский «первый новый человек нового мира, первый грядущий»...

Маяковский помогает по-новому видеть вещи, продумывать позицию, самому принимать решение, действовать. Он шагнул на много лет вперед, и мы повседневно встречаемся с ним и будем всегда встречаться.

Киевская газета «Пролетарская правда» (18 марта 1928 г.) привела слова Маяковского, читавшего поэму, посвященную десятилетию Октября: «Издание моей поэмы «Хорошо!» как будто приноровлено к нашему десятилетию. Но я совсем не желаю, чтобы она украшала собой только это десятилетие. Она нужна будет и будет иметь значение и через 20, и через 40 лет. Да, я так думаю. Я в этом уверен...»

Поэт не ошибся в своей убежденности, что его поэзия нужна будет социалистическому обществу и через двадцать, и через сорок лет. Уже прошли эти сорок лет, о поэме «Хорошо!» написаны статьи и книги, а главное, она сама живет и будет жить, будет всегда нужна.

Масштабность поэзии Маяковского не была равна ее постижению современным читателем. Может быть, полному постижению мешали в какой-то степени литературные споры, рапповские наскоки, нарушавшие объективность суждений. Недопонимание в разной степени проявлялось не только среди читателей, но и среди критиков. Самый факт недопонимания признавался впоследствии такими крупными деятелями культуры, как А. В. Луначарский и Александр Фадеев.

А. Фадеев, которому, как и многим другим современникам, посчастливилось слышать поэму «Хорошо!» из уст автора, спустя двадцать лет после того, в 1947 году, и еще раз в 1956 году со всей прямотой заявил: «Надо сознаться, что даже мы, выходцы из демократических низов, в известной мере тоже зачинатели советской литературы, не сразу поняли все величие и значение этой поэмы. Мы подошли к ней с узко литературной точки зрения. Нам не понравилась ее декларативность. В этой поэме, перед десятой годовщиной Октября, когда страна жила еще тяжело, когда стране во многом было еще очень трудно, Маяковский говорил о ней как о стране, вполне утвердившей новый строй жизни. Он говорил о своей кровной связи с советской родиной.

Теперь, спустя тридцать лет, эта поэма звучит во весь голос, и многое из того, что было в ней только предвосхищено, осуществилось. Поэма «Хорошо!» была поистине пророческой»[1].

В статье о Вахтангове (1933 г.) А. В. Луначарский, который, более чем кто-либо другой из критиков, благосклонно, но требовательно относился к Маяковскому, любя и уважая его, писал: «Мы проходили мимо гениев, мимо талантливейших людей нашей эпохи. Правда, они славятся, мы называем их имена, но их рост нам все-таки не совсем ясен. В этом повинны мы все, я не считаю себя исключением. При жизни Маяковского мне в голову не приходило, что я потом пойму его рост (а еще понял ли я его во всем масштабе?) так огромно значительнее, чем при его жизни?»

Ни Фадеев, ни Луначарский не имели в виду только себя. Да и сейчас, спустя несколько десятилетий, многие могли бы сделать то же признание.

Кого из великих художников и мыслителей прошлого не волновала надежда: «нет, весь я не умру!» Но мечта, надежда Маяковского — это мечта современного поэта, непосредственного участника строительства новой жизни, ее глашатая и бойца. Именно это помогает нам приблизиться к пониманию масштабности всего написанного им.

**8**

Перекладывая, перебирая сотни и тысячи записок — разных по формату и цвету клочков бумаги, — поражаешься обилию и многообразию вопросов, заданных Маяковскому на его вечерах и докладах. Некоторые из них: «Интересно знать, какой у вас взгляд на литературу?», «Кого вы рекомендуете читать из современных поэтов?», «В чем, по-вашему, задачи поэзии?», «Не находите ли вы, что музыка шагает в ногу с поэзией?», «Ваше мнение о музыке?», «Как вы смотрите на современное кино, отвечает ли оно сегодняшней идеологии?», «Почему вы работаете в кино?», «Ваше мнение о фокстротах?», «Дала ли что-либо новое в искусстве «Синяя блуза?», «Как вы смотрите на архитектуру нынешнего дня?», «Как представитель культуры, сообщите ваше

---

[1] А. Фадеев. «За тридцать лет», 1957, стр. 365.

мнение о цирке?», «Ваш взгляд, как поэта, на современную девушку?», «Достаточно ли только красных платочков и синих блуз, чтобы изменить «изящную жизнь»?», «В какую форму выльется красота и эстетика пролетарской жизни в вашем представлении?», «Что такое прекрасное?», «Какою должна быть жизнь (пролетарская), по-вашему?», «Как встречается русская современная литература в Западной Европе, и вообще, проникает ли она туда?»...

Нескончаем поток записок с самыми различными вопросами. Их можно задать только человеку, в эрудицию и авторитет которого веришь.

Маяковскому часто задавали один и тот же вопрос: является ли он членом Коммунистической партии? Такой вопрос возникал закономерно. Осмысливая поэзию Маяковского, высказывания поэта, его позицию, слушатель естественно приходил к выводу о высокой его партийности.

Если одни просто ставят вопрос: «Маяковский! Ты партийный?», «Вы член партии и ведете ли партийную работу?», то другие обосновывают свой вопрос: «Вы член партии или нет, а если нет, то почему, раз вы поэт революции?», «Держась левейшего, почему не партийный?». Известно, как отвечал на эти вопросы Маяковский. Он объяснял, что хотя и не носит партийного билета, но от партии себя не отделяет и считает обязанным выполнять все решения партии. Он говорил: «Если на сегодняшний день я не связан с партийными рядами, то не теряю надежду, что сольюсь с этими рядами».

Один из слушателей мотивировал свой вопрос — является ли Маяковский членом партии? — желанием «пролить свет на личность поэта», выяснить, «попутчик» он или «шагающий истинной дорогой»? Эта вульгаризаторская постановка вопроса повторялась и в некоторых других записках: «Многие литераторы считают вас «попутчиком». Считаете ли вы себя таковым?», «Маяковский, считаешь ли ты себя пролетарским поэтом или попутчиком, скажи по совести».

Назойливые вопросы о «попутничестве» начинали раздражать Маяковского. Однажды он заявил, что считает себя пролетарским поэтом, а пролетарских поэтов ВАПП'а — себе попутчиками, и что сегодня на этой формуле он настаивает. Что давало ему основание вывести эту «формулу»? Прежде всего — безраздельная предан-

ность делу революции, полная самоотдача. Он вовсе не противопоставлял себя пролетарским поэтам, а, критикуя их, имел в виду тех, кто, нося «звание пролетарские» как эполеты, сами давно слились с богемой. Понятие «пролетарские» определялось для Маяковского исключительно служением высоким идеалам эпохи, умением во всем находить ростки нового. Между тем, все новое приходилось объяснять, терпеливо внедрять, самому служа примером.

Новое подчас встречалось настороженно не из желания воспротивиться ему, а из стремления, прежде всего, — понять и осмыслить!

Платный вечер поэта. Что это такое? Явление, еще не укоренившееся в быту. И потому в записках столько недоуменных вопросов о лекциях, о билетах вообще и о ценах на них. «С какой целью вы ездите по СССР... Если вы ездите с целью показать свое искусство, то зачем за плату?» (Воронеж, 22 ноября 1926 г.), «Был ли в истории литературы случай, когда писатель выступал с трибуны и за плату читал свои произведения? Может, Маяковский составляет в этом отношении исключение?» (Баку, 4 декабря 1927 г.). «Почему ваше выступление среди рабочих платное? Вы так хотите или кто-то? Полагаю, что выступление Маяковского должно быть бесплатным» (Баку, 5 декабря 1927 г.), «Объясните преимущество эстрадного поэта ясней. Я, кроме материальной выгоды для автора, другой причины не вижу» (Тбилиси, 10 декабря 1927 г.).

Конечно, далеко не все слушатели подходили к вопросу так узко потребительски. Многие понимали цели и задачи поэта, огромное значение его выступлений как явления, возможного только в революционную эпоху.

Один из слушателей пишет в записке: «У нас любят пережеванное, а не жевать самим. Ваши стихи требуют подчас вдумчивости, и поскольку они преподнесены в новой форме, то они консервативных людей раздражают, ударяя по-новому на старые клавиши. Надо еще крепче и сильнее ударить по старью. Это очень хорошо, что вы вышли наконец-то на людную улицу, и притом на провинциальную» (Нижний Новгород, 17 января 1927 г.).

Здесь правильно угадан новаторский смысл поездок поэта. Эта улица становилась все шире и многолюдней.

Но улица старой провинции еще не была исхожена поэтами, и само понятие «провинция» еще не было естественным образом, самим бытом опровергнуто. По существу Маяковский впервые открывал улицу старой провинции как аудиторию масс. Открывал нового слушателя.

Вместе с тем он разбивал мещанские представления и это пресловутое «Почему не бесплатно?». Он объяснял, что работает не на какого-то там работодателя. И что расходы по поездкам едва покрываются сборами от выступлений и гонораром за печатаемые и издаваемые стихи.

Из Симферополя в июле 1926 года Маяковский писал Л. Ю. Брик: «Одесские деньги поизносились вконец, и приходится ездить с чтением на заработки. К сожалению, и это почти ничего не дает». В другом письме, несколькими днями позже, пишет, что получил «за чтение перед санаторными больными комнату и стол в Ялте на две недели». Такова была действительность.

В ответах на некоторые записки надо было дать понять слушателям, что он ездит и выступает не из заинтересованности в кассовой выручке, а чтобы иметь возможность ездить и выступать еще и еще.

Трудней всего было объяснить это заскорузлому мещанину, бросающему упреки поэту; репортеру, некритически подхватывающему реплики слушателей о «высоких ценах» на билеты; критику, пускающему в обиход клеветническую «догадку» о «лесенке» стихов Маяковского, якобы дающей большие гонорары, и, наконец, что можно было сказать фининспектору, облагающему поэта непомерным налогом?!

Даже в этих, казалось бы мелких, вопросах тоже открывался фронт борьбы.

Если одни методично спрашивают: «Почему такие дорогие билеты?», «Нельзя ли провести снижение цен на билеты на ваших вечерах?», то другие идут дальше, они хотят знать, на что поэту деньги: «Правда ли, что вы очень много зарабатываете?.. Куда вы деваете такую уйму денег?», «Все ли деньги, собранные сегодня, пойдут в вашу пользу?».

Все же нашелся слушатель, который половинчато признал в своей записке праздность таких вопросов: «Вас в прошлый раз упрекали, в том, что вы за свои стихи и выступления много получаете. Пожалуй, эти упреки

не по существу. Деньги ваше частное дело и дело фининспектора».

Попадались люди, которые ехидствовали в записках: «Гр. Маяковский! Из каких фондов совласти вы получаете за агитацию?», «На какие средства ездят «пролетарские» писатели по Европе и Америке?», «За чей счет вы ездили за границу? Не за счет ли Наркомпроса?», «Откуда у вас такие непролетарские средства, что вы имеете возможность летать на аэроплане и разъезжать по заграницам?».

Маяковский отвечал в таких случаях, что многие его выступления проводятся бесплатно или сбор от них поступает в фонд помощи студентам, что получаемые им от вечеров деньги едва покрывают его расходы по поездкам, особенно за границу. На одном из вечеров поэт успокоил тех, кого волновало, не много ли он получает, — разъяснил, что получает меньше, чем ему следовало бы, потому что расходы по переездам все съедают.

В Москве Маяковский, бывало, выступал бесплатно потому, что не нес дорожных расходов. Не получал он вознаграждение за выступления на заводах и фабриках, в воинских частях, в вузах. В декабре 1925 года он заключил соглашение с Комиссией по изысканию средств помощи студентам 1 МГУ об организации своих выступлений в Ленинграде, Харькове, Ростове, Баку и Тбилиси. Маяковский отказался от авторского гонорара по двум спектаклям «Бани», сбор с которых предназначался первому пионерскому дому Красной Армии. Пятьдесят процентов сбора от выступлений его в США пошли в пользу коммунистических газет в Америке («Новый мир» — на русском языке и «Фрейгайт» — на еврейском языке).

Маяковский был отзывчив ко всем, кто просил о пропуске на вечер, и выписывал пропуска или имел на этот случай при себе несколько десятков билетов. В Самаре однажды, во время его выступления, ему послали записку: «Разрешите пройти на вашу лекцию группе учащихся-комсомольцев, не имеющих на это средств, но очень желающих послушать вашу лекцию. Нас всего пять человек». Поэт особенно ценил таких слушателей — простых и искренних, глубоко заинтересованных в том деле, которое он делал.

На записки о «высоких» ценах на билеты, о заработ-

ках Маяковский ответил в статьях «Как писать стихи», «В мастерской стиха» и в стихотворении «Разговор с фининспектором о поэзии», а также в заявлении Мосфинотделу, которое читатель найдет в 13-м томе полного собрания сочинений. В этом заявлении он указывает, что фининспектором не приняты в соображение расходы по поездкам: «Все годы я езжу, и эта езда является источником моей работы». Он называет книги, журнальные статьи и стихи — как «исключительно результат путешествий». Но самый главный его аргумент: «Я не пользуюсь ни единой бесплатной услугой государства и не трачу ни одной казенной копейки» (13—94).

Предлагая Госиздату выпустить поэму о В. И. Ленине, сатирические стихи и антирелигиозную книжку об обрядах для крестьянской библиотеки массовыми изданиями, Маяковский подчеркивал, что его «основной читатель — вузовец, рабфаковец, не могущий тратить денег на дорогую книгу» (13—84). Это не было фразой. Маяковский претворял слова в дело, умел отстаивать то, что предлагал.

Прислушиваясь к замечаниям, что поэма «Хорошо!» недоступна по цене, что книга дорога, что «два рубля — большая цена», Маяковский ставит перед Госиздатом вопрос об удешевлении книги и соглашается на предложенный ему минимальный гонорар в двадцать копеек за строку, тогда как в журнале «Новый мир» платили за строку два рубля.

Только непонимание истинных целей Маяковского могло породить и записки с колкими упреками по поводу того, что Маяковский сам иногда проводит на своих вечерах подписку на журнал «Леф» или организует продажу своих книг.

«Стыдно видеть такого большого поэта, как Маяковский, торгующего и рекламирующего свой лефишко, — пишет в записке некий слушатель в Москве. — Советую вам снабдить каждую лотошницу своими журналами, пусть продаются они заодно с произведениями Моссельпрома», «У вас есть патент на торговлю книгами? Что, у вас нет средств, что ли, что занялись торговлей?». Но было много и таких вопросов: «Где можно достать ваши произведения, есть ли они в библиотеках?».

Добиваясь продажи книг на литературных вечерах, подсказывая книжникам методы работы, Маяковский имел одну-единственную цель — опровергнуть досужие

утверждения скептиков о том, что «поэты не идут», «поэтов не читают», «поэтов не покупают». В статье «Подождем обвинять поэтов» Маяковский выступает с обоснованием своей позиции:

«Я принужден был продавать стихи на собственных вечерах только ввиду утверждения Гиза о полном отсутствии на них спроса. Я начал торговать только с Ростова, где прошло всего 2350 слушателей. Дальнейшая продажа показала, что 10—15% слушателей обязательно покупают книгу. До Ростова был Киев, Киев пропустил 5660 слушателей. И это не первый год — лет пять подряд». Дальше Маяковский выступает страстным обвинителем: «Хоть один раз за эти годы с а м Госиздат догадался продавать на вечерах книги? Конечно, нет. Это мелкое дело. Но ведь не испробовав этого мелкого, и меня обвиняют в нерасхождении, снижая до 2000 тиража. Врете! В год я пропускаю 60 000 слушателей своих вечеров в разных городах Союза. 10% слушателей (минимум) покупают книги. Если бы Госиздат продавал мои книги только на моих вечерах, и то бы он продал 6000 — средний мой годовой тираж по Гизу».

Кроме таких сложных, не всегда доступных методов продвижения книг, как устройство лекций, личные автографы, поэт предлагал и другие способы, подчеркивая, что их «сколько угодно: вечера книги, библиографические фельетоны, организация специальных писательских вечеров и т. д. и т. д.».

Таким образом, Маяковский брал на себя огромный труд — подавать личный пример писателям и критикам, редакторам и издателям, ломать косность и инертность, убеждать людей в том, что революция дала печатному и устному слову небывалую до того массовую аудиторию и что этим надо воспользоваться полностью.

Навсегда запомнился мне день 26 февраля 1926 года, когда Владимир Маяковский, приехавший накануне в Тбилиси, зашел в издательство «Закkнига» (дирекция издательства и книжный магазин находились в смежных помещениях).

В кабинете директора Корнеева и его заместителя Катаняна нас собралось несколько человек. Маяковский, удобно расположившись, стал рассказывать о своей поездке в Америку. Между прочим сказал, что перед отъездом за границу он заключил с Госиздатом договор на собрание сочинений, а вернувшись из Америки, за-

стал в Госиздате нового руководителя, который ничего не знал о договоре. Узнав — удивился и воспротивился, утверждая, что много еще не распроданных книг Маяковского и что «поэты не идут, поэтов не читают».

Владимир Владимирович говорил об этом гневно, но с нотками юмора, и постукивал по столу палкой, с которой не расставался. И в других случаях проявлялась та же его черта: он «укрощал» свой гнев, придавая речи как бы смягчающий сатирический оттенок. Поэтому даже самая резкая его отповедь кому-либо в аудитории не подавляла, а вызывала дружный смех.

Перейдя из кабинета, отделенного перегородкой, в книжный магазин, мы продолжали беседу. Маяковский расспрашивал, какими книгами интересуется читатель, просил дать ему точные данные о количестве поступивших и распространенных книг ряда писателей. Он называл авторов, я записывал: Бедный, Безыменский, Жаров, Есенин, Маяковский, Пастернак, Асеев, Каменский, Фурманов, Серафимович, Ренье. Из классиков — Толстой и Пушкин.

Владимир Владимирович не обособлял себя, не говорил: «мои книги», а только: «книги Маяковского». Ренье он включил в перечень лишь потому, что тогда выходило собрание сочинений Анри де Ренье в 17 книгах и ими были забиты полки.

Подобного рода сведениями Маяковский интересовался всюду, где останавливался во время поездки по стране. Справки — информации о движении книг нужны были ему для большого разговора с издателями. По этому поводу поэт писал в статье «Подождем обвинять поэтов», опубликованной вскоре: «Приходится самому обследовать и издательские навыки в области распространения книг, и книжную торговлю, и способ добывания цифр».

Многое из высказанного в этой статье мне уже было знакомо, в особенности относящееся к Тбилиси. «Закнига» не смогла выполнить просьбу Владимира Владимировича, поскольку не вела карточного учета движения книг, но все же я передал ему в день его отъезда письмо, в котором поделился своими впечатлениями о читательских интересах.

В упомянутой статье Маяковского есть строки: «Ведь лежали же в Тифлисе мои крестьянские агитки «Вон самогон» в 300 экземплярах. Числятся, как стихи. А грузи-

ны читать ее не хотят, и правильно, потому что уже более тысячи лет пьют одно кахетинское». Между тем вопрос, при шутливом оттенке приведенных строк, заключался в следующем: брошюры «Вон самогон!», «Сказка о дезертире» и книга «Стихи о революции» были получены от издательства «Красная новь» одним частным книжным магазином, который вскоре прекратил свое существование, а его книжный фонд перешел к «Заккниге»; брошюры Маяковского до передачи лежали нераспакованными пачками по 300 экземпляров, но к началу 1926 года от этого количества почти ничего не осталось. Агитационные брошюры Маяковского привлекали внимание читателей и рисунками автора, иллюстрирующими текст, а обложка книжки «Вон самогон!», также принадлежащая Маяковскому, такая броская, глазастая, что к ней невольно протягивались руки...

Не без влияния, мне кажется, статьи Маяковского «Подождем обвинять поэтов» издательство «Заккнига» составило, художественно и технически оформило свой первый каталог изданий русского сектора в 1929 году, обратив особое внимание на пропаганду поэзии. Книжкам Маяковского («Сергею Есенину», «Сифилис», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Что ни страница — то слон, то львица»), изданным «Заккнигой», отведена в каталоге отдельная страница с портретом автора и выдержками из его произведений.

## 9

Под записками, которые посылались Маяковскому, подписи или только инициалы, или еще проще: «Студент», «Комсомолец», «Рабфаковец». Но больше анонимных записок. Есть злопыхатели-анонимы, и доброжелатели — тоже анонимы, так что это еще не признак. Поговорим о тех анонимах, о которых в те годы много писал А. М. Горький и которые желали остаться неузнанными.

Анонимы, посылавшие Горькому свои ядовитые письма, опасались, что почта не доставит их по назначению, хотя, как заверял сам адресат, письма доходили аккуратно, даже открытки, на которых порой четко выделялись и ругательства. Вполне понятно, каким преимуществом обладали такие анонимы, попадая на литератур-

ные лекции и доклады В. Маяковского: неприязненные записки достигали цели тут же на глазах у самих писавших. Иные даже имели возможность позлорадствовать в записках: «Скорбишь ли ты, получая резкие записки?», «Чем вы объясняете то ехидство, которое заметно в вопросах, вам задаваемых?».

Чем же это объяснялось?

Некоторых своих злобствующих корреспондентов А. М. Горький называл «обывателями, которые механически стали гражданами СССР», или проще — «механическими гражданами».

Письма этих граждан, «различные по степени малограмотности и хамоватости», объединялись, по заключению Горького, «скверненькой злостью против Советской власти, коммунистов, рабочего класса» и против самого писателя.

Разве не рукой одного из подобных граждан писалась посланная Маяковскому в Казани записка, в которой аноним, обидевшись за тех, кого Маяковский называл подголосками самодержавия, злобно бросил поэту: «А вы разве не есть подголосок Советской власти?». В другом случае такой выпад несколько завуалирован: «Кто вам больше платит — Леф или Моссельпром?». Маяковский, как вспоминает П. Лавут, быстро и резко ответил: «Вы хотите сказать, что я продался Советской власти? Моссельпром — государственное предприятие, борющееся с частниками. Моссельпром — частица социализма. А за «Нигде, кроме...» я получил три рубля. Это в Америке за такие строчки платят сотни и тысячи долларов. У нас все должны честно получать за свой труд».

Еще вопрос — в форме загадки: «Утверждают, что вы почти не пользуетесь трамваем и очень редко ходите пешком. Как же вы передвигаетесь?». Маяковский расшифровал и эту записку: «Товарищу хочется, очевидно, чтобы я ему открыл тайну моего заграничного автомобиля. Но он задает вопрос ехидно и трусливо. Дорогой товарищ, я даже не затрудняю себя специальным для вас ответом, ибо на случай таких дурацких вопросов и сплетен у меня есть уже стихотворный ответ:

Не избежать мне
сплетни дрянной.
Ну, что ж,
простите, пожалуйста,
что я

из Парижа
привез Рено,
а не духи
и не галстук».

В обстановке острой классовой борьбы тех лет недовольные чем-либо обыватели, всякого рода отщепенцы искали только случая, чтобы оскорбить поэта революции, излить свою желчь. А такие случаи представлялись именно на литературных вечерах, когда поэт выходил на подмостки разговаривать с читателями. На одном из вечеров в Новочеркасске поэту были посланы девять злобных записок, написанных одним почерком. Все эти выпады, которые нельзя обойти, наглядно показывали лицо тех, к кому обращал Маяковский во многих стихах свою жгучую ненависть.

Подчас Маяковский, как об этом вспоминает Н. Серебров, выражал удивление: «За каким чертом они ходят меня слушать? Из двадцати записок — половина ругательных... Был буржуй, а теперь прет мещанин с канарейкой»[1]. Достойный отпор проявлениям мещанства, обывательщины давал Маяковский в ответах на записки, но главным образом в своих стихах.

Известно, с каким огромным успехом проходили выступления Маяковского за границей и как горячо были приняты его стихи об Америке, Париже, Испании советскими читателями и слушателями. Это нашло отражение и в записках. Одни спрашивают поэта, познакомился ли он с американскими и европейскими писателями и каково его впечатление о них (Казань), другие интересуются, как воспринимает рабочая аудитория за рубежом советскую поэзию и стихи Маяковского (Пенза). Но и в этом случае была прослойка, посылавшая издевательские записки: «А верно, что вы в Америку были посланы Моссельпромом для изучения рекламного дела?», «Зачем вы ездили в Америку за сюжетами, когда их у нас неисчерпаемое море?». Нашелся такой слушатель, который высказал подлую подозрительность: «А я вам не верю, что, уехав за кордон, вы не забудете свою родину. Известно, вы все такие, кричащие: «Нет! Нет!» А я уверен, что это ложь».

На такие выпады Маяковский отвечал не с позиции

[1] «В. Маяковский в воспоминаниях современников», 1963, стр. 142.

уязвленного самолюбия, а с позиции политического борца, общественного деятеля, он вел борьбу с ними, как с антиобщественным явлением, как с искусственными преградами, мешающими его общению с читателями. А растущий интерес к поэзии Маяковского никто не мог отрицать. Печать тех лет полна коротких, но выразительных утверждений: «Выступление поэта вызвало шумное одобрение рабочей молодежи» («Молодая гвардия», Одесса, 23 февраля 1924 г.). «Этот вечер показал, что рабочая молодежь любит поэзию и чутко слушает своих поэтов» («Бакинский рабочий», 7 декабря 1927 г.), «Четко выявился огромный интерес подавляющей части аудитории к революционному искусству вообще и к поэзии Маяковского в частности» («Красное Запорожье», 1 марта 1928 г.), «Вокруг имени Маяковского до сих пор еще не остыли горячие споры и литературные пересуды. И думается, что в связи с поездками поэта по Союзу они еще ярче зажгутся в литературно-критической среде и на этот раз вовлекут в свою орбиту широкие слои читательской массы» («Трудовая правда», Пенза, 27 января 1927 г.).

Так оно и получалось. Разгорался горячий спор, в котором большинство аудитории всегда бывало на стороне поэта. Происходило незримое размежевание слушателей, и записки служили как бы его барометром.

Вс. Рождественский, вспоминая о вечере Маяковского в Петрограде, пишет: «Зал разделен был незримой, но резко проведенной чертой. И черта эта определялась «приятием» или «неприятием» нового, социалистического мира»[1]. Здесь верно подмечено, что отношение к поэту в известной мере определяло и отношение к тому миру, глашатаем которого он выступал. Но разделительная черта, надо это сказать, в разные периоды нашего строительства и роста по-разному делила аудиторию. По мере укрепления советского строя и все большего сплочения общественных сил аудитория, слушавшая поэта, становилась единодушной в своем признании его поэзии. И тем более бывало досадно поэту и большинству самой аудитории, когда находились люди, чье невежество, а порой и озлобленность проявлялись в колких, язвительных, больно ранящих записках.

В отчете об одном из вечеров газета «Вечерняя Мо-

---

[1] См. газ. «Вечерний Ленинград», 9 января 1949 г.

сква» (14 февраля 1924 г.) писала, что «публика — больше всего молодежь... пришла послушать и — в случае нужды — горой постоять за своих поэтов». Так обычно и бывало. Маяковский не оставался в одиночестве. На его сторону, вернее на его позиции, становилось большинство и давало отпор скептикам, строчащим колкие записки.

«Горой постоять» — означало выражать свой восторг аплодисментами и возгласами одобрения, подавать реплики, порицающие обывателей, но борьба переносилась и непосредственно в записки. Маяковскому писали:

«Не отвечайте на глупые записки», «Перестаньте отвечать на глупые вопросы, собрались не для этого», «Плюньте! Вы за здравие, они за упокой», «Обидно и досадно за выступления наших глупых и бестактных товарищей... ибо они своим нытьем и бузотерством диаметрально противоположны настроению аудитории, уважающей вас как талантливого и оригинального поэта». А вот еще записка, посланная на вечере в Ростове 28 ноября 1927 года: «Тов. Маяковский! Плюньте на такую «критику». Вы самый замечательный поэт сейчас в СССР».

Некий слушатель вспоминает в записке, как до революции «буржуазия рычала и плевалась» в ответ на выступления Маяковского, и советует поэту кинуть что-нибудь злобствующей части аудитории, «чтоб она заревела». Ведь здесь, поясняет он, мелкобуржуазный дух. Еще более конкретно высказывает свое пожелание другой слушатель: «Прочтите «Левый марш»... Прочтите назло врагам». И дальше потоком идут такие записки: «Ругают тебя много, с пеной у рта, с желчью, но ругают те, кто еще до сего времени завязли в мещанском болоте, гниют. Мы третий раз слушаем тебя... Это уже доказательство, что заинтересовал здорово».

Маяковский и сам понимал, что на многие записки не следует отвечать, но, как он говорил, «к сожалению, приходится отвечать и проучать». Именно «проучать»! Ответы Маяковского на записки (и на выступления критиков) всегда носили активный, наступательный характер. Они никогда не сужали вопроса, а, наоборот, расширяли его рамки, переводя на принципиальную, общественную почву.

Когда жизнь Маяковского трагически оборвалась, один из самых передовых публицистов нашего времени—

Михаил Кольцов со страстью и гневом бросил злопыхателям, конъюнктурщикам и всяким любителям злословить: «Руки прочь от Маяковского, прочь руки всех, кто посмеет исказить его облик, эксплуатируя акт самоубийства, проводя тонюсенькие параллели, делая ехидненькие выводы» («Что случилось?», 1930).

Как при жизни поэта, так и после смерти его именно общественность выступала в защиту признанного ею поэта.

Маяковский, исключительно ценя общественное мнение и всегда опираясь на него, умел отличать отдельные выпады от здоровой и нужной для его роста критики. Записки он тут же на эстраде оценивал по их общественной значимости.

Однажды в конце вечера, просматривая записки, Маяковский, как вспоминает об этом А. Чижов, «отложил в сторону целую их стопку и сказал при этом: «Эти записки глупы и недостойны оглашения! Пусть те, кто написал эти записки, подойдут ко мне после вечера, я потолкую с ними». В таких случаях, хотя поэт не уклонялся от разговора, писавшие записки, конечно, не подходили к нему, и, пожалуй, первыми устремлялись к выходу.

Какую-то часть записок, посланных поэту, и я считаю «недостойными оглашения».

Известно, что Горькому его корреспонденты из категории «механических граждан» бросали упрек, якобы он искусственно, нарочито подбирает цитаты, из «глупых писем», а «мудрые» обходит молчанием. На вечерах Маяковского подобные слушатели, видя, что их замыслы срываются, писали вдогонку уже посланным запискам: «Вы большую часть записок, не читая, сунули в карман. Ответьте на все — нехорошо так», «Вы боитесь отвечать на записки?». И наконец аноним, недовольный тем, что Маяковский ведет целенаправленный разговор и не поддается попыткам втянуть его в спровоцированный спор, посылает записку: «Среди аудитории упорно распространены слухи, что все ваше остроумие объясняется только тем, что многие боевые записки вы пишете сами себе и на эти записки у вас есть готовые ответы». Но если часть публики, обычно малочисленная (иначе для чего было одному писать несколько одинаковых записок?), не могла простить поэту, что он обходит мол-

чанием некоторые выпады, то остальные, составлявшие большинство, поддерживали его в этом отношении.

Иногда Маяковский шел на тактический прием и заранее, еще до начала записочной дискуссии, разоружал скептиков, расчищал себе путь к подлинной аудитории. Так, в Туле Маяковский вышел на сцену без всяких объявлений и сказал: «Не успел я приехать в Тулу, не успел выпить чаю с плюшкой, как мне уже сообщили, что буржуазия моих стихов не читает потому, что меня ненавидит, а рабочие не читают моих стихов потому, что не понимают... (по залу пробежал смех). Но все же попробуем. Может быть, что и выйдет. Читаю «Океан»! Читал с большим подъемом, в абсолютной тишине... Аудитория бурно аплодировала» (Из воспоминаний М. Кольчугина[1].)

Но это не означало, что Маяковский уклоняется от спора. Он высказывался всегда со всей прямотой и убежденностью. И в произведениях и в живом споре не любил недосказанности, а в определении отрицательного был обоснованно резок.

Печать передавала атмосферу обостренности полемики, возникавшей во время ответов на записки. Саратовские «Известия» (2 февраля 1927 г.) писали: «На обоих вечерах Маяковский буквально был засыпан записками. В ответах и в возникавших по поводу их прениях Маяковский показал себя превосходным полемистом: находчивым, остроумным, смелым, едким и виртуозно изворотливым, подчас с убийственной меткостью парирующим удары». Характер и форма ответов определялись в зависимости от содержания записок. Маяковский не отбирал записки «благополучные», скорее, наоборот, он брал те, которые приводили полемику на передний край. «Вятская правда» (4 февраля 1928 г.) писала: «Как поэт-борец выступил вчера тов. Маяковский в городском театре. Прилизанным мещанам не по вкусу пришлись его резкие ответы. Они не могли слышать хлесткость его острот...».

Острая сатира была неизменным оружием поэта в полемике, и ему посылали порой такие записки: «Вы возмущаетесь хулиганскими записками, но ведь вы их вызываете своим поведением, кто вам дал право сме-

---

[1] Цитир. по книге В. Катаняна. «Маяковский. Литературная хроника», стр. 305.

яться над аудиторией?», «Что за охота смеяться над слушающими вас?». Здесь нужна поправка. Поэт смеялся не над аудиторией, а над отдельными слушателями. И аудитория вместе с ним смеялась над неудачливым спорщиком.

Но бывали и такие слушатели, которые вообще предпочитали «серьезный» разговор. В Нижнем Новгороде, в той же аудитории, где раздался вопль: «Кто вам дал право смеяться?», была послана 18 марта 1927 года и такая записка: «Почему вы читаете и отвечаете только на записки, над которыми можно посмеяться, а не отвечаете на записки, которые затрагивают глубже сущность поэзии вашей и вообще ближе к теме доклада?» Маяковский выбирал форму полемики и тон в зависимости от обстановки, настроения аудитории, необходимости прежде, чем начать серьезный разговор, дать отпор одному-двум задирам. Но грубость, на которую жаловался ущемленный обыватель, никогда не была чертой характера Маяковского.

Проведу аналогию. А. М. Горький, желая объяснить и оправдать резкость, которую приобретали иной раз его ответы, писал: «Если я бываю груб, если употребляю резкие слова, это не значит, что я оскорблен или хочу оскорбить... Я не зол, но ненавижу прошлое, и ненависть моя часто не находит достаточно емких, твердых слов». Маяковский, так же, как Горький, всей душой ненавидел прошлое, имея в виду все самое мрачное и тяжелое в нем.

На якобы грубость поэта «обижались» именно носители пережитков этого прошлого, но старались выдать свое негодование за настроение всей публики. «Нельзя ли быть повежливее с публикой, — ведь именно поэтому-то и с вами обратятся так же» (Пятигорск). В этой записке звучат даже нотки угрозы. Другие прибегали к напускной предупредительности: «Я уверен, что нашлись бы товарищи, желающие возразить вам, но они, наверно, боятся получить от вас грубость», «Вы в прошлом году чересчур ругались... Опасно сейчас задавать вопросы? Обещайте не ругаться». Такого обещания Маяковский не мог никому дать, потому что под словом «ругаться» он подразумевал открытый спор, полемику, борьбу нового со старым. Не случайно, что в предсмертном письме Маяковского есть слова: «...надо бы доругаться». Это касалось снятого по настоянию рапппов-

цев лозунга поэта к спектаклю «Баня»[1], но, конечно, и без этого оставалось много вопросов, по которым он еще не доспорил.

Однажды, после чтения поэмы «150 000 000» Маяковский отвечал на вопросы подошедших к нему слушателей. Вот отрывок их диалога, пересказанный Вс. Рождественским в воспоминаниях[2]:

— Почему в поэзии вы отказываетесь от всяких оттенков и всему предпочитаете грубость?

— Почему вы думаете, что я отказываюсь от «оттенков»? Вы стоите ко мне слишком близко, и потому эти оттенки вам не видны. Отступите на полшага. И, вообще, большая стена требует и большой фрески. Я не хочу кисточкой расписывать вокзалы. Я работаю не для лорнета. А то, что вам кажется грубостью, это сила. Мне нужно перекрывать большие пространства. Мне нужна не скрипка, а труба. Я хочу говорить так, чтобы меня каждый мог услышать.

Приведу из записок еще один голос: «Напрасно вы смешиваете чтение стихов с посторонними разговорами и раздражительными вспышками. Все это мешает сосредоточиться на вашем чтении, теряешь нить стихов. И чтение от этого много теряет. А хочется внимательно прослушать чтение самого поэта. Лучше, если бы вы уделили больше времени не остроумию, а чистому стиху» (Пермь). Это было почти невозможно, потому что сам «чистый» стих рождался в той борьбе, от которой ни в большом, ни в малом вопросе нельзя было отгородиться. Утверждение нового, революционного в поэзии, в культуре и быту нельзя было даже мыслить вне борьбы и полемики.

Как А. М. Горький заявлял, что ругательства, клевета, ложь — все направленное лично против него — «нимало не задевает, нисколько не злит», так и В. Маяковский отвечал, что он ко всему этому давно привык: «До меня такие записки не доходят». Но Маяковскому иногда недоставало того жизненного опыта, которым обладал Горький, да и темпераменты были разные, и он иной раз отвечал на записки с раздражением, что приводило его противников в восторг, — вот, мол, удалось-таки вывести из равновесия. И сколько ехидства в их

[1] См. В. Маяковский. Полн. собр. соч., т. 11, стр. 350.
[2] Журн. «Звезда», № 12, 1958 г.

новых записках. «Вы горячитесь и оправдываете себя, — говорится в одной из них. — Но с тобой нельзя спорить: дело до кулаков дойдет, как может дойти до бычачьих рогов, если его дразнить красным». Обращает на себя внимание подчеркнутый переход в записке от вежливого «Вы» к явно грубому «с тобой».

Положение Маяковского при полемике усложнялось тем, что ему приходилось в считанные секунды прочитывать записку, ориентироваться в обстановке и отвечать. То, что Горький чаще всего спокойно продумывал и потом мастерски излагал в статьях, Маяковский молниеносно, как выпадом рапиры, обращал против незримого в публике демагога, скептика, пошляка.

Но с течением времени поэт научился владеть собой во время полемики. Слушатель, подписавшийся инициалами «Е. С.», обращается к Маяковскому: «Я удивляюсь вашему самообладанию среди этой толпы, жадной до скандальных историй. Удивляюсь и преклоняюсь» (Нижний Новгород, 17 января 1927 г.). Еще записка: «Ваши нервы как сталь, вы терпите от некоторых типов, которые враждебно настроены по отношению к вам» (Новочеркасск, 27 ноября 1927 г.). Вряд ли знал автор этой записки, чего иной раз стоило Маяковскому быть крепким, как сталь!..

И до чего же похожи некоторые злопыхательские, ехидные записки, посылавшиеся Маяковскому, на отдельные опусы профессиональных критиков, например, на пасквильную книжонку Георгия Шенгели «Маяковский во весь рост», вещавшую, что «эпоха отвернется» от поэта, на грубые, бестактные статьи В. Полонского, М. Ольшевца, Л. Сосновского, Д. Тальникова, В. Ермилова, И. Гроссмана-Рощина против Маяковского, на некоторые выпады печати, вроде статьи «Картонная поэма» в ростовской газете «Советский юг». (Не будем ворошить эти статьи, ставшие тленом.)

Не удивительно, что один из слушателей посылает с запиской заранее им заготовленную и, конечно, известную Маяковскому вырезку из газеты и спрашивает: «Почему вас поругали в «Комсомольской правде» и почему вообще на вас, поэта, так налетают?» (Нижний Новгород, 18 января 1928 г.). Другой слушатель пишет: «В «Харьковском пролетарии» почему-то о вашем вечере плохой отзыв, а вечер ведь был очень интересен» (Харьков).

Следует сказать, что какими бы больно ранящими ни были отдельные записки, статьи, выступления, ничто не могло затенить или умалить прочно утвердившийся в массах читателей, в народе все растущий авторитет Маяковского.

Маяковский был признан и по достоинству оценен советским обществом еще при жизни. Он первый советский поэт, получивший в расцвете своих творческих сил широкое международное признание.

**10**

В борьбе за революционное искусство Маяковский неизменно отстаивал требование «новой формы для нового содержания». Острие его полемики по этому вопросу было направлено как против рыцарей «чистой формы», так и против тех, которые «пытаются втиснуть пятилетку в сонет».

По меткому определению Юрия Тынянова, работа Маяковского находила свое выражение «в новых революционных обязанностях стихового слова», в утверждении гражданского строя поэзии. Уже при жизни Маяковский был признан новатором, поэтом революции и революционером стиха.

Вопреки грубым наскокам на него некоторых критиков, печать и сама читательская масса признавала за ним эти качества и роль. Одесская газета «Известия» писала, что каждое прочитанное Маяковским стихотворение отличали «одновременно — и высокое мастерство, и действенная агитация» (25 июля 1926 г.). Ленинградская «Красная газета» называла его «большим поэтом огромного дарования, ярких образов, своеобразных форм, главой школы» (5 октября 1926 г., веч. вып.).

Маяковский и сегодня выступает новатором, а многие его произведения, высказывания и мысли становятся еще более действенными в наши дни. Его поэтика естественно и органично вошла в русскую поэзию нашего времени, и не только в русскую поэзию. Как не привести здесь слова Михаила Луконина: «И я несу к поэзии Маяковского каждую свою строку — сверить его любовь со своею, свою ненависть к врагам — с его беспощадностью, свою работу — с его неутомимым подвигом, и мне хорошо, что в советской поэзии есть ведущий, есть правофланговый...» («Товарищ поэзия», 1963, стр. 190).

Да разве о подражании идет здесь речь? Нет, о другом — о большом чувстве! Легче и лучше работается, когда есть такой друг и советчик, как Маяковский!

Присутствие Маяковского в нашем сегодня, ощущение этого присутствия передают и многие другие поэты. «Мне радостно, — писал Николай Асеев перед IV Всесоюзным совещанием молодых писателей, — что нынешняя молодежь устремилась по пути, открытому Маяковским. С задором юности работает она над тем стихом, с которым можно выходить на площади, на эстраду, на митинги. ...Потому-то и проявляет она столь повышенный интерес к неканоническим формам стиха, к поэтической звукописи. Молодая поэзия уловила витающую в воздухе острую потребность в звучащем стихе. Она хорошо знает, что самая надежная гарантия ее успеха — связь с аудиторией, со слушателями» («Литература и жизнь», 2 ноября 1962 г.).

Еще при жизни Маяковского делались попытки ограничить значение его новаторства одними узкоформальными признаками, сбрасывая со счетов утверждение самого поэта, что «только Октябрь дал новые идеи, требующие нового оформления», что «новизна материала и приема», взятых в единстве, обязательна для каждого поэтического произведения.

Некоторые утверждали, что Маяковский отбросил, разрушил классическое стихосложение и, следовательно, сам оказался не в русле русской поэзии. А между тем Маяковский, отмечая, что «ямб, свободный стих, аллитерация, ассонанс создаются не каждый день», вовсе не отрицал необходимости «работать и над их продолжением, внедрением, распространением» (12—86). Сама поэтика Маяковского есть логическое продолжение всего накопленного в этой области опыта, но продолжение принципиально новое, новаторское.

И не случайно, что весь круг этих вопросов живо занимал слушателей на вечерах Маяковского. Ему писали: «Каковы преимущества вашего направления поэзии перед прежним, классическим» (Воронеж, 22 ноября 1926 г.). «Скажите, как можно научиться писать стихи так, как пишете вы?» (Ростов, 26 ноября 1926 г.), «Какую общественную значимость имеет новая школа в стихотворстве?» (Тбилиси, 10 декабря 1927 г.).

При широком стремлении литературной молодежи к новаторству многие еще считали, что можно в старую

форму вложить новое содержание. Маяковский получал записки с такими вопросами: «Скажите, почему Леф отрицательно относится к старой форме стихосложения? Ведь можно изменить содержание, сущность, но форму, отличающуюся легкостью, красотой и мелодичностью, оставить?» (Казань, 21 января 1927 г.). «У Демьяна Бедного старые формы, а разве они искажают содержание?» (Нижний Новгород, 17 января 1927 г.), «Не является ли популярность Д. Бедного именно потому, что он пишет понятно и злободневно, сохраняя старые формы?» (Минск, 28 марта 1927 г.), «Почему поэту нужно обязательно новым своим слогом писать? Например, почему избегают писать хотя бы пушкинским стилем, но с пролетарским содержанием?» (Краснодар, 29 ноября 1926 г.).

Характерна записка, которая пытается «примирить» Маяковского с классиками: «Вы делаетесь все проще и проще в своем стиле. И только тогда вы сможете стать великим поэтом, если станете простым, как гениально прост был великий Пушкин, которого вы бессознательно так страстно любите. Упрощайтесь и примиряйтесь с Пушкиным, Толстым, Достоевским!» (Минск, 27 марта 1927 г.). Автор этих строк, правильно подметив движение стиха Маяковского к простоте в высоком смысле этого слова (чего не отрицал Маяковский), здесь же призывает к упрощению. Он неправильно ставит вопрос о «разрыве» и «примирении», не видя преемственности в развитии русской поэзии, игнорируя значение новаторства и недооценивая глубокую, вполне осознанную любовь Маяковского к Пушкину.

В 1926 году в Тбилиси Маяковского спросили на втором его вечере: «Часто ли вы заглядываете в Пушкина?» Он ответил: «Никогда не заглядываю. Пушкина я знаю наизусть».

Однажды Маяковскому задали вопрос: «Почему вас столь назойливо упрекают в неуважении к Пушкину?». Он ответил: «Бывает разное отношение к его наследию. Мне не могут простить того, что я не пишу, как он. Раздражает лесенка. Вот решили: раз я не пишу, как Пушкин, значит, являюсь его противником. Приходится чуть ли не оправдываться, а в чем — и сам не знаешь».

Вопрос о «лесенке» на долгие годы стал предметом споров.

В Нижнем Новгороде Маяковский получил записку:

«Как научиться читать ваши стихотворения? На чем основана расстановка слов, по одному в строчку?» (Нижний Новгород, 18 января 1927 г.). На такие вопросы Маяковский отвечал в том смысле, что дело не просто в строчках, а в природе стиха.

Бесчисленное множество раз отвечал Маяковский на вопрос о «лесенке», всем своим непревзойденным искусством чтеца «объяснял» он и утверждал ее, но и помимо этого она властно прокладывала и проложила себе дорогу в русской поэзии, органично вошла в творческий обиход многих современных поэтов.

Ни один писатель не может не иметь предшественников, но одно дело — наследовать все лучшее в родной и мировой литературе, иметь литературные пристрастия, а другое — быть искусственно пристегнутым к какому-либо классику. В одной из записок, посланных Маяковскому в Ростове, делается попытка неправильно истолковать его ответ, как бы уличить его в сокрытии литературного происхождения: «Вы вчера говорили, что у вас нет предшественников. Назовем имена: В. Хлебников, Эмиль Верхарн, Уолт Уитмен. Спорно: Некрасов, Гейне. С точки зрения формальной, как первые представители свободного стиха в России, — А. Белый, Блок» (29 ноября 1927 г.). Записка эта написана человеком, видимо, не лишенным литературных знаний, но стоило ли пускаться в такой экскурс, когда сам Маяковский признает, что еще в юности перечитал все новейшее; что, например, в Андрее Белом его «разобрала формальная новизна». Разобрала, но «было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое. Оказалось т а к ж е п р о д р у г о е — нельзя» (Автобиография «Я сам»).

Здесь, по существу, дан ответ на ту записку. В этом смысле нет предшественников. Маяковский всем складом своей поэтической натуры не признавал подражательства и своим титаническим трудом доказывал, что для него «поэзия — вся! — езда в незнаемое».

Иногда, чтобы резче показать, в чем «сущность современной работы над литературой», Маяковский нарочито заострял или даже упрощал мысль, прибегал к преувеличениям, условностям. Не всегда эти ходы мысли правильно воспринимались. И поэтому он получал такие записки: «Вы говорите, что лефовцы не имеют права повторять ни одной бывшей в «употреблении»

рифмы. Всему есть предел...» (Самара), «Если так трудно писать стихи, то почему так много поэтов?» (Таганрог), «Динамика вашей поэзии делает ускользающей даже в вашем чтении рифму. Смотрите ли вы на это, как на недостаток?», «Вы говорите, что рифму не замечают многие в ваших стихах потому, что она нова, но не происходит ли это благодаря новизне размера (или даже, по прежним понятиям, благодаря его отсутствию)» (Казань).

На все подобные вопросы Маяковский дал ответ в своей статье «Как делать стихи?».

**11**

Демагоги обычно прибегают к третьему лицу, множественному числу. «Вас не понимают рабочие и крестьяне», — кричали они, не будучи на это уполномочены ни рабочими, ни крестьянами.

В написанной по этому поводу статье Маяковский дал отпор тем, кто на своем разглагольствовании о «непонятности» его поэзии делали карьеру, становились вождями целых течений в литературе.

Маяковский писал:

«Простое: «Мы не понимаем!» — это не приговор.

Приговором было бы: «Мы поняли, что это страшная ерунда!» — и дальше нараспев и наизусть десятки звонких примеров.

Этого нет.

Идет демагогия и спекуляция на непонятности.

Способы этой демагогии, гримирующиеся под серьезность, многоразличны» (12—164).

Поэт разбивал доводы демагогов простейшим способом — чтением стихов и убеждался в признании аудиторией. Тогда анонимам ничего не оставалось, как ехидствовать в записках, спрашивать, можно ли будет в будущем слушать его произведения из уст людей, не живших с ним в одну эпоху?

Время ответило на эти вопросы утвердительно и отмело всякие сомнения. А пока что шла борьба. Маяковский оборонялся и наступал на воинствующих мещан, имея твердую поддержку в самой гуще своих читателей и слушателей. Ему писали: «Вас не понимают не потому, что не понимают. А потому, что не хотят понять, лень затратить время. Клименко» (Тула). Огласив за-

писку, Маяковский, как об этом вспоминает П. И. Лавут, сказал: «Такие записки приятно читать». Это не единичный случай, в другом городе, другой слушатель пишет о том же: «А вы, т. Маяковский, не огорчайтесь тем, что некоторые говорят о непонятности стихов. Если только вчитаться — все понятно и хорошо» (Минск).

Это находило тысячекратное подтверждение.

По глубине восприятия стихов Маяковского наша печать иной раз определяла культурный уровень массы. Вот что писала, например, «Вятская правда» (4 февраля 1928 г.): «Вчерашний день принес новые доказательства роста культурности масс. Губернский съезд профсоюзов пригласил выступить на нем с чтением своих стихов тов. Маяковского... Маяковский говорил съезду, что он пришел прежде всего для того, чтобы получить проверку понятности своего творчества рабочим массам».

Что касается движения Маяковского к художественной простоте, то это замечали сами читатели. Они писали ему: «Вы сейчас пишете не так, как писали «Мистерию-буфф» или «150 000 000». Сейчас ваши стихи более понятны» (Курск, 19 февраля 1927 г.), «Чем объяснить, что вы стали писать понятнее?» (Ростов, 28 ноября 1926 г.).

Маяковский никогда не отворачивался от проблемы ясности и понятности, массовости литературы. Он считал, что «основные трудности сегодняшнего писателя» заключаются в трудности «писания так, чтобы было понятно, не снижая темы, — тем языком, на котором говорит масса» (12—425).

Некоторые слушатели, настаивая на непонятности поэзии Маяковского, противопоставляли его классикам. «Почему я понимаю Пушкина, а не понимаю вас?»—спросил Маяковского кто-то из публики. Ответ Маяковского на заданный вопрос привела ростовская газета «Молот» (26 ноября 1927 г.): «...Пушкина вам разъясняли целое столетие, тогда как Маяковский свалился на вашу голову неожиданно, как неожиданно в свое время свалился Пушкин на голову своих современников, отсталые из которых тоже не понимали его».

Для самого Маяковского образ Пушкина был, по его определению, образом «наиболее замечательнейшего за все время существования России поэта и поэта с замечательной биографией, то есть человека очень сложного» (12—354).

О шаткости самого противопоставления Маяковского его великим предкам в поэзии можно судить хотя бы по двум, исключающим друг друга запискам, посланным на одном вечере в Таганроге 25 ноября 1927 года:

«Музыкальный стих (например, Пушкина) куда понятней и приятней».

«Ритм ваших стихов настолько нов, своеобразен, что его просто не умеют понимать. А между тем, какая изумительная музыкальность!»

Большая группа записок ставила понятность стихов Маяковского в зависимость от авторского чтения.

«Ваши стихотворения мне мало были понятны, теперь же, слушая вас второй вечер, я не разделяю мнения писавших записки, и ваше творчество мне становится понятным и близким» (Нижний Новгород), «Чем объяснить такое явление: когда слушаешь вас, то как будто бы понимаешь, а когда станешь читать ваши стихи, то или ничего не понимаешь, или понимаешь, но плохо», «Передаете вы очень хорошо, вероятно, потому и понятно то, что вы читаете» (Ростов), «Ваши стихи прекрасны при условии, если вы их декламируете, но ведь не все и не всегда могут вас слушать, а читая, их трудно понять» (Самара).

Постепенно читатели и слушатели сами приходили к мысли об овладении искусством чтения, и, таким образом, ответ на записки созревал в стенах аудитории. Маяковскому пишут: «У нас возникают грандиозные споры— как читать ваши стихи? И так как, к великому сожалению, никто, кроме вас, их читать не умеет (а вы читаете их великолепно), то мы, группа студентов и журналистов, просим вас прочесть сегодня сверх программы: пролог и начало «Облака в штанах», «Левый марш», «Морскую любовь». Ваше чтение разрешит многие недоразумения и, может быть, научит многих читать ваши блестящие стихи» (Казань).

И только одна из множества других записок ставила вопрос иначе: «...Ваши стихи лучше, когда их читаешь в книге, тогда вы человечней и ближе» (Минск, 27 марта 1927 г.). Может быть, и в этом случае рождался настоящий читатель, веривший в свои силы, в возможность постигать литературу самостоятельно, при углубленном чтении.

Ответ Маяковского на эти вопросы по существу совпадал с выводами и суждениями многих читателей:

«Вам надо тоже научиться хорошо читать стихи, и тогда не будет таких вопросов».

Смоленская газета «Рабочий путь» (29 января 1925 г.) привела такой ответ поэта: «У меня особый прием письма, особое, новое построение стиха, незнакомое еще широкой публике, которая не привыкла к ним. Это бывало всегда в литературе, когда выдвигались новые формы творчества».

Того же мнения слушатели: «Не умеют тебя читать, не подготовлены...» (Симеиз, 24 августа 1927 г.).

Когда однажды Маяковский выступил в аудитории Закавказского коммунистического университета в Тбилиси, ректор университета М. Лисовский, как об этом вспоминает Бесо Жгенти, так объяснил бурный успех поэта: «Вас поняли и аплодируют потому, что вы хорошо читаете стихи». Маяковский ответил ему: «Если все дело в чтении, так организуйте же кружки по художественному чтению. Ведь это в вашей власти».

Дело, конечно, не только в чтении. Неподготовленность молодежи к восприятию новой поэзии объяснялась в одной из записок еще и тем, что «в наших школах слишком мало внимания уделяют литературе, в особенности художественной» (Минск, 28 марта 1927 г.).

Есть и другие записки, показывающие пытливые усилия читателей самостоятельно разобраться в стихах: «Читал раньше, не понимал и ругал, теперь люблю, чаще выступай. Ты молодец. Хорошо бы тебе выступить перед рабочими» (Днепропетровск, 27 февраля 1928 г.).

Именно таких читателей имел в виду Маяковский, когда говорил, что «нужно сделать (так), чтобы, не уменьшая серьезности своих вещей, сделать стихотворения нужными массе, то есть когда стихотворение возьмут, положат на руку и прочтут его пять раз, (и) скажут — хотя было и трудно понять, но понявши, мы обогатили свой мозг, свое воображение, еще больше отточили свою волю к борьбе за коммунизм, в борьбе за социализм» (12—424, 425).

А какой поэт не захочет, чтобы его читали так — внимательно и углубленно?! Именно это давало Маяковскому основание утверждать, что «наша победа не в опрощении, а в охвате всей сложнейшей культуры» (12—158). Поэтому он ставил задачу, не снижая своей техники, работать исключительно на рабочего читателя. Понятие «рабочий читатель» было для него высшим кри-

терием. Это был читатель идейно наиболее ему близкий. А что касается «техники», то поэт старался ее совершенствовать, оттачивать, но не шел на снижение, упрощение, будучи уверен, что сложное из-за непривычности сегодня, станет завтра понятным всем. Судя по многим запискам, рабочая аудитория принимала Маяковского наиболее тепло и восторженно, как своего поэта. И сам Маяковский пишет, что, выступая в Ростове, в Ленинских мастерских перед восемьюстами рабочими, он «не получил ни одной непонимающей записки».

Когда какие-то демагоги на вечере поэта в Нижнем Новгороде выступили в записках от имени рабочих, сейчас же последовала негодующая записка: «...тут нет рабочих, а одни задрипанные, изрыгающие пошлятину мещанские хамы» (18 января 1927 г.). Автор записки, несомненно, перегнул в определении лица аудитории, но интересен сам факт решительного протеста против присваивания себе права выступать от имени рабочих.

Газета «Красная Татария» (29 января 1928 г.) в отчете о выступлении Маяковского в Казани пишет: «У нас принято говорить, что Маяковский непонятен массам, но характерно, что на выступлениях поэта записки о непонятности его стихов подаются только из первых рядов. А вот из отзывов рабочих: «Маяковский понятен каждому рабочему и мужику, потому что он вселяет бодрость, силу и веру в победу. Пожелаем поэту почаще выступать на рабочих и крестьянских собраниях». К этому пожеланию присоединяемся и мы», — заключает газета.

В тех случаях, когда не удавалось доказать, что стихи Маяковского непонятны рабочим, когда сама рабочая аудитория опровергала эти домыслы, некоторые анонимы, продолжая упорствовать, избирали другой ход, начинали ссылаться на низкий уровень общего образования рабочего. Маяковскому посылали записки: «Скажите откровенно, как вы думаете — может ли простой рабочий от станка или крестьянин, будучи вооруженным хотя бы начатками общего образования и развития, понять ваше творчество и стихи, где все сквозит метафорами и иносказательностью?» (Ростов), «Почему вы не пишете так, чтобы рабочий понимал, причем вы знаете, что рабочий без образования» (Евпатория).

Против такой постановки вопроса поэт возражал в самой категорической форме. Ответ его сводился к сле-

дующему: надо не литературу снижать до уровня читателя, не имеющего общеобразовательной подготовки, а этого читателя поднимать до высокого уровня культуры. Он утверждал: будем пропагандировать, поймут. Именно с пропагандой своих стихов и стихов близких ему по духу поэтов ездил Маяковский по Союзу и зарубежным странам. Порой и сами читатели выступали пропагандистами стихов Маяковского и делились с ним в записках своими мыслями: «Вам на каждой лекции задают вопрос: почему пролетариат не понимает ваших стихов. Это ерунда. В каждом перерыве рабочие просят меня читать ваши стихи» (Ленинград, 3 ноября 1926 г.), «Скажите, что читать рабочему из вашей хорошей литературы, но рабочему как со средним, так и повышенным образованием» (Таганрог, 25 ноября 1926 г.).

И еще одна записка из сотен других, таких же: «Давать вам оценку, очевидно, нам не придется, ибо вы уже оценены в достаточной мере своим творчеством. Одно наше пожелание: пишите и описывайте нам жизнь быстро строящейся страны и ее строителей, насыщайте молодняк всем новым и прекрасным. А теперь одна просьба — прочесть что-нибудь из последних ваших работ». Так везде и всюду — от стихов к признанию, от признания снова к стихам.

## 12

Литературная жизнь в те годы отличалась пестротой творческих групп, их деклараций и манифестов, а по существу — непреодолимым стремлением всех новых жизнедеятельных сил к сплочению, к консолидации для решения общих задач строительства социализма.

На страницах газет и журналов нередко можно было встретить слово «футуристы». Маяковскому на лекции послали записку: «Ты скажи, почему советские литературные критики причисляют футуризм к детищу буржуазии. Ты ведь тоже футурист, а рубаха, наш, новый. Есть ли у тебя теория стиха, или так, это способность такая хорошие вещи писать? Прочти «Левый марш» (Свердловск, 28 января 1928 г.).

Прошло много лет, а все велись споры вокруг футуризма, порой осложнялись весьма ясные вопросы и делались «открытия» давно открытого.

Для полной ясности вопроса надо было определить

то новое, что вкладывал Маяковский в понятие «футуризм» уже после Октябрьской революции. Иначе возникали недоуменные вопросы: «Скажите, что у вас общего с футуризмом и почему не просто «Леф», а уже «Новый леф»?» (Минск), «Никак не пойму я, что общего между тобой и Крученых?» (Баку), «Почему вас считают футуристом?» (Ярославль), «Не есть ли футуризм временное явление в истории русской литературы?» (Краснодар), «Давно ли футуристы являются попутчиками пролетариата?», «По приезде из Америки вы писали в «Огоньке», что порываете с футуризмом. Почему этого нет на самом деле?» (Тула), «Вы, кажется, отказались от своего течения (футуризма) и ругали его?» (Пенза).

Только запутанностью (по вине некоторых критиков) вопроса можно было объяснить появление всех этих записок. Маяковский отвечал на них с эстрадных подмостков, в статьях и стихах. В интервью, данном 23 ноября 1925 года корреспонденту ленинградской «Новой вечерней газеты», Маяковский сказал: «Отрекся ли я от футуризма? Это все равно, что сказать — отрекся от леопардов, чтобы перейти к тиграм. Отрекся от футуризма, чтобы продолжать Леф...» Еще в 1918 году он писал о тех, кто смешивает, скажем, Маринетти с Северянином, Северянина с молодыми поэтами России, нашедшими духовный выход в революции и ставшими на баррикады искусства. «Смешав немешаемое, критики за грехи одного, назвавшегося футуристом, требуют к ответу все течение. Ругают абрикос за толстокожесть апельсина только потому, что оба фрукты» (12—11).

Много вопросов задавали Маяковскому в записках о Лефе — левом фронте литературы и искусства. Его спрашивали: «Есть ли результаты вашей борьбы за улучшение поэзии?» (Краснодар), «Уверены ли вы твердо, что будущее принадлежит вам?» (Самара), «Объясните в двух словах, что такое Леф», «Почему ваш журнал стал называться «Новый леф»?» (Тбилиси), «Я все же не понял, почему вы левые и в чем особенности Лефа. Обоснования левого направления вы не дали» (Казань), «Помимо поэзии, какие могут быть методы борьбы за новый быт по-лефовски?» (Тбилиси), «Расскажите о Лефе. Любопытствую знать о вашем сегодняшнем участии в нем» (Ростов).

Некоторых слушателей удивляло, почему члены одной творческой группы (Леф), скажем, Маяковский и

Третьяков, по-разному подходят к отдельным вопросам, «Значит ли это, что Леф не имеет строго выработанной программы?» (Тбилиси). Неизвестно, что ответил Маяковский на последнюю записку, но в своей речи на первом московском совещании работников левого фронта искусств он сказал, что «Леф — это ассоциация более двенадцати различных поэтических и словесных группировок».

Поэтому не случайны были такие вопросы в записках: «Как вы смотрите на работы Пастернака? Считаете ли вы его лефовцем?» (Симеиз), «Каким образом членом Лефа является такой поэт, как Пастернак?», «Отчего Пастернак ушел из Лефа?» (Днепропетровск), «Как вы смотрите на Мейерхольда, мне кажется, вы ему близки» (Саратов), «Почему Артем Веселый сотрудничал в «Лефе», будучи «перевальцем»?» (Нижний Новгород).

На вопросы редакции журнала «Жизнь искусства» (7 октября 1928 года) о «разброде мнений» в Лефе, о позиции Маяковского «левее Лефа», в какой-то степени отражающих и вопросы читателей, Маяковский ответил: «Никаких лефовских расколов нет... Это один из переходов, которые и раньше были у нас от футуристов к «Искусству коммуны», от «Искусства коммуны» к Лефу и т. д.».

В одной из записок (24 сентября 1929 г.) Маяковский объясняет причины, заставившие Леф «почистить свои ряды», внести изменения в программу и принять название Реф (революционный фронт литературы и искусства). «Основная причина, — пишет Маяковский, — это борьба с аполитизмом и сознательная ставка на установку искусства как агитпропа социалистического строительства».

Столкновения точек зрения, идейных позиций литературных групп и течений служили темой вопросов, задаваемых Маяковскому в записках: «Каковы ваши принципиальные расхождения с остальными литературными направлениями в СССР?», «Что такое «воронщина» и почему вы с ней боролись?» (Воронеж), «Каково ваше отношение к «Кузнице»?» (Казань)... И в итоге всех подобных вопросов еще два: «Почему Леф не сольется с ВАПП, полностью не войдет в Ассоциацию. В чем разногласия?» (Пятигорск), «Советуем вам присоединиться к Всероссийскому союзу писателей» (Казань).

Тогда как одни считали назревшим вопрос слияния

Лефа с РАППом, другие все еще исходили из противопоставлений или «прощупывания» вопроса: «Как вы смотрите на РАПП?» (Ростов), «Какая разница идеологическая между «На посту» и «Леф»?» (Самара), «Какое отношение у Лефа и у вас, в частности, к ассоциации пролетарских поэтов?», «Можете ли вы сказать, что со своим изложением стихов вы близки пролетарской среде и являетесь поистине пролетарским поэтом?» (Тбилиси), «Почему вы себя называете пролетарским поэтом?» (Киев).

Последний вопрос в другой записке поставлен в иной плоскости: «Почему вы называете себя пролетарским поэтом? Разве вы пролетарского происхождения?». Такой социальный аспект характерен для обстановки острой классовой борьбы того времени. Маяковский ответил: «Нигде не сказано, что пролетарский поэт должен быть пролетарского происхождения. Я знаю некоторых писателей далеко не пролетарского происхождения, но они числятся пролетарскими и состоят даже членами РАППа».

Критикуя поэтов, хотя бы пролетарских, но не стоящих на переднем крае борьбы за социализм, обличая иных в стихах, таких, как «Четырехэтажная халтура», Маяковский вовсе не противопоставлял себя РАППу в целом. Он говорил, что вопрос о сработанности лефовцев с РАППом даже не стоит, — «мы считаемся потенциально сработанными, только иногда грыземся».

Большой круг вопросов, заданных Маяковскому в записках, относится к его взаимоотношениям с писателями, ко взглядам на творчество некоторых из них. Он разрешал себе говорить об одних больше, чем о других, но при этом предупреждал, что «это не опорочивает литературы».

Ему задавали вопросы о Есенине, Максиме Горьком, Демьяне Бедном, Фадееве, Безыменском, Жарове, Уткине, Пастернаке и Мейерхольде, о Полонском и многих других.

Наибольшее число вопросов, пожалуй, было вызвано проблемой оценки творчества Есенина и связанными с нею заблуждениями и противоречиями в среде молодежи. Маяковского спрашивали в записках: «Какого мнения о Есенине вы придерживаетесь?», «Ваш взгляд на творчество Есенина?», «Как вы смотрите на Есенина, и был ли он большим мастером слова, и отрицаете ли вы

это?», «Считаете ли вы Есенина большим поэтом, лучшим лириком крестьянской Руси?», «Объясните, пожалуйста, ваши отношения с Есениным», «Словами «нет, Есенин, это не насмешка», что вы хотели выразить о Есенине, как о поэте?», «Почему подняли вопрос о «есенинщине» только после его смерти?».

На многие из этих вопросов Маяковский ответил в печати, рассказав, как он писал свое стихотворение «Сергею Есенину».

На различные вопросы ответы строились по-разному — в одном случае он прибегал к юмору, в другом — к резкости.

На замечание из публики: «Вы утверждаете, что хорошо знакомы с Горьким, — это неверно», Маяковский, как вспоминает П. Лавут, ответил весело: «Сейчас уже народилась армия, которая хвалится знакомством с Маяковским. А вы уличаете меня в том, что я горжусь близостью к Горькому».

А вот другой случай. Полемизируя с Полонским, Маяковский предупредил аудиторию, что не будет злоупотреблять своим правом на заключительное слово, а будет говорить по существу и переходить на резкости «только там, где это абсолютно нужно, и не по личным, а по литературным соображениям».

Маяковский остро реагировал прежде всего на самый характер постановки вопроса, на его порой скрытые, но весьма прозрачные тенденции. На вопрос: «Кого вы считаете лучшим поэтом?», он ответил: «Как вы себе представляете? Лежит пирог славы, и поэты бегут с взмыленными мордами: кто первый добежит, тому и достанется? Неправильно это, товарищи! Все работают по мере своих сил и возможностей...»

Некоторые читатели, зная, что между Демьяном Бедным и Владимиром Маяковским велась полемика, старались вызвать Маяковского на разговор и закидывали его записками: «Почему вам не нравится поэзия Демьяна?» (Таганрог), «Как относится Демьян Бедный к лефовцам? Как относитесь вы к Демьяну?» (Армавир), «Какого вы мнения о Демьяне Бедном?» (Тбилиси), «Что скажете о популярности и таланте Демьяна Бедного?» (Ростов), «Стихи Демьяна Бедного крестьянская масса понимает лучше, почему бы и вам не последовать Д. Бедному?» (Нижний Новгород) и далее в том же духе.

Улавливая оттенки вопросов, угадывая побуждения, цели и настроения слушателей, писавших эти записки, Маяковский не всегда отвечал. И тогда анонимы, уже не скрывая подоплеки, с раздражением посылали новые записки: «Отчего вы уклоняетесь ответить о своем отношении к Демьяну Бедному?» (Минск), «Почему среди вами рекомендованных поэтов вы не назвали Демьяна Бедного? Неужели не признаете его достойным поэтом?», «Почему вы умалчиваете о современных пролетарских классиках — Д. Бедном и др.?» (Нижний Новгород), «...Странно и загадочно, что в течение всего вечера даже имени его не вспомнили», «К какой группе причисляете Демьяна Бедного? Кажется, пролетарский поэт, а вы и ни слова» (Казань).

Если Маяковский не отвечал на первую группу вопросов, то подавно оставлял без ответа эти повторные вопросы, преследовавшие цель столкнуть двух поэтов современности.

Какими же соображениями руководствовался Маяковский, оставляя некоторые записки без ответа? Чтобы разобраться в этой ситуации, следует присмотреться к другим аналогичным случаям.

Когда А. Жаров однажды поинтересовался, как может «Гренада» М. Светлова понравиться Маяковскому, если форма этого стихотворения весьма далека от его формы, он ответил: «Форма разная, зато платформа одна!»[1]

Именно в этом выражалась принципиальность позиции Маяковского.

На некоторых вечерах в Москве и в других городах он читал произведения Михаила Светлова наряду со своими. Почему он это делал? Маяковский поясняет: «Да потому, что это огромное достояние пролетарской советской поэзии, той поэзии, которая является достоянием наших дней. Ни один лефовец не только мешать ей не будет, но будет проносить, проносить на своих плечах» (12—338).

Сколько благородства в этих словах и какая большая сила солидарности!

Не раз Маяковский выступал против Уткина, но лишь тогда, когда видел, что тот в чем-то сдает позиции. Он

---

[1] А. Жаров. Маяковский на трибуне, «Литературная газета», 18 июня 1953 г.

справедливо критиковал «Стихи красивой женщине», но тут же хвалил его «Повесть о рыжем Мотэле». Говоря о неудачах Уткина, Жарова, Молчанова, Маяковский предупреждал: «Нельзя радоваться...». Как много этим сказано! «Мы не можем радоваться, — поясняет Маяковский, — если наш товарищ по оружию где-то, в чем-то оступился или сделал шаг назад! Нельзя радоваться, а надо сожалеть и бороться за него».

Критикуя пьесу А. Безыменского «Выстрел» за использование в ней старых приемов, он поддерживал ее за то, что «по политическим задачам, по основному желанию принять участие в социалистическом строительстве — это вещь наша». Маяковский защищал «Выстрел» от тех, кому была не по вкусу политическая злободневность театра. Он мог критиковать Вс. Мейерхольда при первой его неудаче и в то же время сказать любителям старых штампов и всяческой пошлости в театре: «Я не отдам вам Мейерхольда на растерзание».

Те, которые не понимали этой позиции Маяковского, не могли понять и кажущегося разнобоя в его высказываниях о Д. Бедном, Жарове, Уткине, Безыменском и других. И разве можно такого поэта, как Маяковский, поэта с такой широтой взглядов, с таким подходом к людям одной с ним позиции, представлять эгоистом, пристрастным или, того пуще, — завидующим языку Демьяна Бедного в агитации?!

Мы, а за нами и будущие поколения, будем еще десятки и сотни раз перечитывать программное послание Маяковского пролетарским поэтам и поражаться его высокому гуманизму, кристальной моральной чистоте.

...А мне
в действительности
единственное надо —
чтоб больше поэтов
хороших
и разных.

Не потому ли так внимательно прислушивалась масса к голосу Маяковского, — так много записок ему послано, вопросов задано!

Слушателей интересовало мнение Маяковского о творчестве широкого круга писателей. Его спрашивали в записках:

«Какие современные поэты и писатели, пишущие по современному направлению, более всего известны?»

(Таганрог), «Кого из прозаиков вы считаете хорошими писателями, близкими к Лефу? Ваше отношение к А. Фадееву?» (Ростов), «Как вы смотрите на своих подражателей (Асеев, Кирсанов и др.)?» (Ярославль), «Будьте добры сказать, как вы смотрите на произведения Сейфуллиной?» (Москва), «Признаете ли вы Ларису Рейснер как художницу, и нравится ли вам ее стиль?» (Воронеж), «Интересно, как вы относитесь к поэзии Андрея Белого и к его романам «Петербург» и «Москва»?» (Казань), «Что вы скажете о взгляде Эренбурга на поэзию («Хулио Хуренито»)?», «Скажите свое мнение о писателе Серафимовиче?» (Ростов), «Как вы смотрите на работы Пастернака?» (Симеиз), «Почему ничего не пишет Б. Пастернак, мало пишет Асеев и совершенно молчит О. Мандельштам?» (Ростов), «Интересно знать ваше мнение о Бальмонте, Игоре Северянине, Ахматовой» (Нижний Новгород)...

Поток вопросов нескончаем.

Подумать только, какому еще другому поэту в то время, да и теперь, могли бы задавать так много вопросов?

Маяковский дорожил таким отношением к себе и сам внимательно прислушивался к мнению аудитории. Михаил Голодный приводит в воспоминаниях такой эпизод: критикуя стихи Жарова «Старым друзьям», Маяковский прочитал их аудитории. Но слушатели стали аплодировать стихам, которые в чтении Маяковского только выигрывали. Тогда он крикнул Жарову:

— Ну что же, черт вас возьми, идите, кланяйтесь народу, — и вывел его за руку на сцену.

«В своей любви ко всему живому в поэзии Маяковский был выше всяческих групп и школ», — заключает Михаил Голодный.

Вопрос о взаимоотношениях Маяковского с людьми, близко к нему стоявшими в обществе, еще мало изучен. Я не ставлю целью затрагивать его здесь. Только одно хочется заметить, что взаимоотношения эти глубже и сложнее, чем их иногда изображают. Нельзя, конечно, о них судить по внешним, порой весьма условным и обманчивым признакам, — тут, например, нечего искать ни дарственной надписи на книге, ни случайно когда-то оброненного слова или высказанного мнения... Одно следует подчеркнуть: Маяковский пользовался огромным авторитетом и доверием у читательской мас-

сы. Только отдельные обыватели продолжали подкалывать его своими записками. Но Маяковскому хватало юмора и бодрости духа на ответы. Например, вопрос— ответ: «Интересно, Владимир Маяковский как себя чувствует в русской литературе?» — «Ничего, не жмет!»

И действительно, «не жмет», потому что поэт видит выход к творческому простору через консолидацию литературных сил. Тяготение к сплоченности, стремление разрушить искусственные перегородки все более зрело внутри литературных группировок. Оно осознавалось и читателями. Маяковскому задавали вопросы: «Почему Леф ограничен рамками, главным образом группы московских писателей, и не стал широким и массовым объединением литературных сил?», «Леф — значит Маяковский, Асеев, Третьяков и некоторые другие мастера? А молодняк? В стороне? Организуйся, как сам знаешь?», «Разве так велико идейное разногласие между вами и Союзом писателей, что на десятом году существования Союза вы не могли сойтись?»

Маяковский и сам понимал насущную необходимость объединения. Объясняя задачу своего доклада, назначенного в большой аудитории Политехнического музея на 26 сентября 1928 года, он писал: «Задача доклада показать, что мелкие литературные дробления изжили себя». Он обосновывал необходимость решительного отказа от литературного сектантства и вместе с товарищами по Лефу вел работу среди масс и в печати. Вместо салонной поддержки какого-либо десятка единомышленников он стремился иметь «критику и поддержку миллионных организаций».

Его возмущало даже малейшее подозрение в кружковщине. Выступая 5 марта 1927 года на заседании сотрудников журнала «Новый Леф», он говорил, что «гаденькая мысль о «кружковщине» Лефа и о его желании обособиться могла родиться только в мозгу «обозленного монополиста». Он считал, что достаточно известно, «сколько хлеба всыпали лефовцы в общий элеватор советской литературы», и что хорош был бы редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский «со своей монополией без этого хлеба»!

Газета «Красный Крым» (11 августа 1928 г.) привела слова Маяковского о группировках, о том, что «нужно не заседать и создавать платформы, а дело делать. Пусть будет написана хоть одна «сто̀ящая» вещь, а груп-

па вокруг нее моментально образуется — не оторвешь».

Именно такие группы читателей возникали после каждого чтения Маяковским поэмы «Владимир Ильич Ленин» или поэмы «Хорошо!», стихов о загранице или стихов о нашей современности.

Общение с читателями подготовило его к докладу «Левей Лефа!», в котором он, как отметила печать, «зло и остроумно говорил о «бессмысленнейшей, нелепейшей игре в литературные организации» и бросил писателям обвинения в том, что они «оторвались от массовой работы».

Как только Маяковский почувствовал, что «закисление в группах» затронуло и Леф, он призвал лефовцев к боевой новаторской работе на живом производстве.

Когда какое-либо положение устаревало, а это раньше всего определялось в массовой аудитории, Маяковский не боялся ломать его, чтобы идти дальше.

В 1928 году он говорил, что «при прикреплении писателя к литературной группировке, он становится работником не Советского Союза и социалистического строительства, а становится интриганом своей собственной группы» (12—370).

Живая творческая связь с печатью служила, по мнению Маяковского, важным условием формирования советского писателя. Поэтому так часто обращались к нему слушатели с вопросами: «Есть ли газетное дело — литературная деятельность?», «Как вы относитесь к газетной работе и считаете ли ее наиболее важным фактором литературной работы?». Эти и другие вопросы говорили о широкой ориентации литературной молодежи на газету, ориентации, горячо поддерживаемой поэтом. Маяковский ответил на эти вопросы в статьях «С неба на землю», «Казалось бы ясно...», в стихотворении «Писатели мы», стремясь теснейшим образом связать творчество с жизнью страны.

Со всей убежденностью и искренностью Маяковский писал:

Пусть ропщут поэты,
слюною плеща,
губою
презрение вызмеив.
Я,
душу не снизив,
кричу о вещах,
обязательных при социализме.

В последних строчках — весь Маяковский. Он дал поэзии новое дыхание, он, «душу не снизив», провел через нее все большие и малые темы и вопросы нашего времени.

Известны характерные для двадцатых годов заблуждения в определении лирики вообще и, в частности, лирики Маяковского, раздвинувшего до невиданных масштабов границы лирического восприятия действительности. По старым канонам, отвергнутым всем складом души нового человека, измеряли многие лирическую глубину произведения. А один из слушателей в Казанском университете даже бросил поэту вызов: «Если не трусите — прочтите хотя бы отрывок из поэмы «Про это». И вы еще не отреклись от нее?» Нет! Маяковский не отрекался ни от одного своего произведения. Он читал и «Облако», и «Про это», и последние свои лирические стихи, а всем тем, кто заблуждался в понимании существа лирики, служили ответом строки из «Про это»:

Пусть во что хотите жданья удлинятся —
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.
До того,
что кажется —
вот только с этой рифмой развяжись,
и вбежишь
по строчке
в изумительную жизнь.
Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!
Вижу,
вижу ясно, до деталей.
Воздух в воздух,
будто камень в камень,
недоступная для тленов и крошений,
рассиявшись,
высится веками
мастерская человечьих воскрешений.
...Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом

ждал тебя,
        откинул будничную чушь!
Воскреси меня
        хотя б за это!
Воскреси —
        свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
        похоти,
                хлебов.
Постели прокляв,
                встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
                который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
        на первый крик:
                — Товарищ! —
оборачивалась земля.

И люди, которым казалось, что поэма отошла в прошлое, чувствовали, как над их головами проносится лирический шквал, как стремится поэт в грядущее со своей большой, еще многими не осознанной, любовью к человеку.

## 13

Предвосхищенное и творчески осознанное Маяковским будущее — это наше сегодня и завтра и двухтысячный год, о котором все чаще пишут и говорят публицисты и социологи, поэты и ученые, архитекторы и градостроители, но уже почти не пишут авторы фантастики, для них это слишком близкий рубеж.

Если в поэме «Про это» звучит мольба о воскрешении в тридцатом веке, то во вступлении в поэму «Во весь голос» — твердая уверенность:

Мой стих
        трудом
                громаду лет прорвет
и явится
        весомо,
                грубо,
                        зримо,
как в наши дни
                вошел водопровод,
сработанный
                еще рабами Рима.

Громада лет. Кого из поэтов не захватывало жгучее

желание пронизать ее мысленным взором, чтобы увидеть грядущее, но, пожалуй, еще никто из них так пристально и прозорливо не всматривался в будущее, как Маяковский. В начатой в 1922 году поэме он писал:

Небылицей покажется кое-кому.
А я —
в середине XXI века,
на Земле
среди Федерации Коммун —
гражданин **ЗЕФЕКА**

Далее следует пояснение в прозе: «Самое интересное, конечно, начинается отсюда. Едва ли кто-нибудь из вас знает события конца XXI века. А я знаю. Именно это и описывается в моей третьей части». Поэт не осуществил задуманное, упоминание о котором в автобиографии предварил словом «Утопия». Из предполагавшихся восьми частей написаны две. Каким мыслилось содержание хотя бы третьей части — неизвестно, но важно, что такое было задумано, ибо эта устремленность в будущее оставила отпечаток на всем его творчестве последующих лет. И пусть не покажутся иному читателю наивными его слова: «А я знаю». Молнии его прозрений как бы пронизывают темь грядущего.

Пространств мировых одоления ради,
Охвата ради веков дистанций
Я сделался вроде
Огромнейшей радиостанции.

Ради этого одоления и охвата он мыслил себя впитавшим соки со всей вселенной «корнями вросших в землю ног».

Десять с лишним лет назад Павел Антокольский писал о Маяковском: «Десятилетия его бессмертия (пока только десятилетия!) ничего у него не отняли, не стерли, не обесцветили. Маяковский был, Маяковский есть, Маяковский будет».

Будет! И все яснее становится его стих, потому что он стремился не к опрощению, а к охвату всей сложности и многогранности культуры настоящего и будущего. С каким удовлетворением сослался он однажды на вывод, сделанный одной библиотекаршей из опыта работы с юными читателями его поэзии: «Чтение сложных вещей не только доставило удовольствие, а повысило культурный уровень» (12—169).

Глубоко заблуждались те, кто при жизни поэта за-

давались вопросом: как будет в будущем, когда уже не придется слушать его стихи в авторском чтении? Маяковский, создавший новую поэтику, подчиненную новому содержанию, обусловленную этим содержанием и ритмами эпохи, оставил будущим поколениям не только звучащее слово, но и ключ к его чтению и восприятию.

Чтобы при чтении стиха не было ни смысловой, ни ритмической путаницы, Маяковский делил строку на «полустрочия» и даже многострочия (многими называемые «лесенками») и этот раздел строчек объяснял отчасти «необходимостью вбить ритм безошибочно». Стихотворный размер и ритм вещи он считал очень важными, потому что исходил прежде всего из требований звучащего слова. Именно знание поэтики Маяковского, законов звучащего слова дало Евгению Винокурову почувствовать и сказать о Маяковском: «Он для меня совершенно живой человек: когда читаю его стихи, я чувствую его вдох и выдох, его голос со всеми модуляциями. Я вижу его внутренний жест». Такое ощущение возникнет у каждого, кто с вниманием и любовью отнесется к принципам поэтики Маяковского.

«Ритм — это основная сила, основная энергия стиха», — писал Маяковский, придавая этому понятию особое, не узко формальное значение. Он утверждал, что «ритм может быть один во многих стихах, даже во всей работе поэта, и это не делает работу однообразной» (12—101). Тем самым поэт как бы подсказывал вывод, что единый ритм стихов, как «вид энергии», сродни ритму своего времени и в какой-то мере предвосхищает убыстренные и усложненные ритмы грядущего.

Такая именно мысль легла в основу всей творческой работы Маяковского, и его выступления перед слушателями являлись как бы продолжением процесса делания стихов. Говоря о выступлениях Маяковского на эстраде, П. Незнамов исключительно удачно заметил: «А ведь это тоже было творчество». Это очень важное для будущего наблюдение. Звучащее слово тогда действенно, когда чтец творчески соотносится с автором, а не только «декламирует» стихи. Напомню, что Маяковский не любил слово «декламировать».

С течением времени все острее ощущается потребность в звучащем слове, растет значение голоса-чтения для восприятия поэзии, в особенности поэзии Маяковского, проложившего пути звучащему стиху. Этому спо-

собствует научно-технический прогресс, под знаком которого стремительно движется время. Характерно, что Маяковский считал необходимым, чтобы политический идейный заряд, содержащийся в стихотворении, «несся по всей новейшей технике, обгоняя прошлые стрелятельные возможности» (12—175).

Не случайно, что писатели уже давно, с большой заинтересованностью ведут разговор о телевидении. Как возрадовался бы Маяковский, если б дожил до эры телевидения! Это была бы его стихия. Он вскрыл бы безграничные возможности творческого использования голубого экрана. К этому стремятся ныне все.

«Давайте думать широко, — приглашает В. Б. Шкловский. — Давайте пробовать по-разному. Случилось так, что в эфире очень много места. Писатели жалуются, что у них мало бумаги. Редакторы говорят, что слишком много писателей. Жалуются, что слишком много рукописей. Но вот открылись двери мира, и можно буквально писать на небесах. Так давайте попробуем использовать время и пространство телевидения. Попробуем это делать смело, во весь голос, писать и говорить так, как мечтаем»[1].

Именно так писал и говорил Маяковский, как мечтал,

Чтоб в будущем
веке
жизнь человечья
ракетой неслась в небеса —
и я,
уставая
из вечера в вечер,
вот эти
строки
писал.

Мечта поэта уже сбывается — «наш флаг меж звезд полощется», через спутники связи из одного конца света в другой перебрасываются видео-звукозаписи. Маяковский считал радио призванным продолжить, расширить трибуну, эстраду и в этом видел дальнейшее «продвижение слова, лозунга, поэзии». Телевидение расширяет эту сферу до невиданных пределов, связывает «жизнь человечью» с космосом, становится все более могучим средством интернационального сближения на-

[1] Виктор Шкловский. Стук выходящего, «РТ», № 1, 1967 г.

родов. Вместе с тем это то дальнейшее продвижение звучащего слова, поэзии на широчайшую эстраду мира, о котором мечтал Маяковский.

Тем отраднее сознавать, что поэзия Маяковского, обретая новую силу звучания, идейного и эмоционального воздействия, вступает в двадцать первый век, чтобы во всей своей бессмертной славе предстать, лицом к лицу, перед новыми поколениями читателей и слушателей.

К местам детства и отрочества В. В. Маяковского в ту пору еще не были проторены дороги.

«Из какого материала Вы сделаете книгу о Маяковском? — писал мне в апреле 1931 года Виктор Борисович Шкловский. — Чрезвычайно полезно было бы поехать в село Багдады под Кутаисом, там родился Маяковский, его отец там был лесничим. Времени прошло с той поры не много... Его еще могут помнить.

В Багдады нужно ехать через Кутаис, туда ходит маленький омнибус очень смешного вида...»

И получилось так, что в Багдади я впервые поехал с Виктором Борисовичем ровно через два года — в апреле 1933-го.

От Кутаиси до Багдади мы ехали на автомобиле частника, мало чем отличавшемся от омнибуса «очень смешного вида». Эта поездка описана Шкловским в очерке «Свет в лесу» — первом в русской литературе очерке о родине Маяковского. Места, где мы побывали, в то время еще не привлекали внимания литературоведов и не были исхожены туристами.

А еще позже, 14 сентября 1935-го, В. Б. Шкловский написал мне на бланке редакции сборника «День мира»: «...Нам бы хотелось, чтобы в книге было имя Маяковского. Опишите Багдады, место, где он родился, новую электростанцию в Багдадах, сбор винограда, осенние деревья на склонах... Все это очень коротко и на материале фактов именно этого дня — 27 сентября. Книгу редактируют Горький и Кольцов».

В «Дне мира» было помещено и мое краткое сообщение о собрании колхозников Багдади и присвоении новому нергиетскому колхозу имени Маяковского. Называя колхоз именем поэта, крестьяне тепло вспоминали и своего лесничего — отца Владимира Владимировича.

В те поездки мои в Багдади я еще больше заинтересовался детством и ученическими годами

В. В. Маяковского и уже в начале 1936 года приступил к изучению материалов архива Кутаисской классической гимназии. В статье «Гимназические годы Владимира Маяковского», помещенной 21 февраля в газете «Заря Востока», были подведены первые итоги разысканий. В том же году в сборнике «Маяковский в Грузии» была напечатана моя статья «Материалы к биографии В. Маяковского».

В дальнейшем я продолжал знакомиться с материалами различных фондов, главным образом Архива записей актов гражданского состояния и Центрального государственного исторического архива Грузинской ССР, Кутаисского исторического архива, Государственного исторического архива Московской области и личного архива В. В. Маяковского в Москве.

Обращался и к литературным источникам, в числе которых книги, статьи, публикации материалов: А. А. Маяковская. «Детство и юность Владимира Маяковского», Г. И. Лурье. «К биографии В. В. Маяковского», В. Ф. Земсков. «Участие Маяковского в революционном движении», Е. З. Балабанович. «Журнал «Порыв», В. Старосельский. «Дни свобод в Кутаисской губернии», С. В. Маглакелидзе. «В. А. Старосельский. Документы и материалы», В. А. Васильев. «Кутаисская гимназия времени пребывания в ней В. В. Маяковского», В. В. Канделаки. «Встречи с Маяковским», «В. Маяковский в воспоминаниях современников».

Использованы также рукописные материалы: записки Н. Н. Джомарджидзе «Педагогические этюды» 1907—1909 гг. (из личного архива С. Н. Джомарджидзе), воспоминания учителей В. А. Васильева, Н. А. Ильинского, П. Г. Цулукидзе, В. А. Баланчивадзе, гимназических товарищей Маяковского — В. Демьяновича, А. Месхи, Х. Ставракова, А. Нинуа, Г. Гачечиладзе, Н. Шостака, В. Герасимова, А. Пастернака и других.

Отдельные факты и сообщения взяты из газет: «Вперед», «Пролетарий», «Новая жизнь», «Борьба пролетариата», «Листок «Борьбы пролетариата», «Новое обозрение», «Кутаисские губернские ведомости», «Солдатская правда», «Рабочее знамя».

Тексты В. В. Маяковского привожу по Полному собранию сочинений в тринадцати томах.

По мере разыскания и изучения материалов ученических лет Маяковского я помещал в периодической печати очерки, заметки, сообщения; они затем включались в сборники, например, в сборник «Содружество» (Тбилиси, 1958), и послужили основой для книги «Гимназия».

Форму изложения и освещения событий и фактов я старался подчинить требованиям строгой достоверности.

Часто ссылаясь на «Я сам» Маяковского и цитируя отдельные главки и строки, я считаю это произведение в прямом, а не в переносном смысле автобиографией и не могу согласиться с мнением некоторых исследователей, произвольно комментирующих автобиографию или считающих, что ее «лишь условно можно считать автобиографией», что это скорее «литературная декларация».

Владимиру Маяковскому в годы его пребывания в Кутаисской гимназии довелось быть свидетелем многих знаменательных событий общественно-политической жизни, непосредственным участником ученических демонстраций, митингов и сходок. Все, что запечатлелось и своеобразно преломилось в детском и отроческом сознании Маяковского, подготовило его к тому последующему периоду, когда он, поступив в четвертый класс Московской пятой гимназии, одновременно сблизился со средой революционно настроенных студентов, а затем и с партийными пропагандистами и организаторами — членами Московского комитета РСДРП(б). Только учитывая революционную атмосферу и обстановку тех лет, можно объяснить тот факт, что, еще будучи подростком 15—16 лет, Владимир Маяковский выполнял ответственные партийные поручения, проявил определенную политическую зрелость и мужественно перенес тяжелые моральные испытания, связанные с арестами его и заключением в одиночной камере Бутырской тюрьмы.

Первые три года, прошедшие после переезда из Кутаиса в Москву, Маяковский назвал годами теории и практики. Несомненна решающая роль этих лет в формировании его мировоззрения. Они

помогли ему пройти большую школу жизни и встретить Великий Октябрь словами: «Моя революция!».

Вторая работа в этой книге — «Лицом к лицу» — опыт классификации и анализа сотен и тысяч записок, посланных Маяковскому на его вечерах за все годы объездов страны, по характеру читательских позиций, интересов, вкусов и мнений. Эта работа, близкая мне по личным воспоминаниям, является как бы заявкой на более широкое исследование вопроса о массовости поэзии Маяковского. Она имеет целью показать, что Маяковский уже при жизни был понят и признан родной страной, пользовался огромным авторитетом и влиянием и теснейшим образом был связан с читательскими массами. Связь читателей с поэзией Маяковского была и остается нерасторжимой, она растет и крепнет в преддверии нового столетия.

## ИЛЛЮСТРАЦИИ

Анкета, заполненная В. Маяковским в Архиве революции, и его запрос об архивном «деле» и отобранной у него в Бутырской тюрьме тетрадке стихов.
«Последняя записка». Дружеский шарж Ираклия Гамрекели.
Записки, посланные Маяковскому слушателями на его вечере.
Владимир Маяковский. Фото Вано Гониашвили.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ГИМНАЗИЯ



### ЛИЦОМ К ЛИЦУ

**БЕБУТОВ ГАРЕГИН ВЛАДИМИРОВИЧ**

**ГИМНАЗИЯ**

Редактор М. Бирюкова
Художник А. Сарчимелидзе
Техн. редактор Э. Ахсахалян
Корректор Е. Эбаноидзе

Сдано в набор 4.IX 1975 г. Подписано в печать 15.II 1977 г. Формат 84×108 1/32. Уч.-изд. л. 16,08+0,89 л. ил. Усл. печ. л. 16,38. Печ. л. 9,75. Заказ № 168. Тираж 20.000 экз. УЭ 00366.

**Цена 1 р. 36 к.**

Издательство «Мерани». Тбилиси, пр. Руставели, 42.
Типография изд-ва «Таврида» Крымского ОК КП Украины
Симферополь, пр. Кирова, 32/1.

**გარეგინ ვლადიმერის ძე ბებუთოვი**
**გიმნაზია**
**(რუსულ ენაზე)**